М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ О ПУШКИНЕ

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА «МИР» 1931

Гостипография имени Карла Маркса
в Твери. Заказ № 5170—30 г.
Главлит № А. 74172. Тираж 5000 экз.

Обложка П. С. Шереметева.

Из обширной мемуарной литературы о Пушкине в настоящей книге собраны лишь воспоминания, напечатанные в 1837—1899 гг. в журналах и газетах и никогда после того не перепечатывавшиеся. Не включены и воспоминания, печатавшиеся в журналах „Русский архив", „Русская старина", „Исторический вестник", „Былое" и „Голос минувшего". Погребенные таким образом в периодических изданиях, часто с трудом находимых, перепечатываемые воспоминания в лучшем случае известны лишь небольшому кругу специалистов. В тексте воспоминаний мы не позволили себе делать никаких сокращений.

Воспоминания снабжены примечаниями, написанными А. А. Лапиным. Задача их не только дать сведения об упоминаемых лицах и фактах, но и выяснить степень достоверности сообщаемого, и указать ошибки. Краткая оценка воспоминаний сделана нами во вступительных заметках.

Воспоминания В. П. Горчакова приготовлены к печати П. С. Шереметевым, которому принадлежат вступительная заметка и примечания к этим воспоминаниям.

М. Цявловский.

1. Н. В. Берг. „Сельцо Захарово“.

Автор статьи «Сельцо Захарово» («Москвитянин», 1851 г., ч. III, № 9 и 10, май, кн. 1 и 2, отд. соврем. извест. стр. 29—32)—известный поэт и переводчик немецких, английских и главным образом славянских поэтов, Николай Васильевич Берг (1823—1884).

Статья Берга, ценная рассказом дочери Арины Родионовны, замечательна еще тем, что вызвала любопытное воспоминание А. Ю. Пушкина.

На 38-й версте от Москвы, по Смоленской дороге, есть поворот из села Вязем [1], направо, в сельцо Захарово [2]. Лет сорок тому назад Захарово принадлежало Осипу Абрамовичу [3] и Марье Алексеевне Ганнибаловым [4]. Здесь провел первые годы своего детства А. С. Пушкин. Я случайно узнал об этом от теперешнего помещика сельца Захарова, Н. Н. О—ва [5], который живет в том самом доме, где жили прежние владельцы. По бокам этого дома были в то время флигеля, и в одном из них помещались дети с гувернанткой, братья Александра Сергеевича и он [6]. Впоследствии флигеля, по ветхости, сломаны, а дом остался почти в таком же виде, в каком был при Ганнибаловых. Добрый хозяин водил меня по саду и показывал места, которые особенно любил ребенок—Пушкин. Прежде всего мы осмотрели небольшую березовую

рощицу, находящуюся неподалеку от дому, почти у самых ворот. Посредине ее стоял прежде стол, со скамьями кругом. Здесь, в хорошие летние дни, Ганнибаловы обедывали и пили чай. Маленький Пушкин любил эту рощицу и даже, говорят, желал быть в ней похоронен. Он говорил об этом повару своей бабушки, к которому был особенно привязан, вероятно, потому, что этот повар был человек словоохотливый и бойкий. Впоследствии он убежал в Польшу и сделался из Александра Фролова паном Мартыном Колесницким... Из рощицы мы пошли на берег пруда, где сохранилась еще огромная липа, около которой прежде была полукруглая скамейка. Говорят, что Пушкин часто сиживал на этой скамейке и любил тут играть. От липы очень хороший вид на пруд, которого другой берег покрыт темным еловым лесом Прежде вокруг липы стояло несколько берез, которые, как говорят, были все исписаны стихами Пушкина. От этих берез остались только гнилые пни; впрочем, немного дальше уцелела одна, на которой еще заметны следы какого-то письма. Я мог разобрать совершенно ясно только несколько букв: окр....къ и вают....

Многие из стариков, живущих в сельце Захарове, помнят маленького Пушкина. Но особенно помнит его дочь его няни *, его знаменитой няни, которую он так любил и даже прославил в стихах. Ее зовут Марья, по отчеству Федоровна. Нельзя не верить ее простым, безыскусственным рассказам о детстве Александра Сергеевича, которого она, сама того не чувствуя, почему-то называет Алексеем Александровичем, хотя и помнит, как звали его отца и других родственников. Я был у ней в избе, и весь мой разговор с нею постараюсь передать читателям. Трудно расшевелить русского человека и заставить его рассказать что-либо порядком. Так было и с Марьей. Сначала она ничего не могла припомнить об Александре Сергеевиче, кроме того, что „они были умные такие и добрые такие!“ Но потом, мало по малу, она оживилась, и сама собой, почти без всякого побуждения, рассказала все, что только знает и помнит.

* Ее звали Арина Родионовна.

„Да, батюшка, умные они были такие, и как любили меня—господи, как любили....—начала она об нем—и махонькие-то любили, и большие любили, как жили еще здесь у бабушки-то своей, Марьи Алексеевны—Марья-то Лексеевна была им бабушка, а Осип-ат Абрамыч дедушка, прежний-ат наш помещик; дюжий был такой, господи! а какой легкой на ногу, прелегкой-легкой.... и добрый был барин: бывало мы наберем ему грибков, придем—приласкает, добрый был барин, а уж грузен, куда грузен был.... Вот у него-то и жил Александр Сергеевич-то.... Да вы что ему, родственники что ли?

— Да, родственники.... Он был старший в семье, или нет?

— Алексей Александрыч-то? нет! Старшая у них была дочь Ольга Сергеевна, а он уж потом, а еще были Миколай Сергеич* и Лев Сергеич; Лев Сергеич самой маханькой.

* Он похоронен в селе Вяземах, в ограде церкви. Село Вяземы, принадлежащее теперь князю Б. Д. Голицыну [7], замечательно по многим историческим памятникам и преданиям. Тамошняя церковь построена во времена Бориса Годунова. Внутри на ее стенах есть надписи на польском и латинском языках,

— Мать-то твоя за всеми и ходила?

— Нет, только выкормила Ольгу Сергеевну, а потом уж к Александру Сергеичу была в няни взята.

— Она из этой деревни и была?

— Нет, мы за Гатчиной—наше место-то,Суйда прозвище, Ганнибаловская вотчина была, там они все допреж того и жили: и Осип Абрамыч, и Петр Абрамыч, и еще один, не помню как звали.... один-от совсем арап, Петр Абрамыч, совсем черный.... вот оттуда нашу семью-то и взяли сперва в Кобрино, надо быть вотчину Пушкиных, а оттуда в Петербург, к Александру Сергеичу-то....

— Стало быть он родился в Петербурге?

а может и на других, сделанные чем-то острым. Это следы пребывания поляков, проезжавших по этой дороге с самозванцами и с Мариною Мнишек [8]. Иные надписи сохранились чрезвычайно хорошо, и смотря на них, едва веришь, что над этими чертами пролетело около трех сот лет.... однакож разобрать их трудно. Я прочел только две. Одну на правой стене от главного входа. Roku 1618, w dzien wszystkich swietych Polonsky—где в слове wszystkich пропущено второе s—wszytkich—и другую в алтаре, на одном из столбов, поддерживающих своды: Rocu 1611. Hrabia „Граф“.... kiewicz [9]. Колокольня, принадлежащая к церкви, также построена при Борисе Годунове и имеет весьма оригинальную архитектуру: она похожа издали на высокие ворота, с калитками по бокам, где между вереями висят колокола. Пруд, находящийся в саду, против господского дома, вырыт также по повелению Бориса Годунова. Не имели ли эти предания какого-либо действия на воображение маленького Пушкина, вероятно бывавшего в Вяземах со своей бабушкой и матерью? Не этот ли храм, с его надписями, не эти ли пруды, с именем их основателя, рисуясь впоследствии в памяти поэта, навеяли на его душу первые думы о его Борисе Годунове?... Из новейших событий, относящихся к Вяземам, мне известно одно: в 1812 году здесь стоял корпус Евгения Богарне [10]. Сам маршал помещался в господском доме. Рассказывают, не к чести французов, будто бы они топили печи книгами княжеской библиотеки, но это едва ли вероятно....

— В Петербурге *, и Ольга Сергеевна в Петербурге; а Миколай Сергеич и Лев Сергеич,—эти в Москве.

— Смирный был ребенок Александр Сергеич, или шалун?

— Смирный был, тихий такой, что господи! всё с книжками бывало.... нешто с братцами когда поиграют, а то нет, с крестьянскими не баловал.... тихие были, уваженье были дети.

— Когда же он отсюда уехал?

— Да господи знает! Годов двенадцати надо быть уехал....

— И с тех пор уж ты его не видала?

— Нет, видела еще три раза, батюшка: была у него в Москве, а вдругорядь он приезжал ко мне сам, перед тем, как вздумал жениться. Я, говорит, Марья, невесту сосватал, жениться хочу.... и приехал это не прямо по большой дороге, а задами; другому бы оттуда не приехать: куда он поеедет?—в воду на дно! а он знал.... Уж оброс это волосками тут (показывая на щеки); вот в этой избе у меня сидел, вот тут то.... а в третий-то раз я опять к нему ходила в Москву.

— Когда ж он у тебя здесь был? В каком году, не помнишь?

— Где нам помнить! вот моей дочке теперь уж двадцать второй год будет, ей был тогда, надо быть, седьмой, либо шестой годок....

— Когда ж он—летом приезжал или зимой?

---

* Это несправедливо,—старуха видно забыла: Пушкин родился в Москве. Ред. [„Москвитянина“].

— Летом, батюшка; хлеб уж убрали, так это под осень надо быть он приезжал-то.... я это сижу; смотрю: тройка! я эдак.... а он уж ко мне в избу-то и бежит.... наше крестьянское дело, известно уж—чем, мол, вас, батюшка, угощать-то я стану? Сем, мол, яишенку сделаю! Ну, сделай, Марья! Пока он пошел-это по саду, я ему яишенку-то и сварила; он пришел, покушал.... все наше решилося, говорит, Марья; все, говорит, поломали, все заросло! Побыл еще часика два—прощай, говорит Марья! приходи ко мне в Москву! а я, говорит, к тебе еще побываю.... сели и уехали!... После, слышно, уехали в Петербург.... и полно ездить сюда! а там, слышно, уж их и нету! решился!...

— Когда ж ты у него была в Москве-то?

— Да скоро после того, как они были здесь. Стояли тогда у Смоленской божьей матери, каменный двухэтажный дом...[11] посмотри, говорит, Марья, вот моя жена! Вынесли мне это показать ее работу, шелком надо быть, мелко-мелко, четвероугольчатое, вот как это окно: хорошо, мол, батюшка, хорошо... Точно, батюшка,—прибавила она немного погодя; и любили они меня: душа моя Марья, я, говорит, к тебе опять побываю!...

Так или почти так кончились ее рассказы об Александре Сергеевиче, и потом пошли уже повторения одного и того же. Больше я ее и не расспрашивал. Она угостила меня молоком, показала мне своих дочерей и внучат—и мы простились.

Я срисовал ту липу, под которой, как говорят, играл Пушкин, и домик, в котором жили Ганнибаловы. Но этой березы, где остались следы будто бы Пушкинского карандаша, я снять не мог, потому что она стоит в чаще.

Н. Б.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Село Вяземы было вотчиной боярина Бориса Федоровича Годунова (им выстроена здесь в 1590—1600 г., церковь и звонница); позже—загородный дворец Дмитрия Самозванца и место стоянки (в 1606 г.) его невесты Марины Мнишек; позднее дворцовая вотчина первых царей Романовых; с 1694 г. жалованная вотчина кн. Бориса Алексеевича Голицына, воспитателя Петра I. В роду князей Голицыных Вяземы оставались вплоть до революции. В 1812 г. здесь ночевали Кутузов и Наполеон, а владел в это время Вяземами кн. Борис Владимирович Голицын. Им и его братом кн. Дмитр. Влад. Голицыным (бывшим московским генер.-губернатором) собрана в Вяземах замечательная библиотека. Расположены Вяземы в 1½ клм. от станции Голицыно Моск.-Белорусско-Балтийской (Александровской) ж. дор.

2. Сельцо Захарово находится в 4-х клм от ст. Голицыно Моск.-Белорусско-Балтийской (Александровской) жел. дор. (44 клм. от Москвы); проходящая невдалеке железнодорожная ветка от Голицына на Звенигород остановки около Захарова не имеет.

3. Ганнибал Осип (Януарий) Абрамович (р. 20. I. 1744, ум. 12. X. 1806)—дед Пушкина. Служил в артиллерии майором; в отставку вышел с чином флота артиллерии капитана 2 ранга; затем служил заседателем Псковского Совестного Суда, советником (с 1778 г.) Псковского Наместнического, а с 1780 г. С.-Петербурского Губернского Правления.

4. Ганнибал Марья Алексеевна (р. 20. I. 1745, ум. 27. VI. 1818) урожденная Пушкина; замужем за Осипом Абрам. Ганнибалом с 1773 г.; родная бабушка поэта по матери и троюродная сестра отца поэта. Захарово принадлежало ей одной, а не совместно с мужем; смотри об этом следующее воспоминание.

5. В «Указателе селений и жителей уездов Московской губернии», составленном К. Нистремом (М. 1852 г.) на стр. 367 сказано: «Сельцо Захарово, 1-го стана, чиновницы 12 кл. Орловой Авдотьи Александровны. 95 душ м. п., 106 ж., 16 дворов,

40 верст от столицы, 12 от уездного города Звенигорода, близ Смоленского тракта». Кто был указанный владелец Н. Н. Орлов, нам неизвестно.

6. У Пушкина было два брата и сестра: Ольга Сергеевна, в замужестве Павлищева (р. 20. XII. 1797, ум. 2. V. 1868).

Лев Сергеевич (р. 17. IV. 1805, ум. 19. VII. 1852 в Одессе) служил с 1824 г. в департаменте духовных дел иностранных исповеданий; с 1827 г. юнкером в Нижегородском драгунском полку; в 1831 г. переведен в Финляндский драгунский полк; в 1832 г. уволен капитаном; в 1834 г. служил в Минист. внутренних дел; с 1836 г. снова служил на военной службе в чине штабс-капитана при отдельном Кавказском корпусе; с 1840 г. прикомандирован к Ставропольскому Казачьему полку; с 1843 г. перешел на службу в Петербургскую, а затем Одесскую портовую таможню; в 1849 г. произведен в надворные советники. Во время военной службы находился в сражениях и походах на Кавказе.

Николай Сергеевич (р. 26. III. 1801, ум. 30. VII. 1807); похоронен в с. Вяземах. Могила его находится против алтаря нижней Никольской церкви.

7. Светл. кн. Голицын, Борис Дмитриевич (1819—1878) сын московского военного генерал-губернатора Дмитр. Вл. Голицына.

8. Мнишек, Марина—доч сандомирского воеводы; жена первого Лжедимитрия; в'ехала в Москву 3 мая 1606 г. и через пять дней состоялось ее венчание с ним. После убийства мужа (во время резни 17 мая 1606 г.) тайно вторично вышла замуж за Тушинского вора 5 сентября 1608 г.

9. Отмеченная дата 1611 знаменательна для Вязем тем, что здесь в этом году происходили важные переговоры русских бояр с Сапегою после убиения Тушинского вора (убит в декабре 1610 г.). Дата 1618 знаменательна тем, что в сентябре этого года Вяземы были заняты польскими войсками королевича Владислава, шедшего к Москве и сделавшего затем к ней приступ, но не смогшего ее взять (война с Польшей 1616—1619 гг.). Перевод польских надписей: «1618 года в день всех святых Полонский» и «1611 года граф.... кевич».

10. Принц Богарне (Beauharnais), Евгений (1781—1824)—генерал, итальянский вице-король, герцог Лейхтенбергский и кн. Эйхштедский. Богарне был ад'ютантом Наполеона I в его Египетском походе; в 1809 г. он был назначен главнокомандующим армией; в 1812 г. командовал 4-м корпусом армии и участвовал в сражениях при Смоленске, Бородине, Малом Ярославце, Вязьме и Красном. После от'езда Наполеона из России во Францию, Богарне принял начальство над остатком армии и привел ее в Саксонию. Его мать, Жозефина Богарне была во втором браке за Наполеоном, сам Богарне был усыновлен Наполеоном в 1806 г.

11. Пушкин жил в Москве после свадьбы (18 февраля 1831 г.) на Арбате в доме Хитровой во втором этаже; в'ехал он в эту квартиру до свадьбы; какого числа—неизвестно. Надо помнить, что сначала по приезде в Москву (5 декабря 1830 г.) он остановился в гостинице «Англия». Выехал с этой квартиры в Петербург вместе с женою в середине мая 1831 г. Этот дом сохранился до настоящего времени, теперь его номер 53; это двух-этажный дом, второй от угла Денежного переулка в сторону Арбатских ворот. По указателю 1882 г. он принадлежал И. В. Патрикееву (№ 51 431/425); по «Всей Москве» 1916 г. А. П. Ефимову (№ 53 431/425).

---

2. А. Ю. Пушкин. „Для биографии Пушкина“ *.

Статья «Для биографии Пушкина» («Москвитянин», 1852 г., № 24, декабрь, кн. 2, отдел IV, стр. 21—25), принадлежит Александру Юрьевичу Пушкину (1777—1854), двоюродному дяде поэта, по окончании кадетского корпуса служившему военным, а впоследствии совестным судьей в Костроме.

Как уже сказано, вызванные статьей Берга воспоминания Пушкина при всей их краткости содержат ряд чрезвычайно ценных сведений о семье Пушкиных в период раннего детства поэта.

В 9-м и 10-м №№ Москвитянина прошлого 1851 года помещена статья г. Берга о сельце Захарове, принадлежавшем когда-то родителям Александра Сергеевича Пушкина [2]. Найдя в ней много несправедливого, я, как ближайший родственник, выросший вместе с матерью Александра Сергеевича, Надеждой Осиповной, которая была мне двоюродная сестра по матери своей Марье Алексеевне,

* Глубочайшую благодарность свидетельствуем автору за сообщение этих драгоценных сведений.

Вот пример, как неверные даже известия могут быть полезны, вызывая возражения—и доставляя таким образом материалы для истории нашей словесности, каких она не имела бы со старой методой молчания и стремления к недосягаемому совершенству и невозможной полноте. М. П. [1]

урожденной Пушкиной [3], родной сестре отца моего, полковника Юрья Алексеевича,—считаю не лишним исправить означенную статью показанием действительных фактов; а потому нужным считаю обратиться к малолетству матери Пушкина и замужеству бабки его.

Бабка покойного Александра Сергеевича, Марья Алексеевна, жила при родителях своих Алексее Федоровиче и Сарре Юрьевне Пушкиных, Тамбовской губернии, Липецкого уезда, в селе Покровском, Кореневщина тож, доставшемся после их отцу моему Юрью Алексеевичу [4], а от него мне с сестрами [5]. Липецк, от которого до Покровского 22 версты, тогда не был еще уездным городом, а просто именовался заводом; уездный же или воеводский город был тогда Сокольск, отстоящий от Липецка в 3-х верстах. В Липецке были чугунные заводы, устроенные государем императором Петром I, где отливались пушки для предполагаемого черноморского флота в Азове; заводы продолжались и при Екатерине II-й. Когда Липецк был сделан уездным городом, Осип Абрамович Ганнибал, служивший в Морской артиллерии капитаном, был послан в 1773 году в Липецк для осмотра завода; часто езжал в село Покровское к деду моему, сосватался и женился на Марье Алексеевне, от которой имел сына, умершего грудным, и дочь Надежду Осиповну, родившуюся в 1775 г.

Дед мой Алексей Федорович в 1777-м году кончил жизнь, а отец мой в 1778-м году женился и первым сыном его был я; Марья Алексеевна окрестила меня и уехала в С.-Петербург к мужу своему, но там его не нашла, а узнала, что он в псковской своей вотчине, селе Михайловском, и

намерен жениться на другой; она завела с ним тяжебное дело, заинтересовавшее императрицу, которая кончила тяжбу тем, что не позволила Осипу Абрамовичу жениться от живой жены [6], а приказала из числа жалованного покойным императором Петром I-м отцу Ганнибала Абраму Петровичу [7] в 50-ти верстах от Петербурга при селе Суйде (доставшемся тогда генерал-майору Ивану Абрамовичу), деревню Кобрино, в трех верстах от Суйды, в числе ста душ, принадлежавшую Осипу Абрамовичу, отдать дочери его Надежде Осиповне на воспитание, под попечительство матери ее и под опеку генерал-майора Ивана Абрамовича Ганнибала [8], и дяди моего родного, служившего в С.-Петербурге статским советником, Михайла Алексеевича Пушкина, родного брата Марьи Алексеевны. Таким образом Марья Алексеевна поселилась в С.-Петербурге, купила в Преображенском полку дом, где и воспитывала Надежду Осиповну, а я с 1785 года находился в Сухопутном Кадетском Корпусе, почти всякую неделю по воскресеньям и в праздники бывал у них, и рос почти вместе с Надеждой Осиповной, которая, не имея родных братьев, любила меня, как родного.

Сергей Львович был нам по отцу своему внучатным братом; он служил тогда лейб-гвардии в Измайловском полку офицером и часто бывал у Марьи Алексевны, а в 1796-м году, во время кончины императрицы Екатерины, женился на Надежде Осиповне; дом свой Марья Алексеевна продала и жила с зятем в Измайловском полку, где в 1797-м году родилась у Сергея Львовича и у Надежды Осиповны дочь Ольга, ныне действительная статская со-

ветница Павлищева [9], а я в том же году выпущен из корпуса прапорщиком в Астраханский Гренадерский полк, стоявший в Москве, и отправился туда. В 1798-м году Сергей Львович вышел в отставку, переехал с семейством своим в Москву и нанял дом княжен Щербатовых, близ Немецкой слободы, где в 1799-м году родился у них сын Александр *; наш полк в то время был уже в походе где я и получил об рождении Александра Сергеевича от сестры письмо, что он на память мою назван Александром; а я заочно был его восприемником. В конце того же года, возвратясь из похода в Москву, я уже Сергея Львовича с семейством не застал; они уехали к отцу своему Осипу Абрамовичу в Псковскую губернию в сельцо Михайловское, а Марья Алексеевна в Петербург для продажи деревни Кобрина, которую она, помнится мне, продала генеральше Зилберевзиной.

Что касается до няньки Александра Сергеевича, Ирины Родионовой, то она была крестьянкою в деревне Кобрине [11] и когда дядя мой Михайло Алексеевич Пушкин в 1791 году женился на Анне Андреевне Мишуковой (родственнице Елизаветы Романовны Полянской, урожденной гр. Воронцовой [12], у которой Анна Андреевна по выпуске из Смольного монастыря, не имея уже родителей, по сиротству воспитывалась), и в 1792-м году родился у них сын Алексей **, то Марья Алексеевна Ганнибалова дала ему в кормилицы из Кобрина вышеписанную Ирину Родионову; в течение

* Наконец узнаем мы дом, где родился наш незабвенный поэт! Ред. [10].

** Алексей Михайлович Пушкин, переводчик, кажется, Мольерова Тартюфа, слишком известный в московском обществе. Ред [13].

этого времени Ирина овдовела и оставлена была у него в няньках до 1796-го года. Когда Надежда Осиповна родила Ольгу Сергеевну [14], то им понадобилась опытная и усердная нянька, почему и взяли Ирину Родионовну к себе, где и находилась она по смерть свою, случившуюся в 1824 году или около этого времени; я помню, что видел ее при Сергее Львовиче и Надежде Осиповне в Москве еще в 1822 году, куда я тогда приезжал по своим делам. Когда Марья Алексеевна Ганнибалова продала Кобрино г. Зилберезиной, то Ирину Родионовну и дочь ее Марью, воспитывавшуюся у родных своих,—из продажи исключила. Марья Алексеевна, продавши Кобрино, переехала в Москву, где Сергей Львович и Надежда Осиповна жили у Харитония в Огородниках, в доме графа Санти [15], а потом в том же приходе в доме кн. Федора Сергеевича Одоевского [16], и нанимала дом подле их, но жила все вместе с ними, а в квартире ее жили одни ее люди, где и я в 1806 году, в проезд свой в С.-Петербург, останавливался; но, возвратясь из С.-Петербурга в Москву, по приглашению сестры Надежды Осиповны, жил у них. Марья Алексеевна в том же 1806-м году купила у генеральши Тиньковой [17] сельцо Захарово, куда я с ней ездил весною, и по желанию ее снял план с полей ее и уравнял их. Определясь на службу в Московский почтамт в 1806-м году, я всегда находился у них, и при мне, в 1807-м году, получено было известие о кончине Осипа Абрамовича Ганнибала, после которого Надежда Осиповна получила в наследство Псковской губ. Опочковского уезда сельцо Михайловское, близ Святогорского монастыря, и Марья Алексеевна отправилась туда

для принятия имения во владение [18]. Во время ее отлучки, в конце того-же года я помолвлен жениться; Марья Алексеевна первым зимним путем возвратилась в Москву, была на моей свадьбе и располагала всем вместо моей родной матери. Женясь, я уехал в женино имение Костромской губернии, и в это время, не помню в котором году, дочь Ирины Родионовой Марья, молочная сестра брата моего Алексея Пушкина, по желанию матери ее, выдана была замуж в сельцо Захарово, которое в 1810 или 1811 году продано, а кому—не припомню.

Не мудрено, как пишет г. Берг, что крестьянка Марья мешает имена Алексея с Александром, вспоминая о Пушкине, знавши их обоих, и будучи одному молочной сестрой.

Александр Пушкин.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, археолог и журналист; в 1826—44 г.г. профессор Московского университета; в 1841—1856 г.г. издавал журнал «Москвитянин».

2. Пушкин Сергей Львович (р. 23. V. 1770, ум. 29. VII. 1848 г.) отец поэта. В 1777—1791 гг.—сержант Измайловского полка, затем прапорщик (до 1797 г.) в л.-гв. Егерском полку, откуда вышел в отставку майором (1798 г.); затем служил в Коммиссариатском штате в Москве, а после в Варшаве и в 1817 г. был уволен вовсе от службы с чином 5 класса.

Он женился в ноябре 1796 г. на своей внучатой племяннице Надежде Осиповне Ганнибал (р. 21. VI. 1775, ум. 29. III. 1836)—матери поэта.

3. Ганнибал Марья Алексеевна рожд. Пушкина см. прим. 4 на стр. 11.

4. Пушкин Алексей Федорович (1717—1777)—капитан; служил пажем при дворе царевны Прасковьи Иоанновны (1730); затем в Тверском драгунском полку. Он женился в 1742 г. на Сарре Юрьевне Ржевской, дочери Юрия Алексеевича Р., пользовавшегося расположением Петра I и бывшего в 1727 г. Нижегородским вице-губернатором.

У них были дети:

Пушкин Юрий Алексеевич (1743—1793)—полковник; женат на Рахманиновой Надежде Герасимовне (1778 г.).

Пушкин Михаил Алексеевич (1745—1793)—полковник, а позже статск. советник; в 1791 г. женился на Анне Андреевне Мишуковой (родственнице канцлера гр. Воронцова).

Пушкина Надежда Алексеевна—вышла замуж за Овцына, Алексея Михайловича.

Пушкина Екатерина Алексеевна—умерла девицей.

Пушкина Мария Алексеевна, в замужестве Ганнибал.

5. Из сестер А. Ю. Пушкина нам известна одна Анна Юрьевна (умерла до 1812 г.), в замужестве Станкер.

6. Ганнибал Осип Абрамович женился в 1773 г. на Марье Алексеевне Пушкиной, а 9 января 1779 г. обвенчался вторично, тайно с Новоржевской помещицей Устиньей Ермолаевной Толстой (урожденной Шишкиной), дав священнику фальшивое свидетельство о том, что он вдов. Брак их продолжался недолго; уже 6 мая 1779 г. супруги были разлучены распоряжением псковского архиерея. С стороны обоих супругов были заявлены обвинения, и началось длинное дело о двоеженстве, в результате чего в начале 1784 г. брак с Толстой был признан незаконным, а сам Ганнибал указом Екатерины II был сослан «на кораблях на целую кампанию в Северное море, дабы он службою погрешения свои наградить мог».

7. Ганнибал Абрам (Петр) Петрович (1697?—1781)—известный Ибрагим — арап Петр I, сын владетельного князя в г. Лагоне в Северной Абиссинии, был отдан заложником в Константинополь и находился в султанском серале, а в 1706 г. русский посланник гр. С. В. Рагузинский доставил его в Москву

Петру I-му, при котором он и состоял камердинером и секретарем; в 1717—1722 гг. находился за границей для обучения, вернувшись служил в бомбардийной роте л.-гв. Преображенского полка; в 1727—30 г. находился в служебной ссылке в Сибири, затем был быстро произведен майором и инженер-капитаном, в 1742 г. произведен в генерал-майоры, а с 1752 г. управлял строительной частью инженерного ведомства; в 1756 г. инженер-генерал, а после генерал-аншеф и главный директор Ладожского канала.

8. Ганнибал Иван Абрамович (173?—1801)—старший из сыновей известного арапа Петра I—служил в морской артиллерии, взял Наварин.

9. О Павлищевой Ольге Сергеевне см. прим. 6 на стр. 12.

10. О каком доме княжен Щербатовых говорит Пушкин—нам неизвестно. Родился же Пушкин в доме коллежского регистратора Ивана Васильевича Скворцова (сослуживца отца поэта) на Немецкой, ныне Бауманской улице. По «Всей Москве» 1916 г. это дом № 10 (374/235), принадлежащий В. И. Ананьину. В настоящее время дом этот не сохранился, а на владении № 10 поставлена мраморная плита, открытая 5 июня 1927 г., со следующей надписью: «Здесь был дом, где 26 мая (6 июня) 1799 г. родился А. С. Пушкин». Прежняя доска с указанием места рождения Пушкина была ошибочно прибита к дому № 27 по той же улице. По «Всей Москве» 1916 г. дом этот принадлежал В. Л. и П. Д. Клюгиным (№ 27—1123/884).

11. Ирина или Арина Радионовна (1758—1828 г.) няня Пушкина, была крепостной крестьянкой М. А. Ганнибал, которая выдала ей вместе с двумя сыновьями и двумя дочерьми в 1799 году «вольную», но няня Пушкина не пожелала воспользоваться ею и осталась навсегда в доме Пушкиных. Умерла она в доме своей старшей воспитанницы, сестры поэта, Ольги Сергеевны Павлищевой.

12. Гр. Воронцова, Елизавета Романовна (1739—1792)—дочь генерал-аншефа Ром. Иларион. Воронцова; была замужем за ст. сов. Александром Ивановичем Полянским; камер-фрейлина.

13. Пушкин, Алексей Михайлович (1792—1821) преподаватель в Горном Кадетском Корпусе и Благородн. пансионе СПБ. университета; с 1820 г. профессор военных наук Царско-сельского лицея; автор книги по полевой фортификации.

Указание редакции, что Алексей Мих. П. «переводчик Тартюфа, слишком известный в московском обществе»--неверно. Это был другой дальний родственник П., тоже Алексей Мих. П. (1771—1825)—известный остряк, переводчик и актер-любитель; первоначально служил в л.-гв. Преображенском полку. Им действительно переведен Мольеровский «Тартюф» и поставлен в 1810 г. под названием «Ханжеев»; напечатан в М. в 1809 г. в типогр. Ф. Любия под заглавием «Ханжеев, или лицемер, комедия Мольера, в пяти действиях, в стихах. Вольный перевод».

14. Пушкина, Ольга Сергеевна (в замужестве Павлищева) родилась не в 1796 г., а в 1797 г.—20 декабря.

15. Дом Санти находится в Б. Козловском пер. № 4. По плану 1849—54 г. он значится под № 16; по окладной книге 1867 г. под № 19; по «Табели 1868 г.» под № 4; по «Всей Москве» 1916 г. № 4 наследников Севрюговых (19/16).

16. Дом князя Одоевского, Федора Сергеевича,—там же.

17. В «алфавитном списке помещиков Звенигородской округи 1786 года особ мужеского и женского пола, с обозначением их поместий и с показанием числа состоящих за ними в оных ревизских мужеского пола душ» показан владельцем сельца Захарова и 67 душ—артиллерии капитан Илья Яковлевич сын Тинков. Кто была генеральша Тинкова—нам неизвестно.

18. Село Михайловское (по местному Зуево) было пожаловано императрицею Елизаветою 12 января 1742 г. Абраму Петр. Ганнибалу (арапу Петра I); после его смерти в 1781 г. перешло сыну Осипу Абрам. Г.; после его смерти 12 октября 1806 г. перешло к его вдове Марье Алексеевне Г. (бабушке поэта); после ее смерти 27 июня 1818 г. перешло к ее дочери Надежде Осиповне Пушкиной (матери поэта); после ее смерти 29 марта 1836 г. сделалось собственностью ее детей: поэта, его брата Льва Серг. П. и сестры Ольги Серг. Павлищевой. В 1837 г. часть этого имения унаследовали дети поэта: Алдр. Алдр., Григорий Алдр., Марья Алдр. (впоследствии по мужу Гартунг) и Наталья Алдр. (позднее по первому браку Дубельт, по второму графиня Меренберг); немного позднее все Михайловское стало владением детей поэта. Около 1856 г. Михайловское перешло к старшему сыну Александру Алдр. Пушкину, а в 1866 г. досталось младшему сыну поэта, Григорию Александровичу Пушкину. В 1899 г. состоялось высочайшее повеление приобрести Михайловское в ведение Государст. Банка и о предоставлении псковскому дворянству устроить в усадьбе по соглашению с Академией Наук какое-либо благотворительное учреждение, связанное с именем поэта, и в 1911 г. здесь была устроена колония для престарелых литераторов. 17 марта 1922 г. по декрету Совета Народных Комиссаров (протокол № 849) Михайловское (а также Тригорское и могила П. в Святых Горах) об'явлены заповедным имением.

З. Д... „Воспоминание из детства А. С. Пушкина".

Кто является автором заметки о няне Пушкина, подписанной: «Д...» («Всеобщая Газета», 1869 г., № 60 от 4 октября, стр. 3)—остается неизвестным. Письмо же к редактору (1869 г., № 62, от 7 октября, стр. 3) принадлежит Федору Богдановичу Миллеру (1818—1881), писателю и поэту переводчику, в 1859—1881 гг. издававшему юмористический журнал «Развлечение».

Рассказанный старушкой эпизод из детства Пушкина нам представляется правдоподобным: эта шутка в духе Пушкина.

Несколько лет тому назад мне привелось встретить в одном знакомом доме очень ветхую старушку, бывшую нянюшку покойного Пушкина. Не знаю, жива ли она теперь, но в то время она находилась в одной из московских богаделен *.

* В стихотворении „Вновь я посетил", написанном Пушкиным в 1835 году, находятся следующие строки:

„Вот смиренный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет; уж за стеной
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни утренних ее дозоров".

Упоминаемая мною старушка, разумеется, не та, о которой говорит поэт. Она была помощницей няни или второй няней при покойном Пушкине.

Почтенную гостью усадили за чайный столик,—хозяева приветливо угощали ее чаем и закусками,—я же, как только проведал, что за интересное лицо эта гостья, приступил к ней с расспросами о поэте.

— Ничего теперь не помню об Александре Сергеевиче, ничего не сумею о нем теперь рассказать,—ответила мне она на мои запросы,—память совсем изменила... Ведь уж много годов прошло тому—ничего не припомню...

Предоставляю судить читателю о моем горе при этом категорическом ответе интересной старушки. Но надеясь выжать хотя малейшее сведение, хотя какой-нибудь ничтожный случай из детства великого поэта, я продолжал настаивать, просто умолять мою собеседницу.

Старушка снова повторила, что не помнит решительно ничего, и даже будто обиделась за мои настояния.

Прошло с полчаса после того, я потерял всякую надежду что-нибудь от нее услышать о Пушкине.

Чай прибрали,—мы, взрослые, оставались в той же комнате и за тем же чайным столом,—дети хозяев, мальчик лет двенадцати и сестра его, годом его моложе, вышли в соседнюю залу. Скоро между ними возник какой-то раздор. Оживленные голоса их громко раздавались и понудили мать вмешаться в детскую ссору.

— Вот так-то, бывало, Александр Сергеич маленький рассорится с сестрицей,—вдруг оживившись промолвила старушка.—Такой спор затеют, бывало, словно о деле.

Я впился в лицо говорившей: тусклые глаза ее смотрели как-то яснее, в них загорелась жизнь, воспоминания пробуждались.

— А разве ссорились они?—спросил я лукаво.

— А то и нет? Тоже, небось, был он ребенок. Раз Ольга Сергеевна нашалила что-то, прогневала мамашу [4], та по щеке ее и треснула. А она обиделась, да как! Мамаша приказывает ей прощение просить, а она и не думает, не хочет. Ее, матушку мою, в затрапезное платьице одели, за стол не сажают,—на хлеб-на воду—и запретили братцу к ней даже подходить и говорить. А она нравная такая была,—повешусь, говорит, а прощения просить не стану. А Александр-то Сергеич что же придумал: разыскал где-то гвоздик, да и вбивает в стенку.

— Что это, спрашиваю, вы делаете, сударь?

— Да сестрица, говорит, повеситься сбирается, так я ей гвоздик приготовить хочу“... да и засмеялся,—известно, понял, что она капризничает, да стращает нас только. Уж какой удалой да вострый был, царство ему небесное,—заключила рассказчица перекрестившись,—а добр-то, добр уж как был к прислуге, куда равнять с сестрицей.

И окончив этот маленький эпизод из раннего детства поэта, старушка снова умолкла, снова безжизненность и мертвенность разлилась в чертах ее, и более ни слова, ни намека о Пушкине мне не удалось от нее услышать.

Д...

---

4. Ф. Б. Миллер. „Письмо к редактору“.

Мы получили от г. Миллера (редактора сатирического журнала „Развлечение“) письмо следующего содержания:

Прочитав № 60 вашей газеты „Воспоминание из детства Пушкина“, считаю нужным дополнить их сведением о той нянюшке поэта, о которой упоминается в статье. Она еще жива и находится в Набилковской богадельне. Почти 40 лет я знаю лично эту старушку, которой теперь почти 90 лет. Зовут ее Екатерина Николаевна. 19 лет тому назад она гостила у меня все лето на даче и гуляла с моими детьми, которые до сих пор ее очень любят и помнят, как она занимала их своими сказками, которые она, большею частью, импровизировала. Я сам, слушая ее, удивлялся живости ее воображения. Теперь она почти ослепла; но еще недавно ходила пешком в Сретенский монастырь и оттуда прибрела ко мне. В прошлом году читал я в немецком журнале „Gartenlaube“, что отыскали нянюшку поэта Кернера [1], и редакция этого журнала предложила своим читателям составить подписку в пользу этой старушки. Не мешало бы и у нас последовать этому примеру“.

Разделяя вполне мнение почтенного редактора относительно подписки для старушки, некогда близкой к на-

шему бессмертному поэту, мы со своей стороны с удовольствием открываем ее для желающих при нашей редакции.

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Кернер (Kórner), Карл-Теодор (1791—1713) известный немецкий поэт-патриот.

---

5. М. Н. Макаров. „Александр Сергеевич Пушкин в детстве. (Из записок о моем знакомстве)".

Воспоминания о Пушкине Мих. Ник. Макарова (1789—1847), напечатанные в «Современнике» (1843 г., т. 29, стр. 375—385), не пользуются авторитетом в пушкиноведении.

Карамзинист Макаров многоречив, вероятно кое-что и прибавляет, приукрашает, путает, но совершенно зачеркнуть его рассказ не приходится: слишком скудными сведениями о детстве Пушкина мы располагаем.

Когда это было, в 1810, 1811, или не позднее, как в начале 1812 года, и в какую именно пору, право этого хорошенько и точно я теперь сказать не могу. Тридцать лет назад—порядочная работа для памяти человеческой! [1].

Впрочем, сознаюсь в моей слабости, я люблю и очень люблю подчас занять себя и летописью и хроникою; зато уж на года, точно так же, как на месяцы и числа, меня недостанет никогда. Поверите ли, что даже, когда бываю в присутствии, то обыкновенно спрашиваю секретаря: а что, какое нынче у нас число? Секретарь, аккуратный немец, а притом и юридического факультета студент, всегда улыбается этому почти ежедневному моему вопросу. Да! я думаю, пусть его улыбается; а я буду его спрашивать о числах. Числа и числительное—великое дело на белом свете: для него и для них живут...

По другому пункту всякую философию в сторону—и я обращаюсь к простому делу. С иного взгляда, говорю я, можно утверждать, что числа, месяцы и годы могли быть и поставлены в той моей записке, о которой шествует речь; да этой ставке изменили чернилы: частехонько бывало (в моей чернильнице) ученические, бледные, водяные—поэтому-то и стерлось все. И моего всего как будто бы и не родилось—все пропало! Таким-то образом о вышеупомянутых годах я ничего не могу сказать с числительною достоверностью.

Однако ж я очень помню, что в этот год, да, именно в этот, когда я узнал Александра Сергеевича Пушкина, я, начиная с октября или с ноября месяца, непременно, как по должности, каждосубботно являлся в Немецкую слободу к графу Дмитрию Петровичу Бутурлину [2], и потом, вследствие оной-то моей явки, танцовал там до упаду! Мне никак нельзя отказаться от истинной моей страсти к танцам: ведь многие еще очень помнят те забавные стишонки, в которых так просто, без всяких обиняков, поименованы были все тогдашние мои современники, московские танцовщики, бальники и даже девицы тех же времен, бальницы-танцовщицы. Посудить, так это дело святотатственное. Уж какая кому нужда трогать девиц? Но тут же и я грешный выставлен был в презабавной каррикатуре, каким-то гусем, с какими-то английскими шагами и с упреком, не в бровь, а в самый глаз, что я же, в то время, жил самым курьезным, или, вернее сказать, самым смешным журналистом. Издатель «Русского Вестника», благородный Сергей Николаевич Глинка [3], назвал все упомянутые с поименовкою стихи пасквилем и напечатал о них препорядочную статейку.

Поразмыслишь теперь, так вдоволь смешны были эти дни моей юности! Я и многие очень рады были, что попали в реченный пасквиль: мы тогда смеялись ему от души, а другие на то же сердились. Но что говорить о том, что так давно миновало и что здесь совсем мне не к делу? Мало ли что шло и что бывало!..

Я обещал говорить о маленьком Пушкине, который в самое это же время, когда я пропрыгивал, был еще совершенным ребенком, ни мною, ни всеми моими товарищами-прыгунами почти незамечаемый. Так было; но думаю, что и нынешний прыгун едва ли замечает что-нибудь подобное. Credo di si!.

Подле самого Яузского моста, т.-е. не переезжая его к Головинскому дворцу, почти на самой Яузе, в каком-то полукирпичном и полудеревянном доме жил Сергий Львович Пушкин, отец нашего знаменитого поэта—и вот все гости, которые бывали тогда на субботах графа Д. П. Бутурлина, бывали и у Пушкина [4]. Дом Бутурлиных и дом Пушкиных имели какую то старинную связь, стену о стену, знакомство короткое; к этому же присоединилось и настоящее близкое соседство квартиры Пушкиных с домом графа Бутурлина; к этому же, то есть к заезду в одно время и к Пушкиным и к Бутурлиным, много способствовала даже и дальняя от гнезда московской аристократии (Поварской и Никитской с товарищами) Немецкая слобода (прибрежья Головинские)—и вот потому-то какой нибудь житель Тверской улицы или Арбат-

ской, не без пользы и для себя и для коней своих всегда рассчитывал, что, ехавши в Немецкую слободу к тому-то, кстати там же заехать еще и к тому-то и к третьему. Да, Москва—дистанция огромного размера!..

В самом-деле: например, мне с Большой Никитской улицы от Старого Вознесения [5], в приходе которого я жил, тут было путешествие порядочное; а были еще люди, которые ездят и езжали туда-же, в Немецкую слободу, из-за Москворечья, с Пресни, с Зацепы и проч., и проч. Этаких гостей уж можно и должно было называть совершенно дорожными.

С. Л. Пушкин и нас прыгунов очень часто, да и почти всегда, приглашал к себе также наряду с другими... У меня на уме тогда бывала какая-то баронесса Б... премиленькая, прехорошенькая, немножко бледненькая. Да, я именно для нее только никак не манкировал ни бутурлинскими ни пушкинскими вечерами. Она тогда, как моя звездочка-путеводительница, являлась или там, или сям непременно.

Я обыкновенно посещал Сергея Львовича или с братом его Василием Львовичем [6], или еще чаще, ибо Василий Львович не всегда жил в Москве, с князем... или с Ст...ром....

Молодой Пушкин, как в эти дни мне казалось, был скромный ребенок; он очень понимал себя; но никогда не вмешивался в дела больших, и почти вечно сиживал как-то в уголочке, а иногда стаивал прижавшись к тому стулу, на котором угораздивался какой-нибудь добрый оратор, басенный эпиграммист, а еще чаще подле какого же нибудь

графчика чувств; этот тоже читывал и проповедывал свое; и если там, или сям, то-есть, у того или другого, вырывалось что-нибудь превыспренне-пиитическое, забавное для отрока, будущего поэта, он не воздерживался от улыбки. Видно, что и тут уж он очень хорошо знал цену поэзии.

Однажды точно, при подобном же случае, когда один поэт-моряк провозглашал торжественно свои стихи и где как-то пришлось:

И этот кортик,
И этот чортик!

Александр Сергеевич так громко захохотал. что Надежда Осиповна, мать поэта Пушкина, подала ему знак—и Александр Сергеевич нас оставил. Я спросил одного из моих приятелей, душою преданного настоящему чтецу: „что случилось?“—„Да вот шалун, повеса!“—отвечал мне очень серьезно добряк-товарищ. Я улыбнулся этому замечанию, а живший у Бутурлиных ученый француз Жиле [7] дружески пожал Пушкину руку, и оборотясь ко мне сказал: „чудное дитя! как он рано все начал понимать! Дай бог, чтобы этот ребенок жил и жил; вы увидите, что из него будет“. Жиле хорошо разгадал будущее Пушкина; но его *дай бог* не дало большой жизни Александру Сергеевичу.

В теплый майский вечер мы сидели в московском саду графа Бутурлина; молодой Пушкин тут же резвился, как дитя, с детьми. Известный граф П.... упомянул о даре стихотворства в Александре Сергеевиче. Графиня Анна Артемьевна (Бутурлина) [8], необыкновенная женщина в светском обращении и приветливости, чтоб как-нибудь не огорчить молодого поэта, может быть, нескромным словом

о его пиитическом даре, обращалась с похвалою только к его полезным занятиям, но никак не хотела, чтоб он показывал нам свои стихи; зато множество живших у графини молодых девушек иностранок и русских почти тут же окружили Пушкина с своими альбомами и просили, чтоб он написал для них хоть что-нибудь. Певец-дитя смешался. Некто N. N., желая поправить это замешательство, прочел детский катрен поэта и прочел по-своему, как заметили тогда, по образцу высокой речи на *о*. Александр Сергеевич успел только сказать: ah! mon Dieu—и выбежал.

Я нашел его в огромной библиотеке графа Дмитрия Петровича; он разглядывал затылки сафьяновых фолиантов и был очень недоволен собою. Я подошел к нему и что-то сказал о книгах. Он отвечал мне: „Поверите ли, этот г. N. N. так меня озадачил, что я не понимаю даже и книжных затылков“.

Вошел граф Дмитрий Петрович с детьми, чтоб показать им картинки какого-то фолианта. Пушкин присоединился к ним, но очень скоро ушел домой.

Через несколько лет после того, как одни начали толковать о молодом Пушкине, некоторые все еще не верили его дарованиям и очень нередко приписывали его стихотворения другим поэтам (так по крайней мере мне говорили о многих из его пьес), сам Мерзляков [9], наш учитель песни, не видал в Пушкине ничего классического, ничего университетского: а последняя беда для многих была горше первой.

Владимир Васильевич Измайлов [10] первый достойно оценил дарования Пушкина; он напечатал многие из его

пьес в своем журнале Музеум. Кто не помнит там Воспоминаний в Царском Селе, Посланий к Батюшкову, К*** [11] и проч. и проч. Тут светились дарования Пушкина ясно. Дядя его, Василий Львович, также предвидел в этих опытах многое; но никак не сознавался, чтоб Александр Сергеевич мог когда-нибудь превзойти его, как поэта и чтеца, в совершенстве чистого. „Mon cher“, [12] говорил он мне, „ты знаешь, что я люблю Александра, он поэт, поэт в душе; mais je ne sais pas, il est encore trop jeune, trop libre [13], и право я не знаю, установится ли он когда, entre nous soit dit, comme nous autres etc. etc.?“ [14].

Приятель наш Борис Кириллович Бланк [15] нередко споривал об этом с Васильем Львовичем и говорил против него за Александра Сергеевича; но Василий Львович стоял на-своем: „увидим, mon cher, вот он поучится; mais, entre nous soit dit [16], я рад и тому, что Александровы стихи не пахнут латынью и не носят на себе ни одного пятнышка семинарского“. Таковы, или почти таковыми были тогда все заключения поэта-дяди о его великом поэте-племяннике.

Наконец и Василий Львович Пушкин признал своего племянника поэтом с отличием, но иногда ветреным, самонадеянным. Другие певцы-старожилы тут же явно зачувствовали перелом классицизму. Не верите? Я покажу, на этот счет, письмо ко мне покойного графа Д. И. Хвостова [17]. Один только И. И. Дмитриев [18], в иную пору, говаривал нам, что классическая такта и в стихах и в прозе лишает нас многого хорошего—мы как-то не смеем не придерживаться к Краткому руководству к оратории Рос-

сийстей. Последнее заключение—слово в слово заключение Дмитриева.

В детских летах, сколько я помню Пушкина, он был не из рослых детей и все с теми же африканскими чертами физиономии, с какими был и взрослым, но волосы в малолетстве его были так кудрявы и так изящно завиты африканскою природою, что однажды мне И. И. Дмитриев сказал: „посмотрите, ведь это настоящий арабчик". Дитя рассмеялось и, оборотясь к нам, проговорило очень скоро и смело: „По крайней мере отличусь тем и не буду рябчик". Рябчик и арабчик оставались у нас в целый вечер на зубах.

В последний раз я встретил Александра Сергеевича на похоронах доброго Василья Львовича. С приметною грустью молодой Пушкин шел за гробом своего дяди; он скорбел о нем, как о родственнике и как о поэте.

И. И. Дмитриев, подозревая причиною кончины Василия Львовича холеру, не входил в ту комнату, где отпевали покойника. Александр Сергеевич уверял, что холера не имеет прилипчивости и, отнесясь ко мне, спросил: „Да не боитесь ли и вы холеры"? Я отвечал, что боялся бы, но этой болезни еще не понимаю. „Не мудрено, вы служите подле медиков. Знаете ли, что даже и медики не скоро поймут холеру. Тут все лекарство один courage, courage и больше ничего". Я указал ему на словесное мнение Ф. А. Гильтебранта [19], который почти то же говорил. „О да! Гильтебрантов немного", заметил Пушкин.

Именно так было, когда я служил по делам о холере. Пушкинское магическое слово courage, courage спасло многих от холеры.

После этого я уж никогда не видал Александра Сергеевича.

Заметить ли тут еще нечто? Московский наш дом, на Большой Никитской, до 1812 года был из окна в окно с домом покойной Катерины Андреевны Новосильцевой, моей двоюродной, а тестя Пушкина, Н. А. Гончарова, родной бабки [20]. В этом-то доме Николай Афанасьевич часто живал по целым месяцам со всем своим семейством, и я часто у него обедывал.

Случалось, что за таким обедом мы все гости пили здоровье хозяина и желали ему всех благ, а при том, как превосходному скрипачу, вечного покровительства муз. „Покамест не всех", шутя отвечал нам хозяин; „но вот, как подрастут дети, тогда немудрено, что к моей музыке прильется и поэзия". Она прилилась скоро—а где же и то и другое?..

М. Макаров.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Встречи могли быть до июня 1811 года, т. к. в это время Пушкин уехал из Москвы в Петербург для поступления в Царскосельский лицей.

2. Бутурлин, Дмитрий Петрович, граф (1763—1829), внук Александра Борис. Б. (1694—1767), получившего графское достоинство за взятие Берлина в Семилетнюю войну; был директором Эрмитажа и известным библиофилом; первая его библиотека сгорела во время пожара Москвы в 1812 г., вторая же после его смерти была распродана по частям в Париже его наследниками (1839—41 гг.).

3. Глинка, Сергей Николаевич (1775—1847)—майор в отставке, литератор (драматург, поэт и переводчик), издатель журнала «Русский Вестник», пользовавшегося популярностью в

эпоху Отечественной войны за свою непримиримую борьбу с французским влиянием; как человек, Глинка отличался удивительным бескорыстием и рыцарской прямотой характера.

4. Головинский (Екатерининский) дворец —это здание бывших 1-го и 2-го Кадетских корпусов, ныне курсы Красной армии на Краснокурсантской площади (быв. Кадетский плац). Какой дом, в котором жили Пушкины, имеет в виду Макаров, остается неизвестным. См. Л. А. Виноградов «Детские годы Александра Сергеевича Пушкина в Немецкой слободе и у Харитония в огородниках» в кн. «Пушкин в Москве». М. 1930, стр. 41—43.

5. Старое Вознесение на Б. Никитской иначе называется Большое Вознесение; в этой церкви венчался Пушкин.

6. Пушкин Василий Львович (1767 — 1830)—старший брат отца поэта—поэт, знаток франц. литературы и иностранных языков, библиофил, член литерат. общества Арзамас, автор «Опасного соседа». Остроумный весельчак и даровитый декламатор, он проживал то в Москве, то в Петербурге, то за границей, где был знаком с знаменитостями литературного, артистического и политического мира.

7. Жиле (Gillet), Реми Акинфиевич или как его чаще звали Петр Иванович (родился ок. 1765 г., умер в 1849 г.)—французский эмигрант; был гувернером гр. П. Д. Бутурлина; в 1810 г. получил степень доктора словесных наук; в 1813—14 гг. участвовал в походах; в 1817—21 гг. был помощником, а затем директором Ришельевского лицея в Одессе; вышел в отставку, а с 1829 г. по 1841 г. вновь был профессором в Главном Педагогическом Институте и Царскосельском лицее.

8. Гр. Бутурлина, Анна Артемьевна, рожд. гр. Воронцова, вышла замуж в 1793 г. за гр. Дмитрия Петровича Бутурлина,

9. Мерзляков, Алексей Федорович (1778—1830)—известный критик и поэт, профессор Московского унив. происходил из небогатой купеческой семьи. М. был виднейшим представителем университетско-словесной науки первой четверти XIX в. Из его разнообразных поэтических произведений (то в духе

Ломоносова, то карамзинистов) выделяются и не забыты песни народного склада, полные глубокого чувства, напр. «Ожидание» (Среди долины ровныя).

10. Измайлов, Владимир Васильевич (1773—1830)—писатель; служил в гвардии и был цензором в Москве. Его первая повесть «Ростовское Озеро» вполне определяет его художественную манеру карамзиниста, каким он оставался все время. Он издавал: «Патриот, журнал для воспитания» (1804), «Вестник Европы» (1814), «Российский Музеум» (1815), альманах «Литературный Музеум» (1827) и др. Пушкин, впервые выступивший в печати в 1814 г., все пять стихотворений за этот год напечатал в его ж. «Вестн. Европы», а в следующем (1815) из 18-ти стихотворений Пушкина—17 было напечатано в журнале Измайлова «Российский Музеум».

11. Стих. «Воспоминания в Царском Селе» впервые напечатано в ж. «Росс. Музеум», 1815 г., часть вторая № 4. Стих. «Батюшкову» напечатано там же, часть вторая № 6. Стих. «Городок (К***)» там же, часть третья № 7.

12. «Милый мой».

13. «но я не знаю, он еще слишком молод, слишком свободен».

14. «говоря между нами, как мы остальные и т. д. и т. д.»

15. Бланк, Борис Кириллович (1769—1826)—поэт, писатель и переводчик, сотрудничал в журналах, издаваемых кн. П. И. Шаликовым. Малоталантливый представитель сентиментализма.

16. «но между нами говоря».

17. Гр. Хвостов, Дмитрий Иванович (1757—1835)—поэт; служил во втором депертаменте Сената; затем произведен в полковники и назначен состоять при Суворове; позже оберпрокурор Синода. В 1785 г. избран в члены Российской Академии. Как поэт Хвостов стяжал печальную славу бездарного стихотворца.

18. Дмитриев, Иван Иванович (1760—1837)—известный поэт, друг Карамзина и Державина, член государственного совета и министр юстиции; с 1814 г., выйдя в отставку, жил в Москве.

19. Гильтебрант, Федор Андреевич (1773—1845) действительный статский советник, доктор медицины, заслуженный профессор Моск. университета, Медико-хирургической академии и консультант Мариинской больницы. Пользовался большою известностью, как хирург (особенно снятием катаракт).

20. Синявина, Екатерина Андреевна (1774—1816) в первом браке за Николаем Афанасьевичем Гончаровым и во втором браке за Иваном Васильевичем Новосильцевым (секунд-майором) —была родной бабушкой Николая Афанасьевичем Гончарова (1787—1861), отца жены Пушкина.

---

6. А. Е. Грен. „Воспоминание о Пушкине“.

Еще худшей репутацией, чем Макаров, пользуется у специалистов поэт-переводчик Александр Евгениевич Грен.

Об его подлогах см. ниже прим. 6-ое. Но вместе с тем трудно допустить, чтобы все рассказанное им была одна сплошная выдумка. Рассказ („Современник“, 1838, т. XI, № 3, стр. 33—37 первой пагинации) о встрече с Пушкиным в 1820 г. и о письме поэта к бедной даме 1835 г. ничего не заключает в себе невероятного.

(К П. Зеленецкому) [1].

Toutes les pages de la vie humaine sont dignes d'être lues [2], сказал поэт, а я прибавлю, что каждая черта из жизни великого человека должна быть сохранена для потомства. Она знакомит, роднит нас с любимым человеком, а для будущего биографа дарит несколько драгоценных строк из жизни того, кто был честию и славою своего отечества. Так, в простом рассказе моем я хочу сохранить для России две незабвенные встречи мои с Пушкиным, в которых отразилась вся прекрасная и добрая душа его.

Тому давно, 9-го апреля 1820 года [3], когда горы, качели и балаганы в Петербурге, о Святой, строились на площади большого каменного театра, я, мальчик лет тринад-

цати, в коротком черном сюртучке и коричневом плащике, и брат мой, одних лет со мною, в одежде воспитанника одного из военноучебных заведений, теснились вместе с народом вокруг гор и качелей. С детским любопытством рассматривали мы блестящие наряды дам, проезжающих мимо качелей в богатых экипажах, любовались быстрым спуском с гор на маленьких тележках простого народа, и прислушивались к его родным песням. Нам было весело, как никогда не бывало; мы были счастливы, как дети, гуляющие на свободе без учителя или наставника.

У одного из самых больших балаганов теснилось много народу; мы тоже туда продрались; нам очень хотелось войти во внутренность балагана и видеть там известного Раппо [4], который показывал в то время свою необыкновенную силу и искусство, удивлявшие петербургскую публику. Но без денег нас не пускали, а мы их не имели, ибо все деньги, которые нам дали родители наши, были уже истрачены. Печальные, мы стояли у самого входа в балаган, и как прежде были веселы, так теперь с горести чуть-чуть не плакали. Один из людей, принадлежащих к труппе комедиантов, видя нас стоящих долгое время без всякого дела у самого входа в балаган, довольно грубо сказал нам, чтобы мы отошли прочь и не мешали другим. С горестью мы поворотились и только-что хотели итти далее, как двое мужчин, благородной и доброй наружности, одетые в черных плащах, остановили нас. Один из них, которого черты лица глубоко врезались в мою детскую душу, подошел к грубому комедианту и дал ему заметить, чтобы он вперед обращался поучтивее с детьми, которые ему вовсе не мешали, и которых обидеть весьма легко было можно. Потом подошел он к нам, сказал что-то по французски товарищу своему—язык этот мы тогда еще худо понимали—и обратился к нам с вопросом: „Не хотите-ли вы, друзья мои, войти в шалаш посмотреть силача Раппо?“ Мы поклонились, и он ввел нас в балаган, усадил бережно в кресла, и сам с товарищем своим остался тут же.

Во все время представления Раппо я не столько смотрел на удивительное искусство этого силача, сколько на добрые черты наших покровителей. Оба они были еще очень молоды; но особенно занимал меня один из них: он был среднего роста, смуглый, с живыми серыми глазами, в которых отражалась душа высокая, поэтическая, добрая и благородная. Он, как отец своим детям, заботливо и нежно из'яснял нам все непонятное для нас в искусстве Раппо, и при этом рассказал нам два анекдота из жизни этого силача, а по окончании представления вывел из толпы народа на Набережную, и простился с нами как со своими старыми друзьями. Последние его слова были: „Прощайте, теперь вы видели Раппо; когда придете домой, расскажите папеньке и маменьке о необыкновенной силе его“.

Прошло после того шестнадцать лет. Я кончил курс своих науки, служил в... департаменте, как в одно время, в 1835 г. я посетил одну благородную даму, которая тогда лишилась своего мужа и осталась в самом бедном положении с большим семейством. Она просила у меня совета, к кому бы ей обратиться с письмом хотя о маленьком пособии, которое необходимо нужно было в тогдашних ее горестных обстоятельствах. Подумавши, я присоветовал этой

даме послать письмо о помощи к А. С. Пушкину. Он жил тогда у Летнего Сада в доме г-жи Оливей[5]. Лично я его не знал и даже никогда не видывал; но знал, что поэт наш имеет добрую душу. По просьбе этой дамы я от имени ее написал небольшое письмо к Пушкину и послал к нему по городской почте. На другой день моя знакомая получила от Пушкина ответ следующего содержания:

Милостивая государыня!

Все, что я могу сделать для вас доброго, постараюсь, но не осудите, если пособие мое будет не так значительно, как вы, быть может, ожидаете. Я сам далеко не из числа богатых людей. На днях буду у вас.

С уважением и преданностью имею честь
быть покорный к услугам
А. Пушкин[6].

Через три дня я опять зашел к госпоже Л. У нее в это время был Пушкин; и как удивился я, когда в знаменитом поэте нашем узнал того самого незнакомого мужчину, который, тому назад шестнадцать лет, меня с братом так добродушно и нежно провел в балаган Раппо, и заботился о нас, как о своих детях. Пушкин взглянул на меня и, припоминая что-то, вдруг спросил: „я, кажется, имел удовольствие где-то вас видеть.“ Мне очень весело было напомнить ему свидание наше, в 1820 году, под качелями, в балагане Раппо. Он задумался и, спустя минуты две, сказал: „да, да, помню, я был тогда с Дельвигом. Он умер, мой добрый Дельвиг“[7]. Он не предчувствовал тогда, что через два года и его возьмет ранняя могила.

А. Грен.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Зеленецкий, К. П. см. примеч. к № 11.

2. Все страницы человеческой жизни достойны быть прочитанными.

3. В 1820 г. 9-ое апреля было не на святой неделе, а на фоминой; в 1819-м же году 9-ое апреля было в среду на святой неделе.

4. Раппо (или Рапп), Карл—известный акробат и силач; родился в 1802 г. в Инсбруке, в Тироле. Впервые дебютировал в конце 10-х годов в труппе Рогàрдо в Аугсбурге; затем в труппе Турнье. С 1825 г. он один совершает поездку по Венгрии и Германии и приезжает через Варшаву впервые в Россию, где остается до 1830 г. Затем приезжает в Россию в 1839, 1844, 1852 годах. В России Раппо пользовался большим успехом. Следовательно указание А. Грена на то, что он видел Раппо в 1820 году, неверно. Является ли эта встреча с Пушкиным на представлении Раппо выдуманной целиком Греном, или последний спутал только имя циркового артиста—остается неизвестным.

5. Пушкин действительно жил в С.-Петербурге у Пантелеймона, близ Цепного моста, в доме Оливье, но только не в 1836 г., как выходит со слов автора (писавшего об этом через шестнадцать лет) и не в 1835 г. (если отсчитывать не от 1820 г., а от 1819—см. наше примечание № 3), а с сентября 1833 г. по июль—начало августа 1834 г., и после 10 августа 1834 г. Пушкины живут на новой квартире, в доме Баташева на Дворцовой набережной, у Прачечного моста.

6. Письмо Пушкина к бедной вдове Л., впервые опубликованное А. Греном в настоящей статье, а затем много раз перепечатываемое самим Греном и другими (А. Грен «Рассказчик» Спб. 1842, стр. 76—77; им же в Биографической заметке в «С.-Петербургском Вестнике» 1861 г., № 14, стр. 312; П. О. Морозовым в Сочин. П. Спб. 1887 г. т. VII, стр. 391, № 441 и в Сочин. П. изд. «Просвещение» т. VIII, стр. 378, № 542 и

П. А. Ефремовым в Сочин. П. Спб. 1903 г. т. II стр. 625 № 544), редактором академического издания «Переписки Пушкина» В. И. Саитовым исключено из числа пушкинских писем. С такими литературными вымыслами в Puschkinian'е Грен выступал не раз.

О публикации им в том же 14 ом номере «С.-Петербургского Вестника» поддельных: записки к Е. А. Боратынскому, трех писем к кж. Абамелек и двух писем к бар. А. А. Дельвигу см. в книге Н. О Лернера «Труды и дни Пушкина» Спб. 1910 г. стр. 348. «Анекдот о Байроне», напечатанный в «Общезанимательном Вестнике» 1857, № 6 (перепечатан Анненковым в VII т. Соч. П. 1857 г. стр. 151) с заметкою Грена, что он получил его от В. А. Теплякова, на самом деле просто перепечатан из «Литературной газеты» 1830 г. вместе со стихотворениями «Старица пророчица» и «Лилия», которые Грен также без всякого основания приписал Пушкину, а на Теплякова сослался только для авторитета.

7. Дельвиг, Антон Антонович, барон (1798—1831)—поэт, однокурсник и друг Пушкина по Царскосельскому лицею. Умер Дельвиг 14 января.

---

7. Г. Мекленбурцов. „Письмо в редакцию".

Пребыванию Пушкина в Екатеринославе в мае 1820 г. посвящены сообщения в «Приднепровском Крае» за 1899 г. Г. Мекленбурцова (№ 392 от 6 февраля), В. Татаренки (№ 413 от 27 февраля) и А. П. Воеводина (№ 416 от 3 марта).

Довольно редкое в таких случаях единогласие в показаниях старожилов о том, где жил Пушкин, свидетельствует, полагаем, об их правильности.

М. Г., Г. Редактор!

Согласно заметке, помещенной в № 389 вашей многоуважаемой газеты о предстоящем праздновании Россией столетней годовщины со дня рождения покойного поэта А. С. Пушкина, могу сообщить самые верные сведения о проживании покойного поэта в Екатеринославе, а именно: мой покойный отчим, князь Александр Никанорович Гирей (который умер 105 лет), говорил и указывал мне то место, где жил поэт; жил он в доме Краконини, перешедшем в сороковых годах дворянину Здановичу и находящемся на Мандрыковке, против усадьбы моего отчима, князя Гирея. Усадьба, где жил покойный А. С. Пушкин, прилегает к Днепру. В Мандрыковке, близ реки Днепра находилась тюрьма, из которой во время пребывания поэта бежали два

брата-арестанта, побочные дети помещика Засорина, о которых Александр Сергеевич и написал известную поэму „Братья-разбойники“ [1]. Ныне усадьба принадлежит г. Кулабухову, у которого и имеются на все изложенное данные.

Пишущий эти строки от роду имеет 72 года. Дворянин

Г. Мекленбурцов.

Екатеринослав.
4 февраля 1899 г.

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Пушкин писал кн. П. А. Вяземскому 11 ноября 1823 г. из Одессы: «Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 820 году в бытность мою в Екатеринославе, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись».

---

8. В. Татаренко. „Письмо в редакцию“.

М. Г., Г. Редактор!

В „Приднепровском Крае“ помещено было письмо дворянина Мекленбурцова, в котором он сообщает о местопребывании А. С. Пушкина в Екатеринославе. Могу подтвердить его верные указания о доме, где жил А. С. Пушкин; он действительно жил, во время пребывания в Екатеринославе, на Мандрыковке; доказательством может служить то обстоятельство, что мой дядя, бывший в Екатеринославе фотографом, Н. А. Иванов, лет 10—12 тому назад, был у бывшего городского головы, П. В. Кулабухова, и просил разрешения для фотографирования этого дома, но г. Кулабухов ему заявил, что дом, в котором жил А. С. Пушкин, был разобран лет сорок тому назад его отцом, В. А. Кулабуховым, в виду его ветхости и выстроен возле немного больше, где помещалась контора его отца, у него здесь была шерстяная мойка, которой во время фотографирования тоже не было. В виду этого, мой дядя фотографировал только то место, где жил Пушкин во время пребывания его в Екатеринославе; в то время здесь находилась масса вековых деревьев, а невдалеке протекал Днепр. Место это, действительно, живописное. Мандрыковка вообще очень

живописна, в особенности в мае, когда все цветет, растет, словом, природой дышит, но в отношении благоустройства оставляет желать многого.

С совершенным почтением
штурман В. Татаренко.

---

9. А. П. Воеводин. „Письмо в редакцию".

М. Г., Г. Редактор!

В нескольких №№ вашей многоуважаемой газеты сообщалось о местопребывании в Екатеринославе А. С. Пушкина. О его местопребывании и я знаю, а именно Пушкин жил на Мандрыковке, в доме немца или еврея Краконини, который в 41 году был куплен священником Венецким, а в 42—45 г. был приобретен Василием Кулабуховым Лет 40 тому назад об этом мне говорил один старик, который служил у Василья Кулабухова сторожем, и которого, из уважения к его преклонным летам, называли „Иван Григорьевич". Последний во время пребывания в Екатеринославе А. С. Пушкина (что длилось дн. 18) [1], катал его несколько раз на лодке по Днепру, что он очень любил, а также я слышал об этом и от местного старожила, моего хорошего знакомого, князя Гирея, который с А. С. Пушкиным был знаком и раза два с ним катался по Днепру.

С истинным почтением дворянин А. П. Воеводин.

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Пушкин приехал в Екатеринослав 16 или 17 мая 1820 г., а выехал вероятно 4 июня 1820 г. с семейством генерала Н. Н. Раевского.

10. В. П. Горчаков. „Выдержки из дневника об А. С. Пушкине“.

Среди друзей Пушкина есть один нисколько на других не похожий. Это В. П. Горчаков. Он не блистал каким-либо выдающимся талантом, или особым дарованием. Близость его к Пушкину чисто нравственная, и не даром поэт дал ему прозвище «душа души моей». В. П. Горчаков человек редкой доброты, и от всей его личности веет теплом и любовью. Он подбирает в сани на большой дороге пьяного замерзающего человека и возвращает к жизни, он жалеет слуг из цыган-молдаван, закабаленных у местных бояр, и называет их «полунеграми», и сам никогда не кричит на свою крепостную прислугу. В трудные минуты ссужает Пушкина 2 т. руб. и выручает поэта. Состояние Варфоломея его не прельщает. С нищими делится последней копейкой. По натуре пылкий и восторженный, любящий чтение и беседы, он вращался среди тронутой революционными идеями военной молодежи Тульчина и Кишинева и был близок к будущим декабристам. Возможно, что он был на грани, но остался вне заговора, увлекаясь мистической стороной движения, тогда столь сильною. По отзыву современника, Горчаков затрагивал «самые серьезные предметы человеческого мышления», но «понимал их сердцем» — и вот причина, что чужим людям он порой мог казаться каким-то юродивым. Он любил искусство, музыку, писал стихи, из которых иные напечатаны, другие сохраняются в рукописи; вел дневник, к сожалению не сохранившийся, но послуживший автору ныне предлагаемых выдержек, напечатанных в «Москвитянине» за 1850 год и вызвавших сочувственный отзыв и обширные извлечения в «Современнике» (т. XX, отд. VI, 82) и сожаление проф. Зеленецкого, что драгоценные выдержки не продолжаются («Москвитянин», 1859 г., кн. 9, с. 2).

Кроме того он написал оборонительную статью о Пушкине в «Моск. Ведом.» за 1858 г. (№ 19, 1 февр.), перепечатываемую нами, против клеветы К. И. Прункула и давал не мало сведений П. И. Бартеневу для его работы о Пушкине на юге России. В его воспоминаниях затронуто много лиц, живо передано настроение эпохи с ее отвагой и удалью, особенно в лице мало известного Ф. Ф. Орлова, прототипа в Пушкинском Пеламе, и передан любопытный эпизод в жизни Пушкина по отношению к Идалии Григ. Полетике.

Есть у Горчакова и несколько отдельных заметок о Пушкине, напр., как он бросал с лодки в воду золотые и любовался их падением на прозрачное дно, издеваясь тем над мелочной скупостью отца. Таковы рассказы из кишиневской жизни, не вошедшие в воспоминания, напр., что Пушкин у М. Ф. Орлова держался непринужденно, валялся на диванах; о каррикатурах, им рисованных; о крепостном слуге его Никите, подтверждавшем, что скованные разбойники действительно переплыли реку в Екатеринославе; о суеверном хранении им нескольких золотых денег, которых не хотел разменивать; о многих и частых беседах его с И. П. Липранди и пользовании его библиотекой; о землетрясении в Кишиневе; о поединке Пушкина с Зубовым; о присутствии его на празднике открытия манежа М. Ф. Орловым 1 января 1822 г.; об оживлении его на святочных балах 1822—23 г. и вкладе его на подписной бал; о пощечине, данной Бальшу и пр. (Р. Арх.. 1866, с. 1095, 1103, 1161—63, 1165, 1167—69, 1179, 1211; 1899, 11, 340; 1900, 1403).

Пушкин познакомился и сблизился с Горчаковым в Кишиневе, где прожил почти 3 года с 20 сент. 1820 г. по 2 июля 1823 г. Это годы перелома жизни поэта. В. П. Горчакову, братьям Полторацким и В. Т. Кеку посвящено Пушкиным, вслед за проводами, превосходное стихотворение «Друзьям»: «Вчера был

день разлуки шумной...» где под буквами «Г-ву» следует разуметь В. П. Горчакова; но в литературном отношении он Аристархом быть не мог и Пушкин только однажды поделился в письме к нему мнением по поводу «Кавказского Пленника», приложив к письму стихи из посвящения (Н. Н. Раевскому), не попавшие в печать. (Анненк., Мат. 97). Близость их была не литературная. В Кишиневе они видались почти ежедневно, что свидетельствует И. П. Липранди, называющий В. П. Горчакова и Н. С. Алексеева «неразлучными» и «интимными» Пушкина. Серьезный и скромный Горчаков особенно интересен как человек, в котором кипевший задором молодой Пушкин нашел иные, родственные струны. Горчаков бесспорно один из тех, которые спасли Пушкина от многого. Кроме того, в Н. С. Алексееве и в В. П. Горчакове Пушкин нашел старую Москву, столь близкую ему по ранним годам детства. Рассказ Горчакова после военной командировки в Скуляны дал некоторые черты для повести Пушкина «Кирджали». Важно для биографии Пушкина, что Горчаков в первые месяцы 1821 года заметил в нем перемену, когда опыт жизни смирял его порывы, что вполне сходится со словами послания Чаадаеву того года: «для сердца новую вкушаю тишину», в тот самый год, когда Пушкин начал писать воспоминания. Важно и свидетельство Горчакова о не раз слышанном нежелании Пушкина, чтобы «рукописная поэма» его, т. е. Гавриилиада, была когда-либо напечатана. В 1822 году в Кишиневе Пушкин делает признание: «Блажен. ...кому судьба друзей послала...» и ясно, что Горчаков один из них. По свидетельству Липранди, Пушкин чувствовал себя лучше и был духом веселее в Кишиневе, нежели в Одессе. Вельтман описал себя и Горчакова в своей повести «Два Майора», где вывел «пестрый дом Варфоломея», местного туза, носившегося в то время с мыслью выдать дочь свою Пульхерьицу за В. П. Горчакова. В январе 1823 г. Горчакову посвящено стихотворение Пушкина «Зима мне рыхлою стеною...» по поводу бала у Варфоломея и возможно, что Горчаков подразумевается в стихотворении Пушкина «Дева», обращенном к Пульх. Ев. Варфоломей в лице «неосторожного друга» в те дни, когда он являлся соперником Пушкина. Есть и еще связи. В том же Кишиневе Горчаков одно время приютил у себя известного повара Тардифа, воспетого Пушкиным, сказавшим, что «Тардиф достоин дружбы и похвал ханжи, поэта, балагура»; при чем под ханжей не подразумевается ли Горчаков, под поэтом сам Пушкин, под балагуром А. Ф. Вельтман?

В одном из писем к жене 1836 г. Пушкин говорит: «Ко мне входят два Буффона. Один майор-мистик, другой пьяница-поэт». И здесь едва ли не те же два закадычных друга, Горчаков и Вельтман, которые зовут его обедать (переп. III, 313). Необходимо остановиться на словах П. И. Бартенева с характеристикой Пушкина на юге России, явно навеянных В. П. Горчаковым, или б. м. даже прямо взятых из письма его к Бартеневу. «Уже в то время,—говорится в них,—в Пушкине заметно обозначилось противоречие между его вседневной жизнью и художественным суждением. Уже тогда в нем было два Пушкина, один—человек, другой—поэт. Он был неизмеримо выше и несравненно лучше того, чем даже выражал себя в своих произведениях... Его задушевные беседы стоили многих его печатных сочинений и нельзя было не полюбить его, покороче узнавши. Но, по замечательному и в психологическом смысле чрезвычайно важному побуждению, которое для поверхностных наблюдателей могло казаться простым капризом, Пушкин как будто вовсе не заботился о том, чтобы устранить названное противоречие; напротив, он прикидывался буяном, развратником, каким то яростным вольнодумцем» (Р. Арх. 1866, с. 1169—1170). Это слог не П. И. Бартенева, но совершенно горчаковский стиль, тем более, что по словам Бартенева отзыв о «задушевных беседах» идет от «близких друзей его». Более спокойное настроение Пушкина видно и из того, что в мае 1823 г. начат «Евгений Онегин». Пушкин и позднее дружил с Горчаковым и в 1831 году, будучи в Москве, в письме к жене включил его в круг своих близких: «Видел я Вяземских, Мещерских, Дмитриева, Тургенева, Чаадаева, Горчакова, Д. Давыдова,

Все тебе кланяются». В другой раз: «Обнимаю Горчакова». В 1833 г. Пушкину сообщает Нащокин: «У Горчакова мать умерла». (Переп. III, I).

Горчаковы русский дворянский род. В 1544 году воеводой в Казани был Калинник Владимир. Горчаков. В приказе тайных дел сидел дьяк Алексей Горчаков. Один Горчаков известен в истории Пугачева, будучи послан Екатериной к главнокомандующему кн. М. Н. Волконскому «во облегчение». Отец нашего Горчакова, Петр Иванович Горчаков командовал батальоном Семеновского полка, где служил и брат его Владимир Иванович Горчаков, близкий к Аракчееву. Сослуживец их, известный кн. Ив. Мих. Долгоруков, в своем «Капище» и в «Записках» упоминает обоих братьев. Отца автора предлагаемых воспоминаний он называет «мякенькой человек», а о дяде отзывается, как о человеке крайне жестоком, давшем «тысячу лозонов» пьяному писарю.

Дата рождения Вл. П. Горчакова точно неизвестна. Из его некролога 1867 г. (Моск. Вед. 1867, № 42) видно, что он умер 67 лет, следовательно он родился в 1800 году. В 1819 г. 10 марта он окончил знаменитую Муравьевскую школу колонновожатых (ген. штаб), выйдя в числе 22 чел. прапорщиком по квартирмейстерской части, и был назначен в Тульчин и затем в Кишенев в ноябре 1820 г. для производства с'емок, под руководством полковника Корниловича, и занимал должность дивизионного квартирмейстера в штабе М. Ф. Орлова.

Умный Липранди среди кишиневской молодежи отличил его. В военной службе В. П. Горчаков прослужил всего 5 лет и, выйдя в отставку в 1824 г., поселился в Москве. Буря 14 декабря его не коснулась. Полковник Н. Комаров в своих показаниях говорит, что ранее «не воздержанныи на язык» Горчаков «стал осторожнее». Сам. В. П. признается, что был спасен «от многого». От 1828 г. сохранилось несколько неизданных писем его к А. Ф. Вельтману, помеченные Троицей на Вытроске, должно быть Покровского у., Владимирской губ., где записаны Горчаковы. Письма эти касаются труда Вельтмана о Бессарабии и поэмы его «Беглец».

В 1831 г. А. Я. Булгаков говорит о нем: «малый весьма умныи и прекраснейших правил. Он везде рыскает и знает, что делается в низших классах и на улицах», это в связи с приездом Николая I в Москву во время холеры. Одно время он же акционер «Пароходного Общества». В том же году В. П. Горчаков поместил в благотворительном литературном альманахе «Сиротка», изданном Ю. Н. Бартеневым, стихотворение «Не в словеси, а в силе», а гр. Растопчина посвятила ему свое стихотворение «Зачем», ибо оно с инициалами «В. П. Г ву». В следующем 1832 г. она написала другое стихотворение под заглавием «Еще вопрос» также В. П Г., в котором ясно нарисован портрет Горчакова и видны его угрюмость, безнадежная влюбленность в сиротство. В 1850 г. Горчаков имел отношение к журналу «Москвитянин» в редакторство Вельтмана.

В 1852 году он издал рассказ под названием «Изба».

В. П Горчаков умер в Москве, после непродолжительной болезни, 18 февраля 1867 года. На похороны собралось много народа и по словам некролога «много искренних слез было пролито над его прахом». Из некролога же узнаем, что он на квартире своей обучал грамоте бедных мальчиков и что «нередко можно было встретить в глухих переулках Москвы человека в старенькой шинели, раздающего милостыню больным и калекам».

С. М. Сухотин занес в свои записки несколько сочувственных строк, посвященных его памяти, из которых помещаем выдержку: «Кончина его была светла и чиста, как вся жизнь его, посвященная добру и правде... Душа его была открыта для всего прекрасного, она сочувствовала как великому подвигу и доброму делу, так и всему изящному в искусстве. Лести в нем совсем не было, всякая подлость, низость, шарлатанство и даже мелкое обыденное светское подличанье возмущали его».—Мой отец, С. Д. Шереметев, в особой книжке о Горчакове, пишет: «В числе многих лиц, которых я встречал в Москве у бабушки моей Ек. Вас. Шереметевой, на Воздвиженке, особенно памятен мне Вл. П. Горчаков... Я застал его

уже весьма пожилым человеком. Небольшого роста, с седыми, вечно всклокоченными волосами, с густыми черными бровями, из-под которых бойко глядели его добрые, выразительные глаза, в сюртуке довольно поношенном, вижу его, как теперь, на обычном своем месте в малиновой круглой гостиной Воздвиженского дома... Рассказывал он очень хорошо и мог быть очень занимательным, особенно когда вспоминал прошедшее и свои отношения с Пушкиным. Любил он поспорить и выражался метко». Связь с домом Шереметевых шла от А. В. Шереметева (женатого на Н. Тютчевой), товарища Горчакова по школе колонновожатых. Отсюда и связи с домом Тютчевых и раннее знакомство с Ф. И. Тютчевым, поражавшим его в 1821 году, при чем некоторые стихотворения поэта сохранялись в рукописи у Горчакова.

А. Ф. Кони в 1920 году, в ответ на вопрос о Горчакове, писал мне: «Вельтман по моей матери приходился мне двоюродный дядя и я, будучи студентом, часто бывал у него»... У него и жены его, р. Сабанеевой, «собирались Погодин, Даль, ген. Колюбакин, сенат. фон-дер Ховен, декабрист Завалишин и Горчаков. Живо помню его выразительное лицо... Елена Ивановна Вельтман особенно внимательно относилась к Горчакову и не раз говорила, что он умеет благотворить так, что «правая рука не ведает, что делает левая»... О заметках Горчакова ничего не знаю».

Существуют два портрета В П. Горчакова, один акварельный работы Тихобразова, другой фотографический в старости.

В 1917 году у букиниста Николаева на Никольской мне попалась брошюрка с письмами Пушкина брату Льву 1858 г., напечатанными с подлинников С. А. Соболевским. На обложке надпись: «Влад. Петр. Горчакову Соболевский». Отсюда следует, что после Горчакова могли остаться библиотека и бумаги, попавшие на рынок.

Настоящий очерк только вкратце передает содержание нашей работы о Горчакове, об'ем которой превышает рамки данного издания.

П. С. Шереметев.

Москвитянин, 1850 г, № 2, январь, кн. 2, стр. 146—182; № 3, февраль, кн I, стр. 233—264; № 7, апрель, кн. 1. стр. 169—198. Последняя часть извлечений из дневника носит название: „Выдержки из дневных моих воспоминаний о А С. Пушкине и его других современниках.“

Перелистывая дневник мой, я нахожу его слишком скучным; но несмотря на это, поделюсь всем, чем могу, передам все, как сумею.

В 1820 году, назначенный состоять при 16-й пехотной дивизии, в начале ноября [1] я приехал в Кишинев, где была дивизионная квартира. При самом в'езде в областной город, жид-фактор, величая меня то благородием, то сиятельством, предложил мне свои услуги.

На первый вопрос мой, где остановиться, фактор заговорил о каком-то Иване Николаеве [2], начал восхвалять какую-то Беллу [38], толкуя при этом моему суруджи*,— сколько я мог понять из его молдаво-польско-жидовского языка,—о Старом базаре, о соборе и лавках, но никак не о Белле.

Слова фактора до того были перепутаны и быстры, что я едва мог следить за его речью и полишинельными движениями, столь обычными жидкам вообще и факторам в особенности.

Суруджи, лениво слушал его рассказы и с неподражаемым спокойствием, свойственным только молдавану, повторял свое штиу,** избегая однако придаточного фрате,*** не желая, как видно, брататься с евреем. Но

* Суруджи,—ямщик, погонщик, извозчик.

** Штиу—знаю, понимаю.

*** Фрате—брат.

фактор, несмотря на утвердительное штиу, не поверил толковитости моего суруджи, и, крикнув повелительно гайда, гайда *, побежал сам указывать нам дорогу. Все эти указания совершал фактор то шляпою, то палкой, то забегая вперед, то возвращаясь снова к каруце ** Словом, фактор бесновался, нисколько не заботясь о своих растоптанных пантофелях, которые, едва держась на ногах, немилосердно шлепали по грязным улицам Кишиневского предместья.

Проехав таким образом с версту, мы повернули налево мимо собора, и вскоре очутились на Старом базаре, или точнее, на образцовом для меня рынке, какого мне еще не случалось видеть.

Вся небольшая площадка самого базара и прилегающие к ней улицы были загромождены небольшими, полутемными лавками и пестреющею толпою разноплеменного народа. Тут были: молдаване и греки, итальянцы и немцы, болгары и армяне, турки и жиды, малороссияне и русские крестьяне-переселенцы, сохранившие исключительно во всей свежести свой наряд и приемы.

Вся эта разноплеменная толпа, с своим неумолкаемым гулом, нисколько не поражала моего суруджи; с тем же спокойствием он бичевал своих кляч, прикрикивал гай, гай ***, и по знаку фактора, как бы нехотя, остановился у какого-то бревенчатого дома, построенного не в виде молдавской касы *, но на полурусский лад, в шесть небольших окон, разделяемых входною дверью на две половины. Этот дом составлял восхваляемую гостиницу Беллы. Фактор ринулся в дверь и исчез; суруджи насупился и не слезал с дышловой лошади **.

* Гайда—пошел, ступай.

** Каруца—повозка, заменяющая нашу телегу, но устройством похожая на бричку без верха.

*** Гай, гай—ну-ну, эй вы.

В ожидании фактора, я невольно обратил внимание на противолежащее от гостиницы каменное здание в два этажа, которое средь низеньких лавок казалось необыкновенно огромным. Странность устройства этого здания еще более поразила меня, когда я заметил, что весь нижнии этаж составлял только одну комнату, освещаемую с главного фаса не окнами, но пологими пятью арками, разделенными тоненькими колоннами; внутреннее же освещение ограничивалось одним просветом лестницы, ведущей во второй этаж. Это освещение в два противоположные света придавало какой-то исключительный колорит как самой комнате, так и живописным группам в углублении. Группы эти составляли: арнауты, караимы и турки в их роскошном наряде и вооружении. Одни из них восседали на широких диванах, пили кофе, перебирали четки, курили; другие им прислуживали; все же вместе, при всей условной красоте очерков, как-то мало были оживлены мыслию; но дым трубок и наргелэ придавал этой живой картине особую жизнь и прелесть.

Приняв это здание за гостиницу в восточном вкусе, я располагал в ней остановиться, и с этою мыслию обра-

* Каса—дом, домик.

** При запряжке каруцы в четыре лошади, суруджи обыкновенно садится на одну из дышловых, а пара выносных идет на длинных постромках без особого погонщика.

тился к моему суруджи; но суруджи вместо удовлетворительного ответа сказал нушти, да и стал словно мертвый. Вскоре возвратившийся фактор об'яснил мне, что это кофейная, а не гостиница, и тут же скороговоркою просил меня войти в гостиницу Беллы. Вслед за ним появилась Белла; это была женщина средних лет, и по наряду скорее походила на нашу дворовую бабу, чем на еврейку: вместо богатой смушки, голова повязанная темным шелковым платком, немецкое платье и фартук составляли весь наряд ее; но зоркий взгляд, говор и приемы обличали в ней еврейское происхождение. Белла, едва я вошел в комнату, закидала меня рассказами и предложениями. По словам Беллы, все ее знали, все у нее останавливались, и никто с нею не торговался; все ей щедро платили, и ни с кого она не брала лишнего:—„по правде, говорила Белла, по правде, ваше сиятельство, вот спросите хоть Мошку, он цестный фактор, он знает".

Мошка лукаво улыбался и прибавлял: „А точно же, ваше сиятельство, точно, повторял он, Белла никого не обманывает". Но тот же Мошка, когда вышла Белла, говорил другое: он советовал мне потребовать лучше квартиры по отводу, чем оставаться у Беллы; „с ней дешево не разделаетесь, прибавил Мошка; да, ваше сиятельство, я не стану обманывать, я хороший человек, меня генералы знают и все господа знают; я и Давыда Григорьевича знаю [3], и генерала Пущина [4] знаю, и самого генерала Орлова [5] знаю". При этом фактор сообщил мне, что начальник дивизии в отсутствии, и что из офицеров дивизионного штаба никого нет в городе, кроме одного вагенмейстера Пафнутьева [6] и

генеральского ад'ютанта Друганова [7].—При свидании с Другановым, я действительно удостоверился, что генерал на границе для обозрения охранительной линии, расположенной по берегам Прута и Дуная.

Пользуясь отсутствием генерала и отыскивая себе пристанище взамен гостиницы Беллы, я успел познакомиться с Кишиневым.

Не стану подробно описывать разнообразие племен, составляющих жителей города; скажу только несколько слов о самом положении Кишинева. Город разделяется на две главные части, известные под именем Старого и Нового базара, или, что все равно, на Старый и Новый город. Старый город расположен на самом прибрежье речки Быка; по расположению и постройке более походит на малороссийское селение, нежели на город, несмотря на то, что в этой части находятся главные ряды, Верховное Правление и дом полномочного наместника, о котором я буду говорить впоследствии. Новый же город, занимая плоскую возвышенность, расположен правильно, выключая особой улицы, называемой Булгария, по имени своих поселенцев болгар, которые и в новом городе сохраняют свои сельские обычаи и все признаки патриархальной жизни.

Из числа замечательных зданий Нового города были в то время Митрополия и дома: вице-губернатора Крупянского [8] и члена Верховного Правления Варфоломея [9]. В доме Крупянского помещался сам хозяин, казенная палата и театр кочевых немецких актеров.

Услужливый фактор Мошка, принесший мне афишку на первое представление, в которой об'являлось, что будут

представлены никогда невиданные штуки, рассказывал, между прочим, о театральнои зале, как о чем-то волшебном. „Ай, ай, ай, какая та зала, ваше сиятельство,—говорил фактор —ну вот посмотрите, ваше благородие, прибавил он, ну, вот посмотрите“ —На этот раз фактор не обманул меня; в самом деле, когда я вошел в залу, то несмотря на то, что лож не было, а вся разноплеменная публика, при бедном освещении сальными свечами и плошками, помещалась в партере, восхваляемая зала казалась великолепной. Треть этой залы занимали оркестр и сцена; плафон темнел в каких-то кабалистических знаках; но на стенах я мог заметить расписные колонны, поддерживающие фриз, составленный из военных арматур русских. Это украшение на первую минуту показалось мне странным; но тут же я узнал, что в этой зале бессарабское дворянство угощало, в 1818 г., императора Александра, в первый раз посетившего Кишинев. Все эти подробности сообщил мне сидящий возле меня какой-то господин, доброй и обязательной наружности. По праву соседства, я как-то скоро с ним познакомился. Это был Н. С. Алексеев[10], недавний переселенец из Москвы, назначенный состоять при полномочном наместнике Бессарабии. Скромность приемов Николая Степановича и какая то исключительная вежливость, невольно к нему располагали. С полным доверием старого приятеля, я разговорился с ним и обо всем его расспрашивал. Алексеев охотно удовлетворял моему любопытству. В числе многих особенно обратил мое внимание вошедший молодой человек небольшого роста, но довольно плечистый и сильный, с быстрым и наблюдательным взором, необыкновенно живой в своих

приемах, часто смеющийся в избытке непринужденной веселости, и вдруг неожиданно переходящий к думе, возбуждающей участие. Очерки лица его были неправильны и некрасивы, но выражение думы до того было увлекательно, что невольно хотелось бы спросить: что с тобою? Какая грусть мрачит твою душу?—Одежду незнакомца составлял черный фрак, застегнутый на все пуговицы, и такого же цвета шаровары.

Кто бы это, подумал я, и тут же узнал от Алексеева, что это Пушкин, знаменитый уже певец Руслана и Людмилы.—После первого акта какой то драмы, весьма дурно игранной, Пушкин подошел к нам; в разговоре с Алексеевым, он доверчиво обращался ко мне, как бы желая познакомиться; но это сближение было прервано поднятием занавеса. Неловкие артисты сыграли второй акт еще хуже первого. Во втором антракте Пушкин снова подошел к нам. При вопросе Алексеева, как я нахожу игру актеров, я отвечал решительно, что тут разбирать нечего, что каждый играет дурно, а все вместе очень дурно. Это незначащее мое замечание почему-то обратило внимание Пушкина. Пушкин начал смеяться и повторял слова мои; вслед за этим, без дальних околичностей, мы как-то сблизились разговором, вспомнили наших петербургских артистов, вспомнили Семенову[11], Колосову[12]. Воспоминания Пушкина согреты были неподдельным чувством воспоминания первоначальных дней его петербургской жизни, и при этом снова яркую улыбку сменила грустная дума. В этом расположении Пушкин отошел от нас, и пробираясь между стульев, со всею ловкостью и изысканною вежливостью светского человека, ос-

тановился пред какой-то дамою; я невольно следил за ним, и не мог не заметить, что мрачность его исчезла, ее сменил звонкий смех, соединенный с непрерывною речью, оживляемой всею пышностью восторжений. Пушкин беспрерывно краснел и смеялся; прекрасные его зубы выказывались во всем блеске, улыбка не угасала. На другой день, после первого свидания в театре, мы встретились с Пушкиным у брата моего генерала, гвардии полковника Федора Федоровича Орлова[13], которого благосклонный прием и воинственная наружность совершенно меня очаровали. Я смотрел на Орлова, как на что-то сказочное; то он напоминал мне бояр времен Петра, то древних русских витязей; а его георгиевский крест, взятый с боя с потерею ноги по колено, невольно вселял уважение. Но притом, я не мог не заметить в Орлове странного сочетания умилительной скромности с самой разгульной удалью боевой его жизни. Тут же я познакомился с двумя Давыдовыми, родными братьями по матери нашего незабвенного подвижника XII года, Николая Николаевича Раевского[14]. Судя по наружным приемам, эти два брата Давыдовы ничего не имели между собою общего: Александр Львович[15] отличался изысканностью маркиза, Василий[16] щеголял каким-то особым приемом простолюдина; но каждый по своему обошелся со мною приветливо. Давыдовы, как и Орлов, ожидая возвращения Михаила Федоровича, жили в его доме, принимали гостей, хозяйничали, и на первый же день моего знакомства радушно пригласили меня обедать. Все они дружески обращались с Пушкиным; но выражение приязни Александра Львовича сбивалось на покровительство, что, как мне казалось, весьма не нравилось Пушкину.

В это утро много было говорено о так названной Пушкиным Молдавской песне: Черная шаль, на-днях им только написанной. Не зная самой песни, я не мог участвовать в разговоре; Пушкин это заметил, и по просьбе моей и Орлова обещал мне прочесть ее; но повторив в разрыв некоторые строфы, вдруг схватил рапиру и начал играть ею; припрыгивал, становился в позу, как бы вызывая противника. В эту минуту вошел Друганов. Пушкин, едва дав ему поздороваться с нами, стал предлагать ему биться, Друганов отказывался, Пушкин настоятельно требовал, и, как резвый ребенок, стал шутя затрогивать его рапирой. Друганов отвел рапиру рукою, Пушкин не унимался; Друганов начинал сердиться. Чтоб предупредить раздор новых моих знакомцев, я снова попросил Пушкина прочесть мне Молдавскую песню *. Пушкин охотно согласился, бросил рапиру и начал читать с большим одушевлением; каждая строфа занимала его, и, казалось, он вполне был доволен своим новорожденным творением. При этом, я не могу не вспомнить одно мое придирчивое замечание: как же, заметил я, вы говорите: в глазах потемнело, я весь изнемог, и потом: вхожу в отдаленный покой.

— Так что ж, — прервал Пушкин с быстротою молнии, вспыхнув сам, как зарница: — это не значит, что я ослеп.— Сознание мое, что это замечание придирчиво, что оно почти шутка, погасило мгновенный взрыв Пушкина, и мы пожали друг другу руки. При этом Пушкин, смеясь, начал мне

* При первом появлении Пушкин назвал это стихотворение Молдавской песнею. Начиналась она прямо рассказом: „Когда легковерен и молод я был“, и проч.

рассказывать, как один из кишиневских армян сердится на него за эту песню. — Да за что же? спросил я.—Он думает, отвечал Пушкин, прерывая смехом слова свои, что это я написал на его счет.—Странно, сказал я, и вместе с тем пожелал видеть этого армянина — соперника мнимого счастливца с мнимой гречанкой. И боже мой, кого ж я увидел, если-б вы знали! самого неуклюжего старичка, армянина, — впоследствии общего нашего знакомца, А. М. [17], которым я не могу не заняться. Про А. М. нельзя сказать, что он просто был глуп — нет, в нем даже была какого-то рода смышленность и острота; но о иных вещах его понятия совершенно были исключительны и противны здравому смыслу; а поэтому я напрасно ему доказывал всю нелепость негодования на Пушкина,

— Да, оно конечно, — говорил А. М., — оно конечно, все правда, понимаю; да зачем же Пушкину смеяться над армянами!

Каково покажется: Черная шаль, эта драматическая песня, выражение самой знойной страсти, есть насмешка над армянами! Но где тут насмешка и в чем, кто его знает! А между тем, тот же А. М. под влиянием своих подозрений, при толках о Пушкине, готов был ввернуть свое словцо, не совсем выгодное для Пушкина, и таким-то образом нередко Пушкин наживал врагов себе.

Утром 8-го ноября мне дали знать, что начальник дивизии возвратился в Кишинев. Я поспешил явиться к генералу [5]. Генерал благосклонно принял меня, наговорил много лестного, радушного, обнял, расцеловал меня, и в то же время, отведя в сторону, сделал легонькое замечание на счет

формы; но это замечание не оставило в генерале и слабого выражения негодования; он снова обратился ко мне с ласковым словом. Вошел Пушкин, генерал его обнял и начал декламировать: „Когда легковерен и молод я был“, и пр. Пушкин засмеялся и покраснел. — Как, вы уже знаете? — спросил он. — Как видишь, отвечал генерал. — То-есть, как слышишь, заметил Пушкин, смеясь. Генерал на это замечание улыбнулся приветливо.—Но шутки в сторону, продолжал он, а твоя баллада превосходна, в каждых двух стихах полнота неподражаемая,—заключил он, и при этих словах выражение лица М. Ф. приняло глубокомысленность знатока-мецената; но в то же время, взглянув быстро на нас обоих, — вы незнакомы? спросил он, и не ожидая ответа, произнес имена наши.—Мы уже знакомы,—сказали мы в один голос, и Пушкин подал мне руку.

В это утро, как в день имянин генерала, многие приезжали с поздравлением, радушный прием был для каждого, слова привета рассыпались щедро.

Между многими, я в особенности заметил одного посетителя в синей венгерке. Генерал обращался с ним с особенными знаками дружбы и уважения. Этот посетитель имел отличительную наружность: его открытое чело и резкие очерки придавали ему необыкновенную выразительность; а благородство и уверенность в приемах предупреждали в его пользу.

Генерал, заметив особенное мое внимание к незнакомцу, не замедлил ему представить меня, как нового сослуживца. В незнакомце я узнал кн. Александра Ипсиланти [18], уже принадлежащего истории.

В это время все семейство князя, кроме брата Димитрия [19], находилось в Кишиневе. Это семейство составляли: мать князя, вдова бывшего господаря [20], две сестры—одна фрейлина двора нашего [21], а другая [22] супруга Бессарабского губернатора Катакази [23]; два брата, из коих Николай [24], адъютант генерала Раевского, а другой Георгий [25], кавалергардский офицер,—оба были в отпуску в Кишиневе; Димитрий в это время был в Киеве при генерале Раевском.

Увеличенное избранным обществом, постоянное общество Кишинева в эти дни в особенности предавалось веселостям. Главными учредителями блестящих вечеров были: вице-губернатор Крупянский, женатый на Комнено, из потомства знаменитых Комнено; зять Ипсиланти—губернатор Катакази, сам Ипсиланти и член Верховного совета Варфоломей [163].

Семейству князя Ипсиланти везде оказывали особое уважение, как семейству господаря, уваженному нашим правительством. Встретив князя на одном из первых балов в генеральском мундире нашем, мне показалось странным, отчего в первое мое знакомство я его видел в венгерке; но мне объяснили, что к. Александр состоит по кавалерии не в должности, намерен оставить службу, и потому позволяет себе некоторые отступления; к тому же венгерка более приближается к родовому наряду греков, и тут же я узнал, что князь служил с честью в войсках наших и отличался замечательной храбростью. При этом рассказе Пушкин стоял рядом со мной; он с особым вниманием взглянул на Ипсиланти; Пушкин уважал отвагу и смелость, как выражение душевной силы.

Говоря о балах Кишинева, я должен сказать, что Пушкин охотно принимал приглашения на все праздники и вечера, и все его звали. На этих балах он участвовал в неразлучных с ними занятиях—любил карты и танцы.

Игру Пушкин любил, как удальство, заключая в ней что-то особенно привлекательное, и тем как бы оправдывая полноту свойства русского, для которого удальство вообще есть лучший элемент существования. Танцы любил, как общественный проводник сердечных восторжений. Да и верно, с каждого вечера Пушкин сбирал новые восторги и делался новым поклонником новых, хотя мнимых, богинь своего сердца.

Нередко мне случалось слышать: „Что за прелесть! жить без нее не могу!“, а на завтра подобную прелесть сменяли другие. Что делать—таков юноша, таков поэт: его душа по призванию ищет любви и, обманутая туманным призраком, стремится к новым впечатлениям, как путник к блудящим огням необозримой пустыни.

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет; в нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное.

В числе минутных очаровательниц Пушкина была г-жа Е. [26], которой миловидное личико по своей привлекательности сделалось известным от Бессарабии до Кавказа. К ней-то писал Пушкин, в одном из шутливых своих посланий, что:

Ни блеск ума, ни стройность платья,
Не могут вас обворожить;

Одни двоюродные братья
Узнали тайну вас пленить.
Лишили вы меня покоя,
Но вы не любите меня.
Одна моя надежда, Зоя·
Женюсь, и буду вам родня... и проч.

Муж этой Е. был человек довольно странный и до того заклятый нумизматик, что несравненно больше занимался старыми монетами, чем молоденькою женою, и наконец нумизматик до того надоел жене своей, что она смотрела на него, как на такую монету, которая и параде * не стоит. У себя дома он был для нее посторонним, а в обществе,—как охранная стража,—ее окружали родственники: то Алеко, то Тодораки [27], то Костаки **. Все эти господа считались ей двоюродными братьями; так тут поневоле скажешь: „Одни двоюродные братья узнали тайну вас пленить“.

Но все же у Е. искателей было много, и в числе их, особенно общий наш приятель А[лексее]в. Но этот поклонник довольствовался одним только созерцанием красоты, и вполне был счастлив повременным взглядом очей ее, или мимолетным приветом радушного слова.

В домашнем быту муж Е. постоянно раскладывал пасьянс и толковал о монетах; она делала что-нибудь, т.-е. шила, или вязала, а наш приятель, с своей чинною скромностью, усевшись в привычном уголку, занимался меледою[26].

* Параде—самая мелкая монета Молдавии.
** Алеко—Александр, Тодораки—Федор, Костаки—Константин.

Среди этого домашнего триумвирата нередко являлись Пушкин и я. Для нас, как для посторонних зрителей, подобное соединение составляло живую повесть или картину фламандской школы. Я в те дни, как мне кажется, еще и не имел понятия о волокитстве; а Е., при блеске красоты своей, положительно не имела понятия о блестящем уме Пушкина. Ограниченная, как многие, в развитии умственных сил, она видела в Пушкине ничего более, как стихотворца, и как знать, быть может, подобного молдавскому переводчику Федры *, или одному из многих, которые только что пишут стишки.

Под влиянием подобного разумения та же Е., как другие, однажды обратилась к Пушкину с просьбою.

— Ах, m-r Пушкин,—сказала она,—я хочу просить вас.

— Что прикажете?—отвечал Пушкин, с обычным ему вниманием.

— Напишите мне что-нибудь,—с улыбкой произнесла Е.

— Хорошо, хорошо, пожалуй, извольте,—отвечал Пушкин, смеясь.

Когда мы выходили от Е., то я спросил его:

— Что ж ты ей напишешь? Мадригал? да?

— Что придется, моя радость,—отвечал Пушкин.

Для тех, кто знал Пушкина, весьма понятно, что он не охотно соглашался на подобные просьбы. Он не любил вы-

* Г. С...ти, действительно, перевел Федру на молдавский язык; но сохраняя должное уважение к его личным достоинствам и образованию, нельзя было не согласиться, что выходили странные звуки; а между тем С...ти слыл стихотворцем Где-то он и что с ним?

езжать на мадригалах, как иные прочие. Уничтожив собственным гением обязанность заказных восхвалений, до кого бы они ни относились, он не мог, по природе своей, хвалить, когда не хвалится. Хотя он и написал послание хорошенькой Е., о котором я уже говорил, но и это послание, по некоторым выражениям чересчур сильной речи, не могло быть не только напечатанным, но даже отдано той, к которой писано, особенно, что относилось до Зои, родственницы ее [28].

Однако первые четыре стиха этого послания как-то дошли до Е.; за намек на двоюродных братцев она надула губки; а сами братцы, ужасаясь толков, что на них написаны стихи (как это многие почитают чем-то страшным), рассердились на Пушкина; но этот гнев выразился явным бессилием, так что ни один не решился объясниться с Пушкиным, а между тем втихомолку также могли вредить Пушкину, как и наш А. М.

При воспоминании о Е., я невольно вспомнил об отношениях Пушкина к иной женщине; но эта иная не совсем была то, что Е., ибо Аделаида Александровна * (так будем называть ее) принадлежала к числу светских затейниц, избалованных каждением многих.

По отношениям Пушкина к Аделаиде, она не имела никаких особых прав на его преданность; но также, как Е., обратилась к нему с просьбою, только с тою разницею, что просьба Аделаиды не была просто просьбою простодушного сердца, а чем-то в роде требования по праву.

* Заменяя NN, мы поставили Аделаида Александровна [29]; но разумеется, это имя вымышленное, хотя самый рассказ исторически верен.

Пушкин верно постигал тех, с кем имел столкновения, и потому в словах просьбы Аделаиды не пропустил ни одной полунотки; да и качества Аделаиды не ускользнули от его взора.

— Вот вам альбом мой,—сказала Аделаида, обратясь к Пушкину,—напишите-ка что-нибудь.

— Я не мастер писать в альбомы,—запинаясь, отвечал Пушкин.

— Э, полноте m-r Пушкин,—заметила баловень,—к чему это, что за умничанье, что вам стоит!

Пушкин вспыхнул, но согласился.

И действительно, ему ничего не стоило: на другой же день, утром, когда к светской красавице собрались ее поклонники, от Пушкина принесли альбом ее. Но в эти минуты Аделаида была занята своими проделками; она сердила какого-то барина, унижая его своими насмешками.

Барин защищался сколько мог, но бой казался не ровен.

Среди этой битвы салона, Аделаида не заметила, как ее лакей, принесший альбом, вышел; она даже забыла велеть поблагодарить Пушкина; но быстро вспомнив, обратилась к какому-то поклоннику,—в роде прислужника: Андрей Андреевич, мой милый,—сказала она,—велите благодарить Пушкина, да прикажите сказать, что я на-днях его ожидаю.

Вслед за Андреем Андреевичем, кинулись многие исполнять ее приказание, а остальные обратились к Аделаиде с расспросами: что за альбом, чей альбом, от Пушкина, не правда ли?

— Да, да, господа,—прервала Аделаида,—от Пушкина. Я вчера только просила его написать что-нибудь, и вчера он было поупрямился, да я на своем поставила.

Говоря все это, Аделаида искала в альбоме новый листок побед своих.

— Как поупрямился?—восклицали поклонники,—неужели, возможно ли? Да не только Пушкин, сам Парни, Мильвуа были бы у ног ваших.

— Полноте, полноте, господа, это так кажется, все это фальшивая репутация, наружность обманчива,—замечала Аделаида.

— Mais madame *, сказал кто-то.

— Mais oui, oui m-r ** прервала Аделаида, продолжая уже с нетерпением перебирать альбом свой.

Быть может, вы думаете, мои читатели, что Пушкин возвратил альбом, не написав ни слова, как бы желая тем выразить, что пред силою чародейки немеет слово, или, в пылу негодования за неуместный тон просьбы, он хотел дать почувствовать, что она не стоит речей его?—ошиблись: стихи были. И вот стихи уже отысканы. Аделаида пробегает их взорами, глаза Аделаиды вспыхнули самодовольствием, на щеках мелькает румянец волнения. Cha-armant! *** произносит она во всеуслышание; cha-armant! повторяет она в полголоса; а при этом, те из поклонников, которых Аделаида отличала в это утро особым вниманием, как будто выросли, сделались как-то важнее, да и есть от чего: разве не их героиня имеет поэта!

* Но, сударыня.
** Да, да, сударь.
*** Оча..ровательно.

— Очень, очень мило, признаюсь, я не ожидала,—проговорила Аделаида, окончив чтение, и с каким-то особым вниманием положила альбом свой на столик, возле козетки. Да, господа,—заметила чародейка,—вы там что ни говорите, а у Пушкина право есть талант.

— Да, конечно, вы правы,—произнес какой-то господин с оловянными глазами, имеющий сам притязание прослыть писателем,—совершенно правы: у Пушкина действительно есть способность, но ничего особенного.

— Я не понимаю ваших особенностей,—насмешливо заметила Аделаида,—но вот, что тут, так очень мило.—При этом Аделаида постучала пальчиком по альбому.

Все общество Аделаиды, кроме оловянных глаз, просило прочесть стихи. Один попросил позволения, желая, разумеется, угодить той, к кому они писаны; иные из любопытства, а большая часть повторяла ту же просьбу по привычке повторять то, что говорят другие.

— Да зачем вам, господа?—нараспев произнесла Аделаида,—право, мне совестно,—прибавила она. Но просьба усилилась—Аделаида согласилась.

Нашелся охотник декламировать; начал читать вслух с декламацией. Другие слушали, восхищались. Но что он читал, я передать не в состоянии, и к тому же это тайна альбома Аделаиды; а знаю только то, что в этом послании каждый стих Пушкина до того был лучезарен, что, казалось, брильянты сыпались по золоту, и каждый привет так ярок и ценен, как дивное ожерелье, нанизанное самою Харитою в угоду красавицы; описание же красоты Аделаиды до того было пленительно, что все красавицы Бай-

рона не годились ей и в горничные: словом, трудно было произвесть что нибудь блистательнее.

Господин с оловянными глазами прослушал послание со вниманием, задумался, нахмурил брови, оттянул губу и милостиво заметил, что Пушкин от роду ничего не писал лучше этого, да вряд ли и напишет, прибавил авторитет; а притом, продолжал он, мне приятно заверить вас, что вы отлично читаете, в вас что-то есть Катенинское [30]*: я это дело, могу сказать, понимаю: именно отлично прочли, а это много значит.

При слове много, сказанном с выдержкою и ударением, многие согласились с мнением авторитета; но Аделаида Александровна возразила:

— Я совершенно согласна,—сказала она,—что Иван Иванович читает отлично; но и самые стихи Пушкина, сколько я понимаю, превосходны.

— Я и не спорю,—заметил авторитет,—стихи весьма и весьма недурны; а главное, я вам скажу,—продолжал он,—что самое замечательное в этом гимне, так это то, что в нем все правда,—все, все, все, все, до последнего слова: c'est la plus pure verité, ce qu'on dit, **,—и при этом оловянные глаза авторитета умильно взглянули на Аделаиду, а все общество несвязным гулом поддержало его мнение.

Аделаида отвечала оловянным глазам только улыбкою; но этой улыбкою, как бы высказывалось: „к чему все эти фразы, и на что они мне“?

* В 20-х годах П. А. Катенин имел огромную известность в искусстве чтения; даже утверждали многие, что он сильно содействовал образованию Каратыгина.

** Это чистейшая правда, которую высказывают.

— Mais, mon dieu, madame, ce n'est pas pour vous dire un compliment *; но, что правда, то правда: это вот так вас и видишь,—произнес авторитет.

— Верю, верю,—бегло проговорила Аделаида.

А Андрей Андреевич, во все продолжение приветствия авторитета, забегал в глаза Аделаиде. Этот поклонник—прислужник все что-то хотел сказать ей, и уже не один раз шевелились уста, но не разрешались словом; однако наконец он решился, и почти сквозь слезы начал просить позволения списать стихи: сейчас, говорит, спишу, в одну минуту спишу-с, уверяю вас, au nom du ciel ** позвольте, Аделаида Александровна, ей-богу позвольте.

— Вздор, не стоите,—отвечала Аделаида.

И поплелся мой Андрей Андреевич от козетки, как индюшка облитая шаловливым ребенком.

Другие еще петушились и говорили свое. Они утверждали: чем все это списывать да переписывать, лучше всего сейчас же отправить к Гречу [31] и просить напечатать.

При этом заключении некоторые из утренних посетителей Аделаиды начали раз'езжаться. Одним Аделаида кричала в след: до свидания; другим: merci; а иных, как, по ее мнению, обязанных бывать у нее, пропускала без внимания; крепостные же двора ее медлили от'ездом, и между последними какой-то господин в очках при слове: просить Греча, заметил Аделаиде: тут просить нечего, только позвольте, так вы обяжете Греча, он рад будет, я его знаю, он мой приятель.

* Да, бог мой, нет, сударыня, это не для того, чтобы сказать вам комплимент.

** Во имя неба.

— Да к чему же делать это известным?—лукаво заметила Аделаида.

— Как к чему?—возразил приятель Греча,—ваша известность придаст новую славу венцу поэта.

Это замечание как будто соблазнило Аделаиду:—Ну пожалуй,—произнесла она в рассеянии.

— Вот и прекрасно,—произнес господин в очках,—а между тем,—прибавил он,—позвольте-ка мне прежде пересмотреть их самому: мне кажется, что в этих стихах, в одном слове ударение не совсем верно; это бывает с Пушкиным.

— О, какой вы пюрист,—заметила Аделаида.

— Это необходимо,—сказал пюрист[32];—впрочем Греч все поправит: он не раз поправлял стихи Пушкина.

— Да, и очень,—заметил авторитет с важностью. При этом слове господин в очках взял альбом и начал перебирать его.

— Однако, вы не вздумайте увезти альбом сегодня: сегодня я не дам, а завтра пожалуй,—проговорила Аделаида.

— О нет,—отвечал пюрист,—я только хочу кой-что проверить.—Но между тем как он проверял стихи, какой-то господин, имеющий притязание на ловкость и успех в свете, над которым, как мы знаем, Аделаида негостеприимно трунила в это утро, заглянул в альбом ее, что-то там заметил, злобно улыбнулся, и исчез, не прощаясь. Аделаида не обратила на это внимание, продолжала любезничать, рассыпаясь в похвалах Пушкину. Авторитет и другие поклонники поддерживали ее мнение, уступая, разумеется, ей,

как царице салона, первенство разговора; как вдруг среди этой полутишины, раздался возглас приятеля Греча: боже, что это!

Этот возглас обратил общее внимание.—Что с вами? сказала Аделаида,—что вы там нашли такое?—повторила она с недоумением,—подайте альбом!

— Ничего-с, ничего-с, право ничего,—отвечал взволнованный пюрист, не трогаясь с места; но даже и очки не могли скрыть его волнения.

— Подайте, говорю вам!

— Да зачем же? ведь вы читали,—произнес, заикаясь, пюрист.

— Ах, какие вы несносные,—вскрикнула Аделаида, и вскочив с козетки, вырвала альбом.—Как мила! подумал Андрей Андреевич.—Что за огонь в этой женщине! подумал авторитет; но приятель Греча до того перемешался, что схватил огромную шляпу авторитета, а свою малютку оставил, и сам удрал потихоньку.

Аделаида, раскрыв альбом свой, медленно возвращалась к своему месту, быстро пробегая строки; вдруг вся вспыхнула, на лице выступили пятна, глаза сверкнули, и альбом полетел в другую комнату.

Андрей Андреевич кинулся было поднять альбом, но окрик Аделаиды: „прошу не хозяйничать!“ до того смутил прислужника, что он весь сжался в булавочную головку и юркнул в угол.

Все общество Аделаиды притихло; все как будто замерли; один маятник на часах погасшего камина продолжал свой тюк-тюк, как полевой кузнечик, который резче

слышится в удушливой тишине пред бурею. Но вот в глазах Аделаиды сверкнула молния, Аделаида заговорила.

— Хорош Пушкин,—сказала она,—хорош! Вот благодарность за мое покровительство! Merci г. рифмоплет, merci!

Господин с оловянными глазами, хранящий постоянную важность, при слове рифмоплет, засмеялся. Ah, comme vous êtes caustique *, заметил он Аделаиде. Но это замечание пропало, Аделаида не обратила внимания.

— M-e-r-c-i—повторила она шепотом, и губы ее дрожали; но это относилось к Пушкину.

Авторитет, желая рассеять непонятное волнение Аделаиды, пустился было разбирать слово рифмоплет, разбирать достоинства Пушкина как писателя, сравнивать его с другими, и тут же выражал свое участие к Аделаиде.

Аделаида взглянула на него с презрением:—Благодарю,—сказала она,—благодарю, но я не от всех же требую участия.

Глаза авторитета покрылись ржавчиной; авторитет задумался, но отвечал: mais, mon dieu, madame—сказал он,—все это я говорю только включительно, разбирая наших писателей.

— О, полноте пожалуйста с вашей полемикой, она мне и в журналах надоела,—быстро проговорила Аделаида, и снова пятна и снова гнев исказили лицо ее.

И как знать, чем бы еще разразилась новая буря; но вдруг неожиданно вошла старая графиня, тетка [33] героини нашей.

— Ах, тетушка!—произнесла Аделаида с улыбкой.

* Ай, как вы язвительны!

— Эта зачем притащилась?—подумала она.

— Я к тебе, милая,—начала графиня.

— Я это вижу-с, тетушка.

— Ну, да,—продолжала графиня с расстановкою,—была у Лизаветы Михайловны [34], да думаю, дай заеду к племяннице; да вот, как видишь, и заехала, вошла и не велела о себе докладывать. Bonjour mm-rs—проговорила графиня, обращаясь к посетителям, и взглянув на племянницу, прибавила:

— Да что с тобою, милая, ты как будто не в духе? не вы ли, господа, ее прогневали?

Все молчали, не находя ответа.

— Да я ничего, тетушка, это вам так кажется,—отвечала Аделаида.

— Чего, матушка, кажется: я тебя знаю; ну, да ничего, пройдет; это что-нибудь н е р в н о е,—заключила графиня.

— Я совершенно разделяю ваше мнение,—произнес господин с оловянными глазами,—действительно, это что-нибудь нервическое.

— Что у вас все за нервы такие!—быстро прервала Аделаида,—и кто нынче страдает нервами!

— Но однако,—начал было авторитет, не привыкший к возражениям.

— Ну, что-с однако? ваше однако ничего не значит! резко заметила Аделаида.—Кончимте это,—заключила она.

— В самом деле кончимте,—сказала графиня:—при нервах самое вредное—это споры; начнем лучше о том, что для нее несравненно будет приятнее. У тебя, милая, я слышала, вчера был Пушкин—продолжала графиня.

— От кого вы все это знаете, тетушка?—произнесла Аделаида дрожащим голосом.

— Мне Лизавета Михайловна сказывала; знаю и то, что ты ему заказала стихи,—прибавила графиня с расстановкою.

— Этого только недоставало,—подумала Аделаида. —Стало быть вы все знаете,—сказала она вполголоса,—все, с чем вас и поздравляю!

Но графиня не обратила внимания на это замечание и продолжала свое.—Ну что-ж, и прекрасно,—сказала она:— это наш маленький Вольтер.

— Э, графиня, позвольте сказать,—возразил авторитет,—какой он Вольтер! это просто рифмоплет, как удачно заметила Аделаида Александровна: вот это так-так,—произнес авторитет с важностью, и до того был доволен своим заключением, что оловянные глаза его потеряли ржавчину.

— Да и я говорю: маленький Вольтер, маленький, понимаете.

— Да, вот только разве маленький, заметил авторитет.

— Ну, да конечно, продолжала графиня, я то совершенно с вами согласна, куда Пушкину до Вольтера! Вольтер esprit fort *, Вольтер философ, автор, поэт! Куда, например, я люблю его Генриаду и в особенности это начало— помните вы:

Je chante ce héros qui régna sur la France
Et par droit de conquête, et par droit de naissance.

— Mais c'est sublime **—прибавила графиня.

* Вольнодумец.

** Пою героя, царившего над Францией и по праву завоевания и по праву рождения.—Да это величественно!

— Конечно, конечно, произнес авторитет с важностью

— Да как же неправда,—продолжала графиня,—и написал ли у нас кто-нибудь и что-нибудь подобное! Кто нибудь, говорю я, не только Пушкин, который пишет какие то сказочки, да песенки.

При этом авторитет не столько из любви к родному, как из желания блеснуть сведениями, начал возражать графине:—Ну нет, графиня, нам нельзя жаловаться, сказал он, вот, например, Херасков: он нам дал поэму, да не одну, но конечно это уже прошлое; нынче никто ничего подобного написать не в состоянии; подобные гении родятся веками; а в заключение скажу вам, что по мне уже конечно тот не поэт, кто не сделал ни одной поэмы.... поэмы, что называется...

Что под этим разумел авторитет, понять, как кажется, трудно; но графиня поняла и согласилась: — Это правда, сказала она, совершенно с вами согласна, и при том смело можно сказать, что у нас нынче вообще ничего не перенимают хорошего: вот хоть бы и Пушкина взять... — При этом слове графиня обратилась к Аделаиде: — Извини, милая, — сказала она,—он твой приятель.—Хорош приятель, подумала Аделаида, но не отвечала ни слова. — Да-с, — продолжала графиня, — хоть бы и Пушкина взять, — мне говорили, что он совершенный атеист*; да чего говорят, я и доказательства имею: ну, да представьте себе, что он родную мать свою

* Не из подобных ли росказней сделал свое заключение Г. Паель (Payelle), который в статье, помещенной в Revue des deux mondes, 1837, говорит о Пушкине, что il fait tout haut profession d'athéisme **.

** Он открыто проповедует атеизм.

называет арапкою*, родного дядю прозвал Буяновым**; а уж по мне, кто не почитает родственников, тот и в бога не верует.

— Это на него похоже,—с злобою проговорила Аделаида.

— А, ну поздравляю — сказала графиня, обращаясь к Аделаиде, — поздравляю, — повторила она;—слава богу: наконец-то ты нас удостоила словом; стало быть тебе лучше, неправда-ли? ну, очень рада.

— Нет-с, тетушка, нисколько ни хуже, ни лучше; а если я молчала, так это оттого, что боялась помешать вам, и признаюсь, мне было даже страшно, мне казалось, что я в обществе профессоров.

— Э — э,—подумала графиня,—да как она раздражена еще! каково меня отделала, каково? это стоит Пушкина: в профессоры меня пожаловала, а я ее девчонкой знала! ... Нет, милая,—произнесла графиня, — я ни профессором, ни профессоршей не была, да надеюсь, и не буду; а вот на эту минуту и без профессорства вижу, что ты действительно нездорова.

— Да я не знаю, тетушка, от чего вам это кажется?

— Чего матушка кажется! таки просто нездорова. Право полечись, полечись, послушайся меня.

С этими словами графиня встала и начала собираться к от‘езду, Аделаида ее не удерживала.

Сборы графини обыкновенно были продолжительны, но тут как-то особенно, под влиянием неприятных впечатлений

* Весьма понятно, что тут идет дело о Ганнибале.

** Буянов, в сочинении Вас. Львов. Пушкина, известном под именем: Опасный сосед.

она спешила забрать все свои утвари, и рабочий мешок, и муфту, и табакерку, и разные мелочи, которые обыкновенно возила с собою.

Андрей Андреевич, по привычке, схватил в это время какой-то пузырек и держал наготове.

Графиня как ни спешила, но продолжала искать чего-то: муфта здесь, говорила она вполголоса, бинокль здесь, лорнет также.

— Да чего вы ищете, тетушка?—с нетерпением спросила Аделаида, желая поскорее спровадить графиню: Аделаиде было не до тетушки.

— Ничего, милая, не беспокойся, авось найду.—И графиня, продолжая свои поиски, повторяла шепотом: —неужели я выронила как выходила? да нет, мне кажется, я сейчас его видела. Косыночка здесь, английский пластырь здесь, готовальня здесь.....—И при этом графиня взглянула в сторону и свой пузырек увидела в руках у Андрея Андреевича.—Ах! он у вас, проговорила графиня, кашляя, а я ищу! Вот какие бывают странности!—прибавила она.

Прислужник почтительно подал. Графиня благодарила. Андрей Андреевич извинялся, что не догадался подать ей прежде. — Ничего, ничего, говорила графиня, кашляя и смеясь,—ничего, очень вам благодарна, хорошо, что увидела.

— Вечно вы там, где вас не спрашивают, — мимоходом заметила Аделаида прислужнику; а прислужник скрылся, как испуганный заяц, сбежал с лестницы и, увидев возок графини, остановился, чтоб посадить графиню и извиниться снова.

Графиня, как ни спешила уехать, но с обычными остановками прощалась с племянницей. Аделаида ее провожала.

— Воротись, милая, воротись, — говорила графиня, — ты ведь в самом деле нездорова; право, полечись, послушайся меня.

— Я последую вашему совету, тетушка, и с сегоднешнего же дня засяду дома и не велю никого принимать к себе.

— Это опять лишнее,—произнесла графиня, возвысив голос.

— Уж это позвольте мне знать, тетушка, — заметила Аделаида.

— Конечно, конечно, ты не маленькая: это совершенно в твоей...—при этом графиня закашлялась, и слово: воле раздалось у под'езда.

Вслед за графиней все посетители исчезли.

Господин с оловянными глазами, приехавший к Аделаиде с утренним визитом в санях, на лихом рысаке, не знал, как укрыть свою голову; оставалось одно: из воротника шубы сделать себе род капора. Будь это все в другое время, он, под предлогом размена шляп, остался бы у Аделаиды на все утро; да и как знать, быть может, просидел бы до вечера, а теперь скачи, да еще быть может схватишь ревматизм или горячку: а кто виноват? — приятель Греча?—совсем нет: виноват Пушкин, этот рифмоплет, в котором ничего нет особенного. Так по крайней мере думал авторитет, страдая от могучего ветра нашего севера; а между тем, несмотря на то, что

голова его прозябла до-нельзя, и широкая важность начинала сжиматься, сколько в этой голове роилось предположений: что могло рассердить Аделаиду? Кажется в стихах ничего нет двусмысленного, и стишки сами по себе преизрядные; не вздумал ли он вложить какую-нибудь записочку, да ни с того ни с сего, сделать вдруг декларацию, искать ее взаимности?....так! это понятно! напиши я, или мне подобный— другое дело.... а Пушкин.... Ну, конечно есть на что рассердиться; или, может быть, не было ли тут акростиха в роде об'яснения? а ведь от подобных господчиков все станется!... Но при этой мысли вдруг с перекрестка такой дунул ветер, что все предположения авторитета застыли, и он, крикнув: пошел! исчез в капишоне.

В комнате Аделаиды было тепло, но ее щеголеватые ручки застыли как льдины; напрасно она приказала развести камин, напрасно она расхаживала по комнате,—теплота отказалась ее лелеять, а Пушкин, которого она вздумала обидеть унизительным покровительством, так и веял на нее холодом.

— Что, как вздумает он напечатать! — подумала Аделаида, — да нет, это быть не может....—И бедная Аделаида на эту минуту и забыла, что сплетни такая типография в свете, которая все и о всех и без цензуры печатает, и от блестящей столицы до темного захолустья рассылает все как по телеграфу. И вот вечером того же дня, в лучшем обществе города, говорили о стихах Пушкина, написанных Аделаиде; все оценивали их по достоинству, хотя каждый по своему, но всего более занимало всех — это самая коротенькая строчка прозы; она-то и наделала столько

шуму, как самой героине нашей, так и в городе. Что ж бы это такое? да так, ничего, безделица: вместо должного числа, при похвальных стихах, было выставлено 1-е Апреля.

Само собой разумеется, что рассказ мой о Аделаиде Александровне есть отступление от хронологического порядка дневника моего. Все это было несколько лет позднее 20-го года, а именно в котором году, определить трудно: да и к чему это? довольно того, что этот рассказ, как мне кажется, достаточно выражает, какое имели превратное понятие о Пушкине.

Вот и в Кишиневе, в 20 году, я помню разговор мой с одним чиновником Областного Правления [35], с которым, вскоре по приезде моем в Бессарабию, я как-то случайно познакомился.

До сих пор не знаю почему, этот человек отличал меня своим вниманием. Общего между нами, кажется, ничего не было. я молодой военный офицер, он—пожилой канцелярский чиновник; я пылок и юн, он стар и хладнокровен: почему бы, кажется, сойтись нам, разве потому только, что крайности сходятся. Но как бы то ни было, а при каждом свидании, где бы мы ни встретились, чиновник всегда первый подходил ко мне, начинал разговор о погоде, о том, о сем, и кончал одним и тем же приветствием, что меня уважает душою. Спасибо ему, да что из этого?

Но вот, после двух-трех подобных встреч, чиновник подходит ко мне и начинает делать запросы:

— Давно я собирался спросить вас, — начал он, — да как-то все не удавалось.

— Что такое?

— Знакомы вы с бывшим нашим председателем уголовной палаты?

— С кем это?

— Да вот-с с Иваном Ферапонтовичем [36].

— Нет, незнаком; а что-с?

— Да так с, хороший человек, и семейство у него прекрасное, жена, доложу вам, отличная дама, а хозяйка такая, что другой в городе не отыщешь. Уж что ни подадут, так все отличное: варенье ли, соленье ли, наливочка ли— все, словом сказать, язык проглотишь. — При этих словах, лицо моего знакомца как-то прояснилось, уста смаковали.— Так-таки и незнакомы? — заключил чиновник.

— Нет, да и не буду,—отвечал я.

— От чего же, а я бы советовал.

— Да боюсь, язык проглотишь,—отвечал я, смеясь.

— Проказник вы эдакий,—заметил чиновник дружески;— а нуте-с,--продолжал он,—с нашим секретарем правления знакомы?

— Также нет.

— Странное дело,—заметил чиновник, нахмуря брови,— странное дело, повторил он; — а вот, я вам доложу, я так послужил на свой пай, и там и сям был, и по таможне, и по разным частям; ну, да уж нечего говорить, не в похвальбу сказать, даром надворным советником не сделают.

— Конечно,—заметил я.

— Да-с, не к тому, — прервал чиновник, — я ведь, изволите видеть, продолжал он, я, признаться сказать, много в свою жизнь видел разного быта: так вот-с, как

эдак где завернут военные, полк там, что ли, команда ли какая: ну, глядишь, со всеми и познакомился, тот зовет на фриштик, тот на обед, тот на ужин, везде винцо, закусочка; глядишь, и не видишь, как время уходит; занялся службою, а там глядишь, и пошли и поехали, то к тому, то к другому.

— Время на время не приходит,—заметил я.

— Кто говорит, — произнес чиновник, — действительно ваша правда; а однако все-таки бы можно; ну да там как угодно. А вот-с позвольте спросить, с Пушкиным, например, вы знакомы?

— Знаком и очень, — отвечал я.

При этом толстенький мой чиновник с красноватым носиком значительно нахмурил брови и произнес таинственно:—Напрасно-с, доложу вам.

— От чего же? — произнес я с удивлением.

— Да так, знаете. Конечно,—продолжал чиновник, — и наш Иван Никитич его покровительствует, ну да их дело другое: наместник*, ему никто не указ; а откровенно вам доложу, так-с между нами будь сказано, я, на месте Ивана Никитича, я бы эдакого Пушкина держал в ежовых рукавицах, в ежевых что называется.

Я улыбнулся, а он продолжал: — Ну да что там о наместнике: наместник как угодно, а вам все бы, казалось, подальше лучше,—прибавил он.

— Да отчего же вы так думаете? — прервал я.

* В наместнике Пушкин имел благодушного и внимательного начальника. Просвещенный ум и прекрасное сердце Ивана Никитича Инзова [37] не могли быть не отрадны в положении Пушкина.

— Да так-с, доложу вам: Пушкин сорви-голова, а что он значит, например: мальчишка, да и только; велика важность — стишки кропает, а туда же слова не даст выговорить; ну, а ему ли с нашим братом спорить: тут и поопытнее, да и не глупее его. Ну, да представьте себе, намедни-с как-то, столкнулся я с ним нечаянно; да я, признаться, и говорить-то бы с ним не стал, да так как-то пришлося; так что бы вы думали?

— Право не знаю,—сказал я.

— Не слыхали-с? просто доложу вам: я что-то рассказывал дельное, разумеется пустого говорить я не привык, да и не буду; а он, вдруг, как бы вы изволили думать, вдруг ни с того ни с сего, говорит: позвольте усомниться. При этом грешный человек, меня взорвало: что-ж, мол, это такое значит, стало, я вру, ну и посчитались немножко. Да это все не беда, а все бы я вам советовал: подальше лучше.

— Все это может быть,—заметил я,—что вы и посчитались; но я из этого еще ничего не вижу.

— Да как ничего?—продолжал мой знакомец,—ну-с, а о наряде что вы скажете?

— Какой наряд, чей наряд?

— Да Пушкина-с.

— Что ж такое?

— Как что? да то, что ни на что не похоже, что за белиберда такая: фрак на нем, как фрак, а на стриженой голове молдавская шапочка, да так и себе погуливает.

— Так что ж такое?

— Да то, что нехорошо. Послушали бы вы, что говорят люди опытные, как например: Аверий Макарович,

Иван Ферапонтович, да вот этот еще, как бишь его, он из немцев..... дай бог память, статский советник, еще у него жена красавица.

— Не Е. ли?—прервал я с нетерпением.

— Ну, да, точно, точно Е., умнейший человек, доложу вам, ученейший; а вот послушали бы, что они говорят, да и я тоже скажу; а впрочем как угодно,—заключил чиновник,— не наше дело.

Так мы расстались. Из всего разговора моего знакомца при этой встрече я не понял, как говорят у нас по татарски, ни бельмеса, но заметил, что при прощании чиновник не повторил обычного привета: „душевно вас уважаю“, и вообще расстался со мною холоднее обыкновенного; видно Пушкин насолил ему.

После этого разговора, при свидании с Пушкиным, я как-то забыл спросить его о чиновнике; но вскоре другие мне рассказали, как очевидцы, в чем заключался спор между моим знакомцем, душевно мне преданным, как он выражался, и Пушкиным.

Вот как это было: его пригласили на какой-то обед, где находился и Пушкин; за обедом чиновник заглушал своим говором всех, и все его слушали, хотя почти слушать было нечего, и наконец договорился до того, что начал доказывать необходимость употребления вина, как лучшего средства от многих болезней.

— Особенно от горячки,—заметил Пушкин.

— Да таки и от горячки,—возразил чиновник с важностью;—вот-с извольте-ка слушать: у меня был приятель, некто Иван Карпович, отличный, можно сказать, человек, лет десять секретарем служил; так вот, он-с просто нашим винцом от чумы себя вылечил: как хватил две осьмухи, так как рукой сняло.—При этом чиновник зорко взглянул на Пушкина, как бы спрашивая: ну, что вы на это скажете?

У Пушкина глаза сверкнули; удерживая смех и краснея, он отвечал:—Быть может, но только позвольте усомниться.

— Да чего тут позволить, —возразил грубо чиновник,— что я говорю, так—так; а вот вам, почтеннейший, не след бы спорить со мною, оно как-то не приходится.

— Да почему же?—спросил Пушкин с достоинством.

— Да потому же, что между нами есть разница.

— Что ж это доказывает?

— Да то, сударь, что вы еще молокосос.

— А, понимаю,—смеясь, заметил Пушкин,—точно есть разница: я молокосос, как вы говорите, а вы виносос, как я говорю.—При этом все расхохотались, противник не обиделся, а ошалел. По воспитанию и понятиям он держался поговорки простолюдинов: брань на вороту не виснет; но Пушкин уронил его во мнении: с этой поры, пожалуй, не многие станут его слушать и заслушиваться, не возражая.—Да уж так бы и быть,—думал чиновник,—а то прошу покорно добро бы терпеть от человека, а то от мальчишки, который только что стишки кропает!

Впоследствии Пушкин сам подтвердил мне справедливость этих рассказов.

Мой знакомец был из числа тех бахарей, которые почему-то в своем кругу получают исключительное право

разговора, несмотря на то, что разговор их без всякой остроты и мысли, сам по себе ничего не значит, а состоит по большей части из пошлых анекдотов, сплетней и перестановок имен собственных.

Подобные говоруны подобны тем писателям, в сочинениях которых кроме болтовни ничего нет, а посмотришь—сочинение раскуплено, все прочли. Отчего бы это? Не оттого ли, что подобные произведения не трогают самолюбия читателя, каждый прочтет да и подумает, если не скажет, что „этот, дескать, г. NN. хотя и сочинитель, не умнее же меня, так, вздор какой-то пишет",—скажет, да и не ошибется; глядишь и другие говорят то же; а между тем читают да читают.

При подобных сочинениях ни ум не восстает с своим требованием, ни сердце не просит участия; брось книгу да и садись смело за карты, брось книгу да и спи покойно; а между тем знаешь, что тогда-то вместо обыкновенных каблуков носили красные, что не всегда ходили в пальто: вот тебе и историческое сведение.

Кстати о наряде. Мы знаем из приведенного рассказа, что Пушкин носил молдавскую шапочку, но не знаем причины, по которой он носил ее. Выдержав не одну горячку *, он принужден был не один раз брить голову; не желая носить парик (да к тому же в Кишиневе и сделать его было некому), он заменил парик феской и так являлся в коротком обществе. Кажется, очень просто; но люди, так называемые глубокомысленные, как мой знакомец и ему подобные, привыкнув о всех толковать по своему и всему давать свой толк, подозревали и в этом какой-то таинственный смысл, а какой—кто их знает.

* В издании стихотворений Пушкина 26 года помещено послание к NN, написанное в 19 году, где Пушкин говорит:

Я ускользнул от Эскулапа,
Худой, обритый, но живой,
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной, и проч.

Прежде моего знакомства с Пушкиным, в 20-м же году он посетил Кавказ и Крым, где и начаты им его поэмы: Кавказский пленник и Бахчисарайский фонтан.

Первым начатком последней поэмы была его песня: Фонтан Бахчисарайского дворца: „Фонтан любви, фонтан живой" и проч.

Прочитав мне это стихотворение, Пушкин заметил, что, несмотря на усилие некоторых заменить все иност-

В собрании сочинений Пушкина, изд. 41-го года Т. XI, стр 200 и 201, мы читаем: „Болезнь остановила на время образ жизни, избранный мною. Я занемог гнилою горячкою. Лейтон за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянии; но через шесть недель я выздоровел. Сия болезнь оставила во мне впечатление приятное. Друзья навещали меня довольно часто; их разговоры сокращали скучные вечера. Чувство выздоровления одно из самых сладостных.

„Помню нетерпение, с которым ожидал я весны—хоть это время года обыкновенно наводит тоску и даже вредит моему здоровью. Но душный воздух и закрытые окна так мне надоели во время болезни моей, что весна являлась моему воображению во всей поэтической своей прелести. Это было в феврале 1821-го года. Первые восемь томов Русской Истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их в своей постеле с жадностию и со вниманием".

Все то могло быть в 19-м или в феврале 20-го года, но никак не 21-го: с половины 20 го года Пушкин был в Полуденной России, а не в Петербурге; восемь томов Р. И. Карамзина вышли прежде 21-го года.

ранные слова русскими, он никак не хотел назвать фонтан водометом, как никогда не назовет бильярда—шарокатом.

Пушкин не прежде начала осени 20-го года основался на житье в Кишиневе, и первое помещение Пушкина в этом городе была небольшая горенка в гостинице русского переселенца—Ивана Николаева, этого пресловутого члена Кишиневской квартирной комиссии, о котором было мне заговорил фактор Мошка при в'езде моем в Кишинев. Разговорясь как-то о наших первых пристанищах, в свою очередь я рассказал Пушкину о гостинице Беллы, и при этом невольно вспомнил Могилевскую Беллу [38], и восторженными словами описал красоту ее и ту лунную ночь на Днестре, когда я впервые увидел воздушные виноградники, облегающие живописное прибрежье М. Атак, среди светлой ночи отделяющееся от позлащенных полей и серебристых волн. Эти лозы темнели как простые кустарники, но воображение, воспламенное присутствием красавицы, придавало и им особую прелесть.

Пушкин внимательно слушал мои восторженные рассказы, и тут же прочел мне свое стихотворение:

Виноград.

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

При этом я вспомнил античные формы рук Беллы, которой персты действительно были продолговаты и прозрачны. Это воспоминание я также сообщил Пушкину. Пушкин задумался, взглянул на меня, улыбнулся и как бы в раздумьи повторил последние два стиха: продолговатый и прозрачный, как персты девы молодой.

К произведениям 20-го года принадлежат стихотворения Пушкина: Дорида и Дориде, Погасло дневное светило, Дочери Карагеоргия, Редеет облаков летучая гряда, Подражание турецкой песне и Послание Ч[аадае]ву, писанное с морского берега Тавриды.

К чему холодные сомненья,
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды;
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.
. . . .
Ч[аадаев], помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленьи вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

Все это было читано и перечитано вместе с Пушкиным. Казалось, моя восторженность была по душе ему.

В конце декабря того же года, отправляясь на короткое время с Михаилом Федоровичем Орловым в Москву, я должен был расстаться с Пушкиным; но канун от'езда мы провели вместе у генерала. В этот вечер много было говорено о напечатанной уже поэме «Руслан и Людмила». Генерал сам прочел несколько строф, делал некоторые замечания и, обратясь к Пушкину, приветливо спросил его: не знает ли он автора этого колоссального произведения? Пушкин, вместо ответа, улыбнулся той выразительной улыбкой, которой он как-то умел с особою яркостью выражать свои ощущения. При этом разговоре почему-то припомнили Душеньку Богдановича [39]; некоторые начали сравнивать и, желая похвалить Пушкина, уверяли с полным самодовольствием в знании дела, что его поэма нисколько не хуже Душеньки.

— А ты как думаешь?—спросил меня Михаил Федорович. Я отвечал, что другого ничего не могу сказать, как повторить известный ответ о пушке и единороге...—То есть пушка сама по себе, а единорог сам по себе—прибавил, смеясь, генерал.—Да конечно,—произнес я с некоторым смущением. При этом Пушкин засмеялся и все захохотали. Я еще более смутился; но вскоре общее одобрение уверило меня, что ответ мой делен.

В поздний час вечера мы разошлись. На другой день я оставил Кишинев и уехал в Москву.

Тяп да ляп, и корабль! Легко сказать: оставил Кишинев и уехал в Москву; но прежде надо собраться. Итак, после всех толкований о делах давно минувших лет, преданьях старины глубокой, я кое-как должен был добраться до

своей квартиры, где неминуемо ожидали меня дорожные сборы взамен вдохновенных рассказов Пушкина, и где мечты воображения непременно уступят простым заботам действительности, а яркие образы Руслана, Ратмира и Людмилы сменятся вседневными лицами двух моих слуг, Ивана и Прокофья, да еще сварливою моею хозяйкою—Пилипонкою *.

Среди подобных ожиданий, наконец я достиг до темных сеней полутемного моего жилища. Мертвая тишина и мрак окружили меня, и мне пришлось, как пораженному Руслану, вопрошать этот немой мрак, где мои двери; но ответа не было. И вот мне слышится полувнятный гул чьих то речей; прислушиваюсь, и слышу переговоры людей моих; они говорят о хозяйке, которая, будто бы, грозится выкинуть, по от'езде моем, все мои остальные пожитки на улицу.

— Я ее выкину,—говорил Иван,—лишь бы только барин меня оставил; а если ты останешься, так не диво, что выкинет,—прибавил он, и кажется, смеясь.

— Боек ты больно,—отвечал смиренно Прокофий,—хозяйка не свой брат.

— Ну, ну, толкуй там,—укладывай знай!—заметил Иван, продолжая, по обыкновению, ворчать и делать замечания Прокофью. И снова все стихло.

Это затишье еще более затруднило меня, и я, при всей моей непривычке являться с криком, невольно крикнул

* Всех русских переселенцев в Бессарабии и вообще в Новороссийских краях называют пилипонами или кацапами

повелительно: гей!—На этот возглас мигом распахнулась дверь, и почти возле самого моего носа. Я так долго искал ее, как счастья, которого не редко мы ищем вдали, а оно под носом, ждет только, чтоб внимание разума осветило его.

— Что вы тут толковали о хозяйке?—было первым моим вопросом, когда я вошел в комнату.

— Так-с, ничего-с!—отвечали Иван и Прокофий в один голос.

— Как ничего? вы что-то говорили,—возразил я.

— Да, говорили,—начал Прокофий,—что хозяйка говорит, что как вы изволите уехать, так чтоб ей квартиру очистить, а не то, говорит, я все вещи повыкидаю, говорит.

— Это как же?—заметил я.

— Кто ее знает, раскольница-с, совсем неспособная-с; я вдова, говорит, сирота, говорит, у меня, говорит, трое детей мал-мала меньше, меньшему сынишке, говорит, всего еще шостнадцатый годок, говорит.

— То есть, она не говорит, а врет,—прервал я,—а ты перевираешь. Позови хозяйку ко мне.

При этом Иван улыбнулся: он был доволен моим замечанием Прокофью, который стоял молча и глядел на меня своими добрыми глазами, но не трогаясь с места.

— Что ж хозяйку-то?—спросил я.

— Да она-с спит-с,—смиренно отвечал Прокофий.

— Ну, спит, так до завтра; а завтра ты ей скажи, что, если она вздумает распоряжаться моими вещами, то ты будешь жаловаться Ивану Николаеву. Ивана Николаева ты знаешь?

— Как же-с,—отвечал Прокофий,—квартерного-то-с?

— Ну да, квартерного-то.

Каков же Иван Николаев, хозяин Пушкина? его и Прокофий знает; да один ли Прокофий? Начиная с последнего слуги в городе и восходя до самого областного предводителя Разнована [40], все знают Ивана Николаева. Есть же такие Иваны Николаевы на свете, которых все знают. А куда как многие добиваются подобной известности; только и желаний, чтобы их все знали, все бы о них говорили и как можно чаще повторяли имена их во вседневном разговоре общества. Этой известности они дают большую важность, а отчего, кто их знает?

Во все продолжение моих мечтаний и разговора с Прокофием, Иван деятельно хлопотал около чемоданчиков и чемоданов.

— Что ж, все ты уложил?—спросил я.

— Все, кажется,—ответил Иван, покряхтывая и давая тем чувствовать, что он много трудился. Иван, как и многие мнимые труженики, знал видно, что если сам не прокричишь о трудах своих да об устали, так пожалуй иной и не догадается да и не поверит, хоть будь действительным тружеником, а не только мнимым. Класс подобных тружеников-крикунов как-то заметно распространяется.

— Так все уложил?—повторил я.

— Самоварчик только остался,—отвечал Иван.

— Да зачем самоварчик?—заметил я,—и этого всего положить будет некуда.

— Нет-с, ничего, уложится, если в санях поехать изволите.

— Да как же в санях без снегу?

— Маленький порошит,—заметил Прокофий.

— Порошит, да мокрый,—возразил Иван.—Рождество, а слякоть такая, что у нас и постом редко бывает; прямая Молдавия, уж сказано.

Что под этим *уж сказано* разумел мой Иван, я не понял, да признаться, и не расспрашивал, предполагая, что это что-нибудь бранное, следуя убеждению, что Иван вообще строптив, груб, сварлив. И на эту минуту, не имея на кого сердиться, он сердился на местность, сам не подозревая этого и вечно находя себя правым; но будь и мороз, он все-таки нашел бы к чему-нибудь придраться, чтоб поворчать,—его еще с измаленька прозвали *гудком*, и очень верно: русский народ молодец на прозвища.

Прокофий, напротив, был тих, скромен, сознателен, но далеко не так смышлен, как Иван-ворчун.

— Как ты терпишь этого Ивана?—не раз говорили мне мои товарищи.

— Да что делать: всего не выберешь,—было обычным моим ответом. Но при подобных замечаниях насчет моего Ивана мне нередко приходили на мысль иные суждения и о иных людях, которые и по положению и по кругу действий были несравненно выше моего Ивана!

Но я, кажется, слишком занялся моим Иваном; пора спать, завтра придется вставать со светом: генерал располагал выехать ранее, чтоб избавиться от обычных поздравлений с праздником.

Но на чем-то мы поедем? Судя по вечеру, кажется нет пути ни на санях, ни на колесах. Но при этой мысли есть одно могучее утешение, это: *как-нибудь*; да еще

другое: молись богу, ложись спать, утро вечера мудренее. И вот среди заваленной разною поклажею комнатки, я лег на какие-то доски, исполняющие должность кровати, лег да и заснул тем беспечным сном юности, каким редко засыпают люди, озабоченные опытом, хотя бы и под шелковым пологом, на лебяжьем матрасе; лег да и проспал до рассвета.

Какой-то шорох разбудил меня,—гляжу, снова Иван ворочает чемоданы с места на место. Это была с его стороны также своего рода деятельность, означающая заботливость служащего человека.

— Что ты?—спросил я.

— Да так-с, пришел поглядеть, все ли в исправности.

— Спасибо; а что на дворе?

— Да ничего-с; снежку подпало немного.

— А мороз есть?

— Есть, так, небольшой-с.

Я вскочил на ноги, и сердце мое забилось, как бы при встрече с приятелем: Русь матушка, да и только! Такой снег выпал, что поезжай на санях, куда хочешь, и окна до половины блестят серебристыми цветами родины.

Одевшись наскоро и распорядясь к от‘езду, я пошел к генералу.

Когда я вошел к нему, он перечитывал почту, отдавая приказания. Старший его ад‘ютант В. Ф. Калакуцкий [41] принимал поручения. Арефий, лакей генерала, по обыкновению разносил чай, и на замечание М. Ф., что чай не довольно крепок, отвечал обычным ответом: точно так ваше превосходительство, зато сколько угодно.

Федор Федорович собрался также с нами в Москву, где располагал пробыть все время пребывания брата. Федор Федорович, считаясь в лейб-уланском полку, пользовался бессрочным отпуском и мог располагать своим временем по произволу.

Заметив мой приход, генерал приветливо обратился ко мне:

— А,—сказал он,—ты уж готов. Едем, едем; нам поскорее удрать необходимо, а то эти куконаши с своими поздравлениями нас задержат. Не хочешь ли чаю?

— Позвольте,—отвечал я.

— Сделай одолжение; только извини, если подадут не очень крепкий: мой Арефий никак не хочет подать крепкого чаю,—что с ним будешь делать?

Калакуцкий, Федор Федорович и я засмеялись.

— Вы смеетесь,—прибавил генерал,—а мне иногда просто досадно, да я как-то не умею сердиться.—И в самом деле, М. Ф., делая замечания, иногда возвышал голос до крика и как будто пылил, но никогда не сердился, как большая часть людей, одаренных необыкновенною силою.

Когда мне подали чай, генерал обратился ко мне, советуя запастись на дорогу чаем.—Мы, чтоб выиграть время, отправимся впроголодь, даже не позавтракаем,—говорил М. Ф.:—надеюсь, что на дороге Болховской [42] нас накормит.

Около девяти часов утра зашел Николай, камердинер генерала, и доложил, что все готово.

Но это готово относилось не к завтраку, а к готовым саням у под'езда. Мы вышли, и, увы! вместо удалых русских троек, наши сани были запряжены по-молдавски, в четыре лошади, гусем.

Я, по приглашению генерала, сел с ним, Федор Федорович с своим слугою, а в моих санях поместились наши люди. Несмотря на странную упряжь, и что тяжело было ехать по новому снегу, нас везли довольно скоро. Но неодолимая живость Федора Федоровича не довольствовалась этой скоростью; он беспрерывно погонял своего суруджи, обещая ему на ракиу; суруджи, соблазняемый обещанием, немилосердно погонял кляч, и таким образом Федор Федорович скакал во весь опор, то обгоняя нас, то равняясь с нами.

— Экой сумашедший!—говорил М. Ф.,—и куда он скачет? Шею сломишь!—кричал М. Ф. во всю силу своего голоса,—шею сломишь!—повторял он.

— Не беспокойтесь, ваше пр-во, отвечал звучным тенором Федор Федорович, и продолжал скакать; но наскакав на какую-то кочку, его сани на всем скаку опрокинулись. Все это совершилось впереди и в глазах наших, и так близко, что до нас долетали звуки: сараку ди мини*.—Ну, поворачивайся!—Аштапте, марьета **, аштапте, марог домитале ***.—И при этом Федор Федорович, его лакей и суруджи хлопотали около саней, спеша привесть все в исправность.

Приближаясь к опрокинутым саням, М. Ф. крикнул: пошел! И мы понеслись, а М. Ф., взглянув на брата, крик-

* Сараку—бедный, сараку ди мини—бедный я.

** Аштапте, марьета—подожди, ваше величие. Этот титул в простонародии употребляется с каждым начальником.

*** Марог домитале—прошу вашу милость.

нул ему: прощай Федор Федорович! но ответа не было: Федор Федорович занимался своими санями и перепутанною упряжью. Но едва мы успели от‘ехать две версты, как Федор Федорович очутился, как говорят, на плечах наших.

— Здравия желаю, ваше пр-во!—крикнул он брату.

— Ага, жив еще,—заметил М. Ф.

Проехав таким образом часов около трех, мы никого не встречали; но верстах в сорока от Кишинева, и не более как в версте от нас, мы завидели лихую тройку русской упряжи и широкие розвальни, покрытые богатым ковром, который ярко красовался при новом снеге... В розвальнях сидел кто-то военный, молодец собой.

— Кажется, это Болховской?—заметил Михайло Федорович.

И действительно, это был генерал Болховской. Под‘ехав к нашим саням, он пригласил генерала пересесть к нему. Приглашение принято, и мы все вместе ровною рысью отправились на квартиру к Дмитрию Николаевичу.

В скудной своей квартирке, за неимением лучшей, генерал Болховской угостил нас богатым обедом. Отобедав, напившись кофею, поблагодарив хозяина, мы отправились далее.

Проехав станцию верст двадцать, мы остановились для перемены. Начинало уже темнеть и поднималась небольшая мятель; нам русским это ни почем, не в диковинку, но мой Иван хоть и не немец, а что-то морщился.

— Что с тобою?

— Да ничего-с, в санях тормаз лопнул, не прикажете ли сварить?

— Когда тут сваривать,—отвечал я,—просто оторвать и бросить.

— Да это-с почти также долго будет: тормаз здоровый.

— Что за вздор, я сам останусь, и ты увидишь, как это скоро сделается.

Предупредив генерала, что я нагоню его в Балте, я остался. И действительно, не прошло и пятнадцати минут, как тормаз оторвали, лошадей запрягли, и мы уже мчались по широкому раздолью Новороссийской степи на лихой русской тройке. Эту станцию содержали наши кацапы, сохраняющие, как и везде, русскую удаль и заунывную песню. Этого ямщика не нужно было подгонять ни могучим п о ш е л! ни заманчивым обещанием на водку; а разве только пришлось бы иному замирающим голосом шептать: тише! Словом, мы так мчались, что едва ли мелькнул и час езды, как уже вдали среди тумана и снегового вихря замелькали огоньки Балты.

— Что это, Балта? — спросил я.

— Нешто, что не Балта, — отвечал ямщик скороговоркой, и крикнув: гей вы, голубчики, режут! — пустился как стрела из лука.

Но сделав коленцо, как выражаются вообще ямщики наши, мой ямщик вдруг осадил лошадей и поехал шагом.

— Маненько пройдти надоть, — сказал он.

— И хорошо сделаешь, — заметил я.

— Да как же, ваше благородие, это ведь животы наши.

Но при этом слове вся тройка от чего-то шарахнулась в сторону, и так сильно, что едва сани не повалились на бок.

— Это что такое? — спросил я.

— Да господь ведает, — отвечал ямщик, — кажись, человек який на дороге.

— Стой,—закричал я и, выпрыгнув из саней, в самом деле, увидел, что на дороге кто-то лежит. Иван нагнулся и начал будить его.

— Эй ты, говорил он, что тут разлегся?—Но лежащий, вместо ответа мычал что-то.—Видно пьяный какой-нибудь, заметил Иван.

— Ну там, пьяный ли, трезвый ли, а надо взять его. Извозчик, возьми-ка его, — прибавил я.

— Возмемьте, ваше бл-ие что ж, а не то пожалуй и замерзнет; знать охмелел, сердечный.

И с этим общими силами мы взвалили полусонного на сани и помчались в город. Дорогой вместе с Иваном мы его терли, да поталкивали, чтоб не дать заснуть ему. При в'езде в Балту мычание невольного спутника начало походить на слова, и когда под'ехали к станции, то он очнулся и проговорил: будьте здоровеньки, панство. Не хай вам бог вику прибавит, що вы мене не покинули.

Эта простая благодарность была сильнее многих красноречивых речей, которыми так обильна холодная благодарность рассудка. Когда я ввел спутника в станционную комнату, то он еще немного пошатывался и продолжал по своему з и н к о в а т ь.

Станционный смотритель, из поляков, зорко взглянул на моего спутника, который, несколько уже поотогревшись, забился в полутемный угол и стоял смирно.

— Откуда вы, пан порушник, достали такого лайдака?

Я в коротких словах рассказал все, как было.

— Ну уж то,—заметил смотритель,—добре же что так, а то бы не миновать якого-сь гвалту.

— Да, — отвечал я,—бояться волков, в лес не ходить, а человеку не умирать же на дороге.

— О, то свента правда, — заметил смотритель, — дай боже здравья пану капитану,—прибавил он, прописывая мою подорожную, в которой очень ясно было написано, что я ни поручик, ни капитан, а прапорщик; ну да уж такова натура ч и н ш е в о г о э д у к о в а н н о г о шляхтича: не может не польстить, — это сверх силы; и тот же смотритель, прописав подорожную, милостиво обратился к моему бедняге.

— А ты видкиль, хлопец? — сказал он.

— Да чи-же вы, панычу, меня не спознали? я Грицко.

— А, это ты лайдак?

— Да я же, я, пане, — смиренно отвечал бедняк. — Бачите ж, — продолжал он, — бигал господарских волив шукать, ну да измерз, да и забрел в шинок, да и выпив трошечки горилки, ну да и хай!

— О-то дурень! — произнес смотритель с важностью, — сгиб бы як пес, як бы не вельможный пан капитан....

— Эге! — пробормотал Грицко, вздохнув. Это простодушное э г е отозвалось чем-то сладостным в душе моей, как великая награда за ничтожный подвиг моего сострадания.

— Лошади готовы, — сказал Иван.

— А генерал давно проехал?—спросил я у смотрителя.

— Ни, ваше сиятельство, — отвечал смотритель, — они еще ту подле, в гаустерии на колянце.

Я поспешил к генералу.

Действительно, через три или четыре дома от станции, жид-промышленник содержал какую-то гостиницу.

Когда я вошел, генерал не замедлил обратиться ко мне.

— А, ты уж здесь, — сказал он, — и прекрасно: я заказал наскоро что-нибудь поужинать, жид обещал какую-то рыбу, гадость, должно быть, да делать нечего: до Тульчина негде будет остановиться.

— По крайней мере перцу жид не пожалеет, — заметил Федор Федорович, — это не трюфели.

В ожидании ужина, по страсти к рекогносцировкам, я отправился осматривать гостиницу; но вся эта гостиница, кроме спижарни (кухни) с приспешной, где помещался хозяин с семейством, заключалась в трех небольших комнатах, снабженных скудною мебелью, на которой почти ни присесть, ни прилечь было невозможно, а на окнах висели какие-то занавеси в роде тряпок, по стенам картины: Понятовский, Костюшко и история Шарлотты и Вертера.

Одну из этих комнат занимал генерал, средняя в полусвете сального огарка была пуста, а третью занимали какие-то приезжие, разговаривавшие между собою довольно громко то по-русски, то по-французски; ясно было слышно, что они часто упоминали имя Г[рафа] А[ракчеева] [43] и говорили о поселении. Этот разговор пробудил в моем воспоминании много рассказов, но разбирать справедливость этих рассказов было мне не под силу; довольно, что они поражали юное мое воображение, не охлажденное еще опытом, или, что все равно, не освещенное здравым смыслом. Не зная еще лжи, я всему верил на слово... Но о личном

моем немилостивом расположении после: камердинер генерала Николай приглашает ужинать.

В самом деле жид не пожалел перцу, однако, несмотря на перец и дурную приправу, мы таки плотно поужинали и помчались далее.

На другой день утром, часов в десять, мы приехали в Тульчин. Генерал с Федором Федоровичем остановился у начальника главного штаба [44], а я отправился к старому приятелю К... [45], которого радушие и гостеприимство встретили меня у порога; я говорю: к старому, потому что мы все называли его стариком, хотя ему не было еще и 30 лет, но сравнительно с нами он был старик, — знакомство же мое с ним едва ли восходило до одного года. В военной жизни все сближения совершаются быстро; кто раз с кем пообедал или позавтракал вместе, да ласково взглянул—тот и приятель, сейчас же французское вы к черту, а русское ты вступает в права свои, как заветный, лучший признак приязни.

— Ну, здорово! здорово! откуда, куда и как?

— В Москву, любезный.

— Экой счастливец! ну да тебе лафа, везет. Хочешь чаю, водки, завтракать?

— Спасибо, любезный, покуда некогда и ничего не хочу; пора одеваться и итти являться. Главная квартира не свой брат.

— И то дело; между тем, как вернешься, завтрак будет готов. Эй, Гаврило, Гаврило! — кричал мой приятель.

— Сейчас, сударь, что прикажете?

— Ну, живо! изволь приготовить свиных котлет с красной капустой, понимаешь? да еще чего-нибудь в роде зразы; да хорошенько, не так как третьего дня испакостил.

— Виноват-с, подгорели маленько.

— Ну то-то подгорели; да возьми у Розенблюма шампанского, понимаешь? Родера возьми! нет, постой, Жаксона, слышишь?

— Слушаю-с.

— Ну, ступай, это и к стороне.

— Да пошли Ивана! — кричал я вслед уходящему Гавриле.

— Оставь ты своего Ивана, он возится с чемоданами; разве людей мало. Эй, Жозеф, Жозеф!

— Monsieur! — возгласил Жозеф.

— Ну, скорей умываться Горчакову.

— Сейчас, — было ответом, и Жозеф, кавалер почетного легиона, солдат великой армии, бежал, переваливаясь куропаткой, с рукомойником, чтоб подать мне умыться.

Нарядясь поспешно в полную форму, я отправился являться к генерал-квартирмейстеру [46], дежурному генералу [47] и начальнику главного штаба. Всеми был принят милостиво, а начальник штаба в присутствии моего генерала и Федора Федоровича удостоил меня благосклонным приветом и таким, как мне казалось, искренним и радушным, что я вообразил себя переселенным в родную семью; но однако с подобными родственниками оставаться долго не следует, я откланялся, получив приглашение к обеду.

Возвратясь к К......ву, я встретил у него прежних моих тульчинских сослуживцев—товарищей; некоторые зашли случайно, а иные нарочно, чтоб меня видеть.

Подали завтрак, полилось шампанское, а за ним расспросы и говор и около могучей русской речи увивались, как любимцы-приемыши, то французские, то немецкие звуки, и по свойству многих приемышей, они отбивали лавочку у родного слова. Весьма замечательно, что из числа тогдашней тульчинской образованной молодежи, в которой недостатка не было, для французского и немецкого языков являлись заклятые пюристы, как мой приятель К.......в и другие. Но для русского чисторечия не нашлось ни единого; был правда один Б..... [48] да и того чуть-чуть не окрестили педантом. При этом невольно обратишься к Пушкину. Конечно, не им началась речь русская, но Пушкина юная муза своим увлекательным словом дала ей право гражданства в быту общественном, и простотою наряда заставила русских домашних маркизов смотреть равнодушнее на пудру и фижмы, полюбить повязку Людмилы, подивиться отваге Руслана.

И в это утро среди разноязычного приятельского гула и расспросов о том, о сем, главным вопросом стал Пушкин.

— Ну, расскажи, расскажи, повторяли мне многие, что поделывает Пушкин, не написал ли чего новенького, мы ждем и не дождемся.

— А знаете, господа, его Молдавскую песню? — спросил я.

— Я что-то слышал, сказал кто-то; но все остальные повторили в один голос: прочти, прочти, сделай милость!

И когда я прочел, то надобно было видеть всеобщий восторг, чтобы судить, как электрически действовало каждое слово Пушкина; но эта Молдавская песня, при всем достоинстве, еще не столь ценное создание, как другие его произведения.

— Браво, браво — кричали многие, и тут же бросив завтрак и шампанское, начали списывать Молдавскую песню со слов моих.

Жозеф, который подавал трубки и всем нам прислуживал, при клике б р а в о и общем восторге, не понимая, вероятно, ни слова, до того одушевился, что даже не внимал приказаниям своего господина.

— Господа! что с ним сделалось? — шутя спросил К.......в.

— Не знаем, отвечали мы, видно и он заслушался Пушкина.

— Да что ж он понимает? — заметил К......в.

— А кто его знает, может быть и понял,—заметил я.

— Жозеф, что с тобой? С ума ты сошел? — спросил К......в.

— Нет, — отвечал Жозеф с достоинством, — но я слышал ваше б р а в о, это родное мне слово, слово моей отчизны, слово энтузиазма, в эту минуту как-то особенно я хотел быть в моей Франции *. Oui, monseigneur,

* Я было хотел весь рассказ Жозефа написать по-русски, но Жозеф с своим voyez-vous до того оживился в моем воспоминании, что я вопреки моему обычаю, невольно заговорил по-французски; так ли я выразил родную речь его, предоставляю судить з н а х а р я м, а за себя не отвечаю: будучи русским, все это я написал на авось, так неудивительно, если есть промахи.

quoique je ne suis qu'un pauvre diable, qu'un gaillard, mais avant tout je suis un homme, monsieur; j'ai ici quelque chose, voyez-vous,—в это время Жозеф показал на свое сердце,— qui palpite plus fort à ce mot de b r a v o; ce mot me rappelle le grand jour, voyez-vous, quand notre p e t i t c a p o r a l, à la grande bataille de Mosaique, nous entraînait contre la redoutable batterie, et nous marchâmes comme de vrais lions. Il nous criait aussi b r a v o, b r a v o, c a m a r a d e s, e n a v a n t, e n a v a n t! Et moi pauvre gaillard, je crus apercevoir son regard jeté sur moi. Ah! comme j'étais heureux alors. Et voila à quoi m'a conduit votre bravo, messieurs, pardon! *

— Браво!—закричали мы,—браво, браво, Жозеф!

— Merci messieurs, pardon, повторил он, et surtout vous, monseigneur! **

Это monseigneur, разумеется, относилось к К....ву, который, приглаживая свои бакенбарды, с улыбкою посматривал на Жозефа.

Il me paraît, messieurs, продолжал Жозеф, que j'ai trop parlé, que je vous ai trop longtemps occupé de ma pauvre

* Да, ваше высочество. хотя я жалкий и бедный молодец, но прежде всего я человек; у меня здесь есть что-то, что сильнее дрожит при слове б р а в о; оно напоминает мне великий день, видите ли вы, когда наш м а л е н ь к и й к а п р а л в великой битве под Можайском подкреплял нас наступать на страшную батарею и мы пошли как истинные львы. Он также кричал нам б р а в о, б р а в о, т о в а р и щ и, в п е р е д, в п е р е д!—и я, бедный молодец, как бы почувствовал его взгляд на себе. О, как я был тогда счастлив! Вот к чему привело меня ваше б р а в о, господа! Простите!

** Благодарю вас, господа, и в особенности вас, ваше высочество.

personne. Mais que voulez-vous? En me rappelant les plus beaux jours de ma vie, messieurs, ces jours, où j'étais jeune, fort, vigoureux, et en même temps sous les drapeaux de notre grande armée, voyez-vous, je me suis mis hors de moi, messieurs, pardon, mille fois pardon!

— Celà est tout naturel, Joseph, parle, parle, nous t'écoutons,—сказал кто-то.

— Hé! j'ai tout dit, Mr, tout cela est bien passé dojà: notre petit caporal, où est-il? Hé! La gloire d'Alexandre nous reste seule dans ce bas monde! Vive l' Empereur! закричал Жозеф,—et vous tous, messieurs, sés braves guerriers! *

— Браво, браво,—повторили мы все, но К . . . . в заметил нам вполголоса:—Полноте, господа, оставьте ваше браво: а то вы его с ума сведете.

Кто-то из нас подал Жозефу бокал шампанского; другие у него же спросили трубок; и Жозеф, выпив бокал с одушевлением, кинулся по прежнему нам прислуживать.

Но нам всем как-то стало жаль Жозефа.

---

* Мне кажется господа, что я слишком много говорил, слишком долго занимал вас своей несчастной особой. Но как же вы хотите? Напоминая мне лучшие дни моей жизни, господа, те дни, когда я был молод, силен, крепок и находился тогда под знаменами нашей великой армии, я, видите ли, вышел из себя, господа и вы простите меня, тысячу раз простите!

— Это весьма естественно, Жозеф, говори, говори, мы слушаем тебя.

— Эх! я все сказал, сударь, все это давно прошло: наш маленький капрал, где-то он теперь? Эх! В здешней жизни осталась одна у нас слава Александра! Да здравствует император! и вы все, господа, его храбрые воины!

— В самом деле он жалок,—заметил К . . . . . в;—но каков однако? вы слышали, это хвастовство француза: alors j'étais jeune, fort, vigoureux, прошу покорно—шлюпик эдакой! (и в самом деле Жозеф был невзрачен).

— Вот что значит быть французом, или таким дураком, как Жозеф мой—прибавил К . . . . . в.

— Да ты слишком взыскателен,—заметил я К . . . . ву.

— Чего взыскателен, как на-днях, по милости твоего protégé * меня было всего обокрали.

— Да, это славная штука,—заметили многие.

— Это как же?—спросил я.

— Да очень просто,—ответил К . . . . . в.

— Да нет, нет,—повторили многие,—расскажи.

— Да, расскажи пожалуйста,—прибавил я.

— Пожалуй, изволь,—отвечал К . . . . . в,—это очень просто: меня не было дома; а ко мне забрался какой-то бездельник и вероятно большой физиогномист,—заметил К . . . . . в, смеясь:—увидев Жозефа одного, он, разумеется, понял, с кем имеет дело. И так, потребовав у Жозефа бумаги, под предлогом написать мне записку, попросил принести чего-нибудь напиться. Жозеф, как угорелый, кинулся ему прислуживать: не найдя бумаги на столе, он отпер ему письменный стол и, оставив голубчика одного хозяйничать, сам побежал на погреб за квасом, а тот, вместо того, чтоб писать записку, схватил в столе первые деньги, попавшиеся ему под руку, да и был таков.

В продолжение этого рассказа Жозеф видно понял, что дело идет о покраже; подавая мне трубку, он заметил

---

* Протеже.

мне вполголоса: mais, monsieur, voyez-vous, ce coquin là, avoit l'air tout à fait comme il faut, bien mis, parlant bien français, voyez-vous! *.

— Да, то-то voyez-vous, ты там толкуй,—мимоходом заметил К . . . . в,—а конец концов тот, что возвратясь домой, я спрашиваю у Жозефа: не был ли кто? Жозеф преважно отвечает, что был, да только не знает кто,—так безделица!—и хотел придти, говорит, чрез час; да вот и теперь приходит; а я тогда же глядь в ящик—пятидесяти рублей как не бывало. Да еще спасибо, что не порылся; а то бы решительно оставил без гроша. Ну, что ты скажешь на это?—заключил К . . . . в, обращаясь ко мне.

— Ну что же?—сказал я,—это простодушие—и больше ничего.

— По-французски—может быть, а по нашему это просто глупость.

— Нет, милый,—подумал я,—мне только не хочется спорить, а то и не Жозефы принимают человека, щеголевато одетого и в особенности говорящего по-французски, за что-то порядочное, за comme il faut, как они выражаются, не обращая внимания, что с видом этого comme il faut часто встречаются такие люди, которых едва ли людьми называть следует. Жозефу еще простительно: он француз; а из них много найдется таких, которые почти уверены, что если есть на свете люди, как быть следует, так это одни французы, а другие так себе, что-то в роде дряни.

* Но, сударь, этот мошенник, видите ли, был на вид совсем порядочный человек, хорошо одет. Хорошо говорил по французски.

Впрочем Жозеф не мог думать этого: он потягался с нашими и под Бородиным, и под Тарутиным; он знал уже, что русский человек не дрянь, что русский человек также умеет постоять за себя, и без шуму и крику о своих подвигах сумеет умереть за царя и отечество. О, Жозеф это хорошо знал, но знал и иных, этих исключительных comme il faut, для которых французский язык и наряд—все, и которые на звук: подайте христа ради, едва ли подадут грош; но на слова: ayez pitié de moi, Mr, donnez moi quelque chose! *—целковый нипочем. Отчего это так, кто их знает. Неужели оттого, что они только comme il faut, а не действительно порядочные люди? А что ж, и очень может быть: слово действительный очень важно...

Все это в несколько мгновений промелькнуло в голове моей; одна мысль сменяла другую, и как знать, куда бы увлек меня этот поток мыслей, если бы К . . . . в не остановил его своим вопросом:

— А знаешь ли ты,—сказал он,—что этот Жозеф, которого ты так защищаешь, был гувернером?

— Да как же это?

— Да так, даром, что ничего не смыслит, а как-то сумел отыскать себе запоздалого помещика, да приютился у него за 400 рублей в год, и представь себе—преподавателем истории и французского языка! Каково? Хороша была история! Вот бы послушать! Да так прожил не два, а четыре года,—тут только догадались, что он ничего не смыслит; ну, разумеется, разочли по русскому обычаю,

* Сжальтесь надо мной, сударь, подайте мне что-нибудь!

сполна, как следует, и Жозеф вступил к кому-то в камердинеры; да вот и я с ним няньчусь более года; отпустить как-то жалко: все-таки как-нибудь да болтает, все как-будто поприятнее моего Андрюшки или Гаврилы.

— Впрочем Жозеф, как кажется, говорит порядочно,— заметил я.

— Да только разве кажется, а то он двадцати слов к ряду не свяжет правильно; стоит наших Б . . . . . ма [49] и К . . . . ва, [50] которые, если ты заметил, хотя и бойко поговаривают, но как прислушаешься, так выходит довольно странно.

— Да что же странно?—прервал я.

— Да как же не странно! один все говорит в женском роде, а другой в мужеском.

— Замечать это не по моей части: я и сам, как ты знаешь, не то, чтобы очень смышлен, но все-таки это явление довольно странное, и твой Жозеф все же не делает подобных ошибок.

— Ну, конечно нет, а все-таки частенько завирается, и к тому ж презаносчивый: никак, например, не может понять, от чего его компатриот Гени * получил место и получает хорошее жалованье, а ему никто и двух сот рублей не даст.

* Капитан французской службы Гени в числе других пленных 12 года, не желая воспользоваться правом возвратиться на родину, остался на службе в России, и в течение короткого времени не только выучился правильно языку нашему, но даже изучил все наши законы и постановления. В 19 году я с ним познакомился; он служил при бывшем тогда генерал-интенданте Стале [51], что ныне всеми уважаемый московский комендант.

Я засмеялся.

— Да, ты там смейся, а с Жозефом просто беда: вот взгляни на его записку расхода; ну-ка, посмотрю я твоей удали.

В самом деле записка была премудреная. Легче было разобрать всякий иероглиф, чем его каракули; а главное, что в записке Жозефа никак нельзя было добиться, что он хотел выразить. И этот Жозеф,—мой protegé, как называл К . . . . в, был наставником и преподавателем! Благодаря мерам правительства, в настоящее время конечно уже подобные Жозефу не найдут места преподавателя, да и благодаря деятелей русского слова, среди которых лучезарною звездою светится имя Пушкина, в настоящее время и в обществе никто не устыдится говорит по-русски, как никто и не похвастается этим блестящим во время оно незнанием.

Конечно нынче редко встретится такая милостивая государыня, которая вместо того, чтобы сказать: „у меня сердце пламенное“, сказала бы: „у меня серце кипятки“; но я к удивлению моему встретил, и очень недавно; однако я удивился, стало быть нынче это большая редкость. А уж конечно никто не скажет, не только напечатает, как напечатал наш общий знакомец когда-то, которого Пушкин называл баловнем природы, что неприлично в обществе говорить по-русски [52].

Но я до того замечтался, заговорился, что уже боюсь запоздать к обеду; а опоздать по приглашению к обеду начальника, не все равно, что к обеду приятеля; тут не скажешь: извини, любезный, опоздал, заболтался. Это приглашение другого рода: их вот записываешь в дневник

свой, как что-то замечательное, несмотря на то, что пообедаешь, подчас, и хуже, чем просто запросто; видно этого рода приглашения имеют свое электричество, им исключительно принадлежащее, свою особенность, свою силу, как стих Пушкина.

Однако, несмотря на продолжительные наши толки о Пушкине у К . . . ва, на восторженные рассказы Жозефа о Наполеоне, я не только успел от'явиться к обеду во время, но еще по дороге зашел навестить Ивана Григорьевича Бурцева * [53], которого мы все уважали душою. Иван Григорьевич встретил меня по прежнему, с тем же вниманием и приязнью, которыми я постоянно пользовался. На это время Бурцев был ад'ютантом начальника штаба. Будучи человеком возвышенных чувств и замечательных способностей, И. Г. и здесь оправдал ту известность, которой пользовался по праву личных достоинств при первоначальном своем служении в гвардейском генеральном штабе. Вместе с назначением генерала Киселева начальником штаба 2-й армии, Бурцев переведен в Московский гвардейский полк, с назначением в ад'ютанты. Этот перевод был необходим, ибо в то время офицеров генерального штаба не назначали ни к кому в ад'ютанты,—разве только тогда делалось исключение, когда государю императору угодно было удостоить кого-либо назначением в собственные ад'ютанты его величества; все же вообще мы пользовались высоким наименованием свиты его величества.

* Впоследствии знаменитый соучастник в славных победах нашего славного Паскевича, в чине генерал-майора. Иван Григорьевич был убит в сражении под Беркутом.

У Бурцева свиделся я с доктором главной квартиры И. Б. Шлегелем [54], которого глубокие сведения, как ученого, и отличные свойства, как человека, приобрели ему безукоризненное уважение. И. Б. уважали не одни служащие в главной квартире и армии, но все те, которые только почему-либо его знали; его бескорыстие и самоотвержение становились примером. Начальник штаба отличал Шлегеля особым вниманием, и в этот день он был приглашен к обеду. Итак втроем мы отправились к начальнику штаба.

Обедало нас конечно не более десяти человек; но этого гула, который обыкновенно бывает за обедом и при меньшем числе, как-то не было: говорили два генерала, а остальные слушали, или занимались своими тарелками. Разговор был о тогдашних делах Италии; говорили о предполагаемом походе, вспоминали об Аустерлице и о военных действиях 12 года и эти воспоминания разговаривающих, неразлучные с воспоминанием о первоначальном их служении, до того одушевили моих генералов, * что, казалось, в эти минуты они исключительно жили жизнию прошлого, когда юность и слава двойным венком украшали юных подвижников. При этом Федор Федорович также принимал участие в разговоре, но с такою скромностью, как будто он вчера только

* М. Ф. Орлов, будучи 16 лет, в первый раз участвовал в битве под Аустерлицем, и получил золотую шпагу за храбрость; но, несмотря на прелесть награды, он заплакал, когда ему об'яснили, что сражение проиграно. Через 9 лет он вполне был утешен, удостоясь первым проехать Аустерлицкий мост, для начертания капитуляции о сдаче Парижа. П. Д. Киселев в первый раз участвовал в битвах в славных делах 12 года, а в Париже эполеты флигель-ад'ютанта его величества были его наградою.

выпущен из корпуса, и как будто не его нога похоронена на полях битвы.

Я слушал и заслушивался; но, разумеется, не участвовал собственным словом; ибо в то время и без служебных отношений младшим поставлялось в обязанность, как долг приличия, больше слушать, нежели говорить, да и в разговоры со старшими вступать не иначе, как по их на то вызову; а к тому же я был младшим из меньшей братии и по возрасту и по службе; но будь мне вызов, то конечно, под влиянием разговора о войне и неразлучным с ней именем Наполеона, я бы непременно рассказал выходку моего Жозефа; так Жозеф с своим voyez-vous занимал меня.

При воспоминании о двух моих генералах, Орлове и Киселеве, я невольно припомнил сожаление некоторых, что мы русские не участвовали в крестовых походах, сожаление, быть может, весьма глубокомысленное и дельное, но для меня непонятное, и именно потому, что это такое сожаление, которое легко утешается в соучастном воззрении на славную землю русскую, где со дня ее православия почти каждая семья может похвалиться христолюбивыми воинами, а некоторые и поголовными жертвами за дом пресвятой богородицы, за царя и отечество.

Например, четыре брата Орловых: Алексей[55], Михайло[5], Григорий[56] и Федор[13] Федоровичи, все, под знаменами креста и России, служили с честию. Три брата Киселевы: Павел[44], Сергей[57] и Александр[58] Дмитриевичи также, а последний из них, Александр, служивший в лейб-егерском полку, был убит на полях Бородинских. Не быть бы и чет-

вертому, Николаю[59], дипломатом *, если-б он мог явиться в армию прежде 20 года. Да и тут Павел Дмитриевич, несмотря на юность брата, чуть-чуть было не записал его в один из полков наших. Но одни ли эти семьи могут хвалиться усердием и любовью к отечеству? их тысячи и наконец вся земля русская... Да, там, что ни говори, а только русским мог сказать Алексей Петрович Ермолов[60] то, что он сказал в 20 году войскам ему вверенным: „не вам предлежат горы неприступные, не вам поля непроходимые: скажу волю государеву, и вы перейдете препятствия“. Живо помню я этот приказ Ермолова, доставленный к нам в главную квартиру, помню, с каким одушевлением я прочел его и как на первый раз слезы восторга затмевали буквы.

Но я слишком увлекся воспоминанием моих восторгов; пора в путь. Итак на другой день утром мы оставили Тульчин. Генерал с начальником штаба отправились в м. Немеров к графине Потоцкой, а я с Федором Федоровичем в Киев, где и должен был ожидать приезда М. Ф., по его назначению.

В это время вдова графа Потоцкого [61], знаменитого магната Польши, участника в Торговицкой конфедерации, жила в своем замке, близ м. Немерова, в том замке, которому основанием служила бедная хижина, богатая воспоминаниями счастливых, поэтических дней ее жизни.

Об этом замке я скажу впоследствии, а на этот раз ограничусь тем только, что графиня Потоцкая[62], о красоте которой говаривали прежде, и в преклонных летах обладала красо-

* В Париже (за отсутствием посла) поверенным в делах, действительный статский советник.

тою, в ореоле лучезарной красоты дочерей своих, этих двух красавиц, Софьи[63] и Ольги[64]. И действительно, они были очаровательны и до того прекрасны, что если-б кто спросил меня, которую из двух я нахожу лучше, то я бы затруднился в ответе или бы отвечал с простодушием младенца: обе лучше.

Несмотря на снеговый вихрь и беспрерывный крик Федора Федоровича: пошел! я предавался мечтам о красоте и Немерове, и одни толчки только, как неразлучные спутники удалой езды, вышибали меня из мира фантазии.

— Каково едем!—говорил мне Федор Федорович.

— Славно,—отвечал я замирающим голосом, невольно подпрыгивая на каком-то чемодане, как будто вырубленном из камня.

— То-то же,—заметил Федор Федорович,—это видно не с генералом ехать: наш бы превосходительный не позволил так скакать, сказал бы: головку сломишь.

— Да разве долго,—заметил я.

— Так что-ж,—возразил Федор Федорович,—жизнь копейка, голова наживное дело. Пошел!—снова крикнул Орлов. —Жаль, прибавил он, что Пушкин не с нами: он бы потешился нашей удалью.

И таким образом, раскидывая везде щедрою рукою ямщикам на водку, мы домчались до Махновки, где Федор Федорович расположился ночевать. Мне было это на-руку, я как-то устал и чувствовал себя нездоровым.

В небольшой гостинице города Махновки, невдалеке от станции, мы заняли все, что только занять было можно, исключая общей комнаты со входа для приезжающих. Но

несмотря на это все, едва нашлась одна удобная комната для нашего помещения, да и та была бильярдная.

Бильярд и какая-то софа составляли всю мебель этой комнаты. После прихотливого ужина, заказанного Федором Федоровичем, мы улеглись, я на софе, а Федор Федорович на бильярде, который едва только был ему по росту.

От усталости или нездоровья, мне как-то не поспалось, и я встал на рассвете, Федор Федорович спал тем богатырским сном, которым немногие спят и на роскошной постели.

Когда совсем рассвело, я перешел в общую комнату, закурил трубку и предался мечтаниям; одна мысль сменяла другую; но заметив на станции какие-то картинки, я начал их рассматривать, и что-ж? чего, чего тут не было: и коварство Далилы, и изгнание Агари, и история Вертера, а между ними портреты Понятовского, Собиеско и г[рафа] А[ракчеева]. Последнее изображение, как чародейною силою, перенесло меня в родную семью, заставило вспомнить многое, что я слыхал в детстве, и особенно рассказы моего дяди генерала Б[огдано]ва[65] о г[рафе] А[ракчеев]е.

Вдруг почтовая тройка промчалась на станцию, а в общую комнату вошел какой-то проезжающий, в меховой шапке, в шубе, и закутанный вокруг шеи огромным платком в роде шали. Войдя в комнату и увидя меня, он как будто поспешил снять свою шапку и мне поклонился; я отвечал той же вежливостью, и еще с большим вниманием, как к человеку, который меня старее, и тем более, хотя и жаль, а скажешь, что не все старшие вежливы.

Наружность этого незнакомца была привлекательна и внушала доверенность. во взоре было много участия,

привета и ласки. Незнакомец сел к столу, который стоял в простенке между двух окон на улицу, а я уселся у окна подле.

— Эй, кто тут?—крикнул проезжий, кинув в сторону свою шапку; вслед за тем вошедшему лакею приказал дать себе что-нибудь позавтракать—да побольше—прибавил он,— и между тем приготовь шампанского. Я целые сутки ничего не ел и не пил,—сказал он, обращаясь приветливо ко мне.

— Отчего ж это?—спросил я.

— Да так что-то понездоровилось.

— И мне также,—произнес я, действительно чувствуя себя нездоровым.

— Ну, вам рано еще хворать,—сказал незнакомец;—а вы куда едете?

— В отпуск в Москву; а вы?

— А я в военное поселение.

— Ну, не завидую вам,—сказал я весьма простодушно.

— Отчего же?—спросил незнакомец, взглянув на меня значительно, как будто требуя моего пояснения.

Это отчего, как электрическая искра, коснулась моего предыдущими мечтаниями, взволнованного сердца и я разразился восторженными рассуждениями о том государственном учреждении, которого ни обнять, ни понять я был не в состоянии.

Незнакомец внимал мне с участием; но вместо замечаний на мои мнения, сказал вдруг: как здесь жарко!

Странность этого заключения среди особенного разговора нисколько не поразила меня.—Не мудрено, сказал я, что вам кажется жарко: вы так закутаны.

— Да, это правда,—проговорил незнакомец, начиная разматывать шаль свою, и когда эта шаль упала на спинку стула, а шуба распахнулась, то, увы! что я увидел: Георгий 3-й степени украшал моего незнакомца, и на груди сияли звезды из под лацкана шубы. В это мгновение белый крест показался мне темнее обыкновенного, а луч звезды менее ярок; однако, повторю замечание Пушкина, это не значило, что я ослеп. С быстротою молнии я очутился на ногах и подле генерала с протянутой рукой, как будто приятель или друг. Генерал также встал с своего места и дружески пожал мне руку. Надеюсь, сказал я, что все, что я говорил до сей минуты, я говорил не генералу. Энергическая моя выходка и голос, казалось, сильно подействовали на него.

— О, успокойтесь,—сказал он;—это останется между нами. Прошу, сказал он, садясь сам, и указывая мне на прежнее место.

Я снова было начал извиняться.

— Ничего, ничего,—сказал генерал,—одно только могу вам посоветовать: вперед быть осторожнее вообще и особенно с проезжающими. Откровенность—достоинство, но излишняя может быть пагубна.

В эту минуту подали шампанского и завтрак. Генерал предложил мне разделить с ним завтрак, но я отказался и благодарил его.

— Ну, не хотите завтракать, так выпейте бокал шампанского.

Я было и не хотел, да делать было нечего: генерал так обязательно предлагал мне.

— Ваше здоровье,—сказал я.

— Большое вам спасибо,—отвечал незнакомец.—Это лучшее для меня желание: мое здоровье так плохо.

— Что с вами, ваше пр-во?—спросил я с участием.

— Да бог знает, а что-то нехорошо...

Попробовав бутылку шампанского, генерал едва ли выпил два бокала; спросив побольше завтракать, почти ничего не кушал.

Под'ехала почтовая тройка, вбежал лакей, доложил: готово, в. п-во! Генерал встал, бросил на стол несколько ассигнаций, конечно вдвое, что стоило, поспешно оделся и обнял меня, прибавив: очень рад буду когда-нибудь с вами встретиться; но дружеский совет прошу помнить.

Я проводил незнакомого генерала до под'езда, он сел, лошади помчались; повернувшись, он издали заметил, что я еще на крыльце, и раскланялся со мною. И это была первая и последняя с ним моя встреча.

Через год он скончался.

Это был Димитрий Михайлович Юзефович, [66] замечательный военачальник 12 года, начальник 2-й уланской дивизии поселенных войск.

Благотворное снисхождение и совет Димитрия Михайловича спасли меня от многого; но не со всеми же могут быть подобные счастливые встречи, не всегда можно быть снисходительным... Встреться я с другим, может быть и мне бы досталось; а поэтому благодарность моя генералу Юзефовичу беспредельна. Это единственная жертва, которую я могу принести в дар его памяти.

Проводив Димитрия Михайловича, я попал на новую беду: Федор Федорович слышал весь разговор наш, и накинулся на меня со всеми правами старшего... и совершенно меня уничтожил.

— Вот дал бог нового министра, говорил он,—и с чего ты взял пускаться в подобные рассуждения?

— Да что ж я сказал такое?

— Да ничего, а все бы не следовало; но это должно остаться между нами; не вздумай еще братцу рассказывать. Он хотя и брат мне, а все генерал, начальник, и мне и тебе достанется.

И действительно, я никому не говорил об этой встрече.

После раннего обеда мы оставили Махновку. На другой день нас задержали по неимению лошадей в Васильков. К вечеру мы приехали в Киев и остановились в Зеленом трактире [67].

Не прошло и нескольких минут по приезде нашем в Киев, как за Федором Федоровичем кто-то прислал, и он велел сказать мне, что сейчас вернется; но прошло более часа, а Федора Федоровича не было. Наконец какой-то лакей, я слышу, спрашивает меня. Я вышел.

— Генерал Великопольский, [68]—сказал лакей,—приказал вам кланяться и приказал просить вас к себе.

— Да я, любезный, не знаю твоего генерала.

— Помилуйте, их превосходительство вас знают-с; они приказали вас просить не беспокоиться, пожаловать-с по дорожному, в сюртучке-с. У нас Федор Федорович,—и они приказали просить.

— А, это дело другое; но где же генерал стоит?

— Да здесь-с вверху-с.

— Ну, нечего делать, давай сюртук, эполеты, эксельбант. Вхожу к генералу: маленький, толстый генерал в сюртуке, без эполет, в молдавской феске, мечет банк, Федор Федорович понтирует.

Увидев меня, генерал встал, благодарил за посещение и тут же предложил играть. Но я отказался. Игра продолжалась; меня заняла наружность генерала, и еще более какая-то милостивая государыня, исполняющая, как казалось, должность хозяйки: она была молода и недурна собою, приветливо улыбалась мне, предложила чаю и трубку, а вслед затем поставить карточку, а именно даму, уверяя, что дамы никогда не обманывают.

Я отказался, сказав, что карточным дамам я никогда не верил. Вице-хозяйка улыбнулась.

В эту минуту поставленная дама Федором Федоровичем была убита.

— Вот видите,—сказал я.

— „Погибла гречанка“,—сказал генерал.

— А, в. п-во, вы знаете Пушкина песню?—заметил Федор Федорович.

— Как же, милый,—отвечал генерал,—всю наизусть выучил.

Эта песня перекинула меня в Кишинев, и в эту минуту я подумал: что бы сказал А. М.[17], мой надворный советник и нумизматик Е , [26] если бы они увидели генерала в молдавской шапочке!

— Ничего бы не сказали, отвечал я сам себе: их суждение о людях не восходит выше коллежского асессора: это, говорят они обыкновенно, человек порядочный, коллежский асессор.

Нельзя не уважать чины; но и сан человека что-нибудь да значит.

Киев 1820 г. Дек. 28.

Хозяин в красной шапочке продолжал метать, Федор Федорович понтировал, но только уже с большим счастием, нежели тогда, как я вошел к В[еликопольскому].

В. проигрывал, но не терялся а по прежнему продолжал свои прибаутки с придачею стихов Пушкина. Иногда слова были повторяемы во всей чистоте их создания, а подчас с вольными изменениями: дав как-то карты три к ряду, хозяин заметил:

— Эге, Федор Федорович, да ты эдак всего меня обыграешь.

— Ничего, в. п., вы у меня и не постольку выигрывали.

— Ну, да это, что там: это, сударь мой, говорил В., дела давно минувших лет, преданье старины глубокой,—и в это время дав еще карту, прибавил: вот, изволишь видеть, как счастье-то перевернулось.

— Ничего, в. п., все это в наших руках, вы эту науку-то понимаете.

— Да, хорошо тебе подсмеивать, но перед счастия законом моя наука не сильна.—Сказав это, хозяин взглянул на меня, улыбнулся и подмигнул мне.

— О, да как вы помните Пушкина,—заметил я.

— А как же, батюшка, мы тоже хоть и не вам чета—армейщина, что называется, а тоже на старости кое-что

почитываем, а уж Пушкина не грех и помнить; дóка малый растет, что-то из него будет, не все чай станет сказки рассказывать.

Да, видно генерал прочел Руслана, и не один раз, и не только помнил стих о Черноморе, но даже изменил его по своему, заменив слово время словом счастие.

Все это занимало меня, но не менее того и утомило, как полубольного и постороннего в игровом деле.

Часу в двенадцатом вечера игра прекратилась; Ф. Ф. остался в выигрыше, и мы начали откланиваться В., обещая на другой день навестить его. Генерал не пошел провожать нас, извиняясь подагрой, а поручил это выражение вежливости своей спутнице.

— Поди, мой дружечек, сказал он, поди моя Людмилочка, проводи моих милых гостей, да попроси, знаешь, хорошенько, чтоб они не забывали меня на старости. Лучше нищему не подать да навестить старика, не правда ли, Федор Федорович,—кричал В., когда уже мы были в другой комнате.

— Конечно, конечно, в. п., отвечал О[рлов] на походе.— Хорош старик,—заметил он вполголоса, обращаясь к спутнице:—нашего брата заткнет за пояс.

— И, полноте, Федор Федорович,—отвечала спутница. А вот не грех ли вам, что вы обыграли моего старичка.

— Да какой он старик, моя красавица, он просто молодец еще; а что немножко попродулся, так так быть, люби выиграть, люби и проиграть.

— Да, конечно, сказал я, смеясь:—это условие необходимое.

— Хорошо вам смеяться, а вот что я нахожу странным, что вы еще такой молоденький и военный, а не играете в карты.

— Да мне нечего проигрывать,—отвечал я простодушно:—как же вы хотите, чтоб я играл.

— Тут-то и играть,—возразила она приветливо,—и надеюсь, что завтра, когда у нас будете, то поставите хоть одну карточку на мое счастье.

— Очень может быть—утро вечера мудренее.

Федор Федорович, смеясь, прибавил, что ночь еще мудренее утра, когда хочется спать, а не спится.

— Что же у вас, бессонница? спросила спутница.

— Да случается, отвечал Федор Федорович; за то с проигрыша уж куда как спится.

— Так покойной ночи желаю вам, сказала она,—и так мы расстались.

Возвратясь в свой нумер, мы встретили там фактора, который, как говорил, ожидал нас, чтоб об'явить нам, что дома через два или три большое веселье, * и при этом фактор приглашал нас убедительно подивиться ** на такой богатый шлюб ***.

И что же! не смотря на мое утомление, поздний час и снежный вечер, мы отправились—за чем и для чего, не спрашивайте; так, по закону общему, что пылкость и молодость не рассуждают.

Фактор провожал нас, и когда мы подошли к дому свадьбы, то нас невольно поразила толпа любопытных: каж-

* Веселье—свадьба. ** Подивиться—посмотреть. *** Тоже означает свадьбу.

дый хотел заглянуть в окно, и каждый, кое-как карабкаясь по стене, мешал один другому: говор, крик и перебранка, в соединении полувнятных звуков цымбала, составляли непонятный гул. Странные вереницы, составленные из жидов, жидовок и наймочек*, освещались фантастически отблеском освещенного дома.

Мы вошли в дом, толпы в сенях и при входе с помощию фактора расступились перед нами. При нашем появлении все засуетились, но еврейки, разодетые в богатые смушки и брустухи, сидящие чинно, как, не в пример будь сказано, наши барыни, едва привстали, чтобы поклониться, и снова сели; а несколько евреев кинулись нам прислуживать, подавая нам кресла и прося садиться; но мы, не желая быть их гостями, а только зрителями, не садились и просили их не беспокоиться.

Танцы и при нашем появлении продолжались; но в этих танцах никто не участвовал кроме двух девиц-евреек, одетых в обыкновенный свой наряд, отличающийся только тем от наряда замужних, что на головах, вместо смушки, были легонькие повязки, в виде венка, из-под которых падали густые волнистые черные космы, завитые самою природою. Танцы этих плясавиц, под стройные звуки скрипки и древнего кимвала, или просто цымбала, походили на наши простонародные пляски. Еврейки, как наши простолюдинки, не столько заботились о пластической красоте положений и поступи, сколько о хитрости различных выступов; словом, они выводили ногами узоры и выплетали кружева, как говорит песня.

* Наймочками в южном краю вообще называют работниц, нанимаемых для домашних прислуг; большая часть этих работниц состоит из девушек-малороссиянок, которым исключительно принадлежит это название.

Если подобная пляска сохранилась во всей первобытной свежести от времен древних, то нельзя не подивиться, что нашел Ирод пленительного в этой пляске: или быть может, в состоянии охмеления, все принимает свои пленительные образы? Так и плясавицы времен новейших не потому ли по большей части пленяют нас, что мы сами находимся в состоянии хоть иного упоения, но все-таки упоения, а не потому, что они действительно прекрасны.

Вот и в эту минуту, когда я составляю выписки из моего дневника, в соседней комнате слышу спор моих посетителей о балетах и о танцовщицах; одни восхваляют Санковскую,[69] припоминая балет Сильфиду, другие хвалят Ирку,[70] говоря о новом балете Катарина: но из всего гула спорящих сильнее всех звучит молоденький голосок юного NN, который, с современной самонадеянностию, утверждает решительно, что Ирке нет подобной, что она божественна. Это говорит юноша, он заговаривается, и это не удивительно, сердце его еще дымит, рассудок в угаре; но странно, что и пожилой М. М.[70] не только что не умеряет восторгов, а еще поддерживает NN. Совершенно вы правы, говорит М. М., видно, что вы понимаете дело. Elle est incomparable, ravissante, divine, oui, divine, je suis de votre avis, divine, divine, c'est bien le vrai terme, surtout dans le ballet de Katarina. * Весь этот говор о балетах, о

* Она несравненна, восхитительна, божественна, да, божественна, я вашего мнения, божественна, божественна, это настоящее выражение, в особенности в балете Катарина.

Санковской и Ирке удалил меня от рассказа о современниках прошедшего к современникам настоящего, и от странной еврейской пляски тот же говор увлек меня к столь уважаемым европейским балетам, к этим переселенцам на землю русскую, столь деятельно получающим права гражданства в наших зрелищах. Но простите: прислушиваясь к толкам о балетах, я сам заговорился и изменил последовательности моего дневника,—итак снова обращаюсь к моему рассказу о еврейской свадьбе.

Не прошло и пяти минут после нашего появления на этом шлюбе, как снова толпа у входа засуетилась; наш фактор снова очищал кому-то дорогу, и из-за толпы показался кто-то военный, в шляпе с белым султаном.

Заметив нас, незнакомец поспешил снять шляпу, и вдруг кинувшись к Федору Федоровичу, дружески подал ему руку.

— А, Дуров,[71] здравствуй!—сказал Федор Федорович.

— Федор Федорович, вы как здесь?

— Да вот как видишь, сейчас почти только приехали, да вот и на свадьбе.

— А я, сказал Дуров, по должности об‘езжал город, гляжу, что за толпа, зашел из любопытства и очень рад, что вас встретил. На долго ли у нас в Киеве?

— Да не знаю, как придется, а деньков несколько вероятно пробудем.

— Ну так завтра ко мне откушать, милости просим.

— Вот этого я не знаю, как мой товарищь (в эту минуту Федор Федорович показал на меня).

— Да и их прошу, надеюсь, что не откажут. Завтра утром я сам явлюсь повторить мою просьбу.

Я поблагодарил, а Федор Федорович прибавил: что будет завтра—посмотрим, а теперь, как кажется, нам пора и на отдых.

Но между тем, как мы говорили, музыка смолкла, танцы прекратились, и к нам подошел хозяин, отец молодого. Это был человек средних лет, благовидной наружности, в обыкновенном своем наряде, состоящем из шелковой одежды, в роде полукафтанья, и черной бархатной скуфейки. Он держал в руках серебряный поднос старинной отделки и на нем три налитые рюмки.

— Осмелюсь просить откусать, сказал он.

— Что это, верно венгерское?—спросил Дуров.

— Тоцно так, васе высокородие, отвечал хозяин: прошу оцацливить.—Молодой стоял подле отца, молча кланялся, не снимая своей бархатной остроконечной шапочки, опушенной соболями.

Дуров сказал нам вполголоса: выпьемте, господа, а то мы их обидим, к тому же, хотя все они большие фификусы, но вино у них редкое, подобного вина можно только найти разве у вельможных панов. Это настоящее венгжино!

Мы выпили, хозяин и сын его до того нас благодарили, как будто мы оказали им благодеяние. В наряде молодого я заметил некоторую особенность, кроме мантии, которую надевают все евреи в торжественных случаях, при главных служениях в синагоге, при совершении обряда венчания и т. п. Но на молодом, из-под черного узенького воротника мантии, выглядывал широкий парчевой воротник, как бы от рубашки, и действительно, как я узнал впослед-

ствии, это был воротник рубахи, сшитой из полотна с воротником из парчи;по еврейским обрядам эту рубашку на них надевают в двух главных эпохах жизни: в день свадьбы и при погребении. Каждый честный еврей, по их понятиям, предстанет в этой рубашке на суд в день страшного суда.

При выходе нашем из дома шлюба, где мы пробыли не более десяти минут, Дуров также вышел, повторяя свое приглашение к обеду.

Возвратясь к себе, нам, как утомленным, было не до ужина. Отправив людей наших отдыхать, мы разделись сами и заняли диваны, приготовленные по военному обычаю вместо постелей. Однако, несмотря на усталость нам как-то не поспалось в этот вечер, и если я начинал дремать несколько, то Федор Федорович развлекал меня своими рассказами, а главное, его как-то особенно занимал выигрыш у В[еликопольского].

— Посмотри-ка, милый, говорил Ф. Ф.: ведь я порядочный куш хватил.

— Да, кажется, около тысячи.

— То-то и есть, что не около, а с лишечком,—и при этом Федор Федрович, вынув пачку скомканных ассигнаций из-под подушки, пресерьезно начал считать их, разглаживая каждую ассигнацию рукою.—Вот, изволишь видеть, вот тут тысяча, да вот еще семьдесять пять рубликов; да, постой, постой, мне кажется, я ошибся, прибавил он, и снова принялся считать, да вдруг как бы обрадовавшись, мигом вскочил с дивана, бросился к сюртуку, где, как он припоминал, должны были быть еще деньги,—и действительно, в сюртуке еще отыскались сотенки две или три.

—Так вот как, говорил Федор Федорович, это называется не около тысячи, а близ полуторы. Это и порядочный куш зашибли, да так-то порядочный, что можно с товарищем поделиться.—Готовность делиться относилась ко мне, но воспользоваться подобной готовностью, конечно, было некстати, и тем более, что я в игре нисколько не участвовал; но все же подобная выходка доказывает добросердечие Федора Федоровича, и мне приятно вспомнить эту черту его расположения. При всем том, не могу не подивиться странному психологическому явлению: как один и тот же человек, который проиграл в жизнь свою более мильона, мог так радоваться при выигрыше тысячи.

Этот выигрыш повлек Федора Федоровича к различным предположениям: поездка в Москву была совершенно отложена.—Если братец позволит, говорил Федор Федорович, то я непременно на все контракты останусь в Киеве, и только разве с'езжу к жене[72] пообедать.

Эти последние слова: разве с'езжу к жене пообедать весьма замечательны, потому именно, что супруга Ф. Ф. в это время жила в своем поместье, за 800 верст от Киева. Несмотря на то, что Федор Федорович, по каким-то отношениям, жил розно с женою, но любил и уважал ее, как вполне она того заслуживала, и со всею пылкостью откровенного сердца в отношениях к ней обвинял себя. Отрадно было видеть, с каким восторжением он не раз показывал мне портрет жены своей, как существа страстно им любимого. Эта любовь оправдалась впоследствии. В этот вечер мы как-то много говорили о семейной жизни. Разговор наш

длился довольно долго, Ф. Ф. вспоминал графиню Анну Алексеевну Орлову-Чесменскую, которую уважал до благоговения, и по собственной преданности и как друга жены своей.

Наконец, мы до того договорились, что уже в Печерском начали благовестить к утрени. Федор Федорович чуть снова не начал одеваться, чтоб идти в церковь; но вскоре вместо молитвы мы заснули.

На другой день в позднее утро явился к нам полицмейстер Дуров, повторяя свое приглашение к обеду. Часа в три пополудни мы отправились.

Обед был на славу. После обеда началась игра, и только было Федор Федорович разыгрался, как нарочно присланный уведомил нас, что Михаил Федорович приехал в Киев и остановился у дежурного штаб-офицера 4-го корпуса, Л[еонтия] В[асильевича] Д[убельта] [73].

— Федор Федорович, едемте, генерал приехал, сказал я, подходя к играющим.

— Сейчас, сейчас, вот только одну карточку.

— Вам как угодно, а я поеду.

— Нет, пожалуйста, сию минуту—вот убита, и прекрасно, едем.—С этим словом Федор Федорович, забрав выигрышные деньги в свою фуражку, вышел в переднюю, где, сложив все деньги в одну пачку, уложил их под подушку подколенника своей деревяшки.

— Это зачем?—спросил я, когда мы выезжали:—эдак и потерять не долго.

— Нет не беспокойся; но в кармане они заметнее, братец сейчас догадается, что я поиграл немножко, тогда беда, достанется!

Однако предосторожность Федора Федоровича на этот раз не совсем удалась ему: хитрость не спасла от рассчета вероятия.

— Где вы шатались?—Спросил М. Ф., когда мы вошли в приемную.

— У Дурова были, отвечали мы в один голос.

— А! заметил М. Ф. Ты уже верно играл там?—прибавил он, взглянув на брата.

— Да-с, немножко-с,—смиренно отвечал Федор Федорович, как пристыженный ребенок.

— Ну так, нельзя не играть, и при этом генерал ласково погрозил брату; а где вы остановились?

— В Зеленом, [67] отвечал я.

— Ну, так ты, любезный друг, сейчас же прикажешь перевезти твои вещи сюда: добрый мой Д[убельт] дает нам обоим пристанище; комната для тебя готова, сказал М. Ф.

В это время вошел Л. В. и начал здороваться с Ф. Ф., сожалея, что еще не успел навестить его,—хотя и знал еще вчера, прибавил он, что вы в Киеве, и уже успели побывать на свадьбе, повидаться с Дуровым.—Заметив же меня, он приветливо поклонился.

— Честь имею представить, сказал М. Ф., подводя меня к Д. Это мой генерал-квартирмейстер и твой постоялец.

— Очень, очень рад, сказал Л. В.: комната к вашим услугам, не взыщите, если не такая роскошная; впрочем, мы люди военные, как-нибудь да промаячимся,—и тут же обняв меня дружески, повел показывать комнату.

Назначенная для меня комната, как и весь дом, действительно ничего не имела роскошного, но несравненно

была привольнее тех помещений, какие мы имели в Кишиневе. На другой день по переезде моем, гостеприимный хозяин навестил меня. Заметив какие-то книги, которые я случайно захватил с собою, Л. В. спросил меня, что я читаю, и при этом у нас завязался разговор о книгах, и я почему-то рассказал ему, что читал Экартсгаузена, [74] Штилинга [75] и им подобных.

— А, так вы и с ними знакомы, заметил Л. В.

— Да, я читал кое-что, отвечал я, да признаюсь, худо понял.

— Ну, полноте скромничать; моя жена [76] как-то любит сочинения этого рода; когда с нею познакомитесь, так вы сами это заметите.

И действительно, когда я был представлен А. Н., [76] то не мог не заметить исключительного ее стремления к созерцательному. Это стремление почему-то выражалось довольно ясно, несмотря на то, что молодость ее и скромность, принадлежащая россиянкам вообще и ей в особенности, мешали вполне высказывать свой образ воззрения; к тому же, мы, как кажется, обоюдно не решались входить в рассуждение о предметах выше сил наших; а если и читали Экартсгаузена и Штилинга, так это потому только, что эти сочинения имели на то время большую известность.

В эти дни пребывания моего в Киеве, в доме Л. В., по усилившемуся моему нездоровью, я сделался совершенным затворником. Генерал и Л. В. принимали во мне родственное участие, но вместе с тем генерал шутя называл меня неженкой. В наше время, говорил М. Ф., молодежь твоих лет лечилась скачкою до балами. Чем сидеть да хандрить, просто натянул бы мундирчик, да ехал со мною к Николаю Николаевичу.

— Очень бы рад иметь эту честь, да что делать, когда рука головы не слушает.—И в самом деле, проехав на морозе до 20 ти градусов более 500 верст в одной щеголеватой шинельке, в которой кроме бобрового воротника меха ни на волос, рука до того у меня разболелась, что я не в силах был надеть мундира как облитого в струнку, по тогдашнему покрою.

Но на мое что делать, М. Ф. заметил свое:—Что это такое, сказал он, как рука головы не слушает. Это что-то в роде нельзя, а слово нельзя должно быть выключено из военного лексикона, как ненавистные Суворову слова: не могу знать или не знаю. А ты знаешь анекдот о нельзя?—Нет-с, отвечал я просто, не прибавляя: не знаю, как бы из уважения к памяти великого.

— Да вот в чем дело, произнес генерал: кто-то из начальников спросил опытного гренадера: как ты думаешь, можно ли взять эту батарею?—Нельзя, в. п., отвечал гренадер. Ну, а если прикажут? возразил начальник. Тогда другое дело, отвечал гренадер: возьмем, в. п.

При этом рассказе мне представилось, как наши неодолимые усачи кинулись на батарею и в несколько мгновений уже русские штыки среди порохового облака блистали, как лучи солнца среди редеющего тумана.

— Прикажите, это другое дело, в. п., скажу и я, как гренадер рассказа вашего.

— Нет, нет, произнес М. Ф., я сам вижу, что ты действительно болен; но мне жаль, что ты не будешь на бале

у Николая Николаевича; мы бы вместе встретили новый год.

Весь этот разговор происходил накануне 1 января 1821 года, следовательно выздороветь и явиться на бал я уже не имел времени; но меня огорчало не то, что я не буду участвовать в торжественной встрече нового года, и вместо бала просижу один-одинехонек в своей комнатке; но я жалел о том, что не могу быть представлен Николаю Николаевичу; по крайней мере на эту минуту он занимал меня более самого бала.

Николая Николаевича Раевского, в числе других подвижников 12-го года, еще с моего младенчества я уважал душою. „Певец во стане русских воинов“ породнил юное мое воображение со многими из знаменитых того времени. Это произведение Жуковского [77] я знал и помнил, как первое произведение, выученное мною наизусть после пророческого гимна Державина на рождение порфирородного отрока [78].

И на это время я не мог не вспомнить отзыва Жуковского, что

Раевский, слава наших дней,
Хвала! перед рядами—
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами.

И вот в это же утро я познакомился с одним из его сыновей-сподвижников, а именно с А. Н., [79] о котором нередко упоминает Пушкин в своих записках.

А. Н., по расстроенному здоровью, тогда уже был в отставке, в чине полковника, и жил при отце в Киеве. До этой встречи я знал А. Н. по наслышке; но при отъезде моем из Кишинева, Пушкин советовал мне познакомиться с ним, как с человеком образованным и вообще замечательным.

При этом первом летучем нашем знакомстве, когда мы едва разменялись несколькими приветствиями, А. Н. остался для меня замечательным тем только, что он был участником в славной битве отца своего под стенами Смоленска. В то же время я невольно вспомнил последующие годы за 12-м, когда изображения знаменитых военачальников этой годины славы начали вытеснять из боярских домов наших изображения маршалов Наполеона; вспомнил и изображение Николая Николаевича, с виньеткой внизу, представляющею Раевского с двумя сыновьями по сторонам перед колонною, и подпись из слов его: „вперед, ребята! я и дети мои укажут вам путь!“ Отрадно верить, что эти слова и изображение исторически верны; но в те славные времена так много было чего-то великого, что и в подобном случае сомнение не должно иметь места. Есть такие эпохи в жизни, когда как-то верится неимоверному. Кто, например, поверит, что граф Орлов-Денисов, [80] сопутствуемый лейб-медиком Сир Вилье [81] и удалым урядником, взял в плен целый отряд французов; а между тем это правда, как правдивы слова „Певца во стане,“ что

Орлов отважностью орел!

Но не один „Певец“, когда уже я носил эполеты, сближал меня с чувством глубокого уважения к людям 12 года. Конечно нет, но по милости первого моего начальника

Николая Николаевича Муравьева, [82] в военно-учебном заведении которого я имел честь находиться, я уже знал некоторые подробности о действиях знаменитых военачальников того времени. Имя и заслуги Николая Николаевича Раевского мне были известны, как я уже говорил, не по одному „Певцу“ и портрету с виньеткой, но я уже видел в нем героя-полководца. Я знал о его действиях под Смоленском [83] и Роменвилем (Romainville) [84], где в той и другой битве он является витязем, достойным славы России. Знал в особенности о его подвигах на незабвенных полях Бородинских. [85]—Находясь в это время в одном городе с Николаем Николаевичем, я вспомнил многое, и невольно сожалел, что не мог быть ему представлен.

При воспоминании о Бородине, воображение быстро перенесло меня от начинающегося 21 года к 18, когда я, с другими моими товарищами-колонновожатыми, обозревал умиренные поля Бородинские. Начальник наш, генерал Муравьев, привел нас на эти поля, чтоб показать эту живую хартию небывалой битвы в летописях народов, славной для победителей и побежденных. Генералу сопутствовал сын его, гвардейского генерального штаба поручик, Михаил Николаевич Муравьев 5-й. [86] * Он как участник, хотя и юный, в самой битве, рассказывал нам все подробности военных действий. В том рассказе, среди других знаменитых имен, имя Раевского светлело огнем лучезарной славы.

Вскоре после нашего обозрения полей Бородинских, мне, в числе других, поручено было составить топографи-

* Что ныне генерал-лейтенант и член государственного совета.

ческий план окрестностей Бородина.—Этот план, как тогда говорили, предполагали поднести его величеству королю прусскому, [87] которого ожидали в Москву. Деятельно принялись мы за работу; на мою долю достался участок между самым Бородиным и д. Горкою, столь знаменитою пребыванием Кутузова в день Бородинской сечи.

На время работ наших, д. Горки памятны для меня неожиданною встречею с одним из генералов наших. Во время утренней моей работы близ большой дороги, в недальнем от меня расстоянии, остановилась почтовая коляска, из которой вышел генерал, [88] в сопровождении ад‘ютанта. Я продолжал работу. Генерал подошел ко мне, взглянул на планшет, и, обратясь к ад‘ютанту, потребовал зрительную трубку. Взяв трубку, он начал обозревать окрестности.

Указав влево, генерал спросил меня:—Это Семеновское?

— Точно так, ваше превосходительство, отвечал я.

— А, батарея Раевского, прибавил генерал, и относясь к своему адъютанту, начал рассказывать ход Бородинской битвы. В этом рассказе искрились имена Смоленского, [89] Воронцова, [90] Тучковых, [91] Уварова, [92] Платова, [93] Ермолова, [91] Орлова-Денисова [95] и других более или менее славных. Генерал рассказывал по-французски, но речь его, одушевленная соучастием, была речью русской славы. Стой на моем месте какой-нибудь гренадер Бородинской битвы, и тот бы, кажется, прислушался и понял, о чем идет дело. Помнят солдаты наши, и всю жизнь свою помнят, кто и как водил их в битвы, и по своему слагают они похвальные

песни, и под старость лет еще повторяют их, как отрадные отголоски минувшего.

Среди разговора генерала с ад'ютантом, под'ехал к нам офицер наш, Н. Ф. Бахметьев [96]. Генерал заговорил с ним, и узнав о его фамилии, спросил, не родня ли он генералу Бахметьеву [97]. Узнав мою фамилию, заговорил о князе А. И. Горчакове [98] *. В разговоре с генералом, Бахметьев титуловал его монсеньером: это меня несколько удивило; но по от'езде генерала я узнал, что это был его высочество принц Александр Виртембергский, родной брат государыни императрицы Марии Федоровны [99].

Все это я вспомнил и перечувствовал, встречая в одиночестве 1-й день 1821 года. Генерал, возвратясь с бала, застал еще меня не спящим; отворив дверь в мою комнату, он благосклонно приветствовал меня, но не забыл названия неженка.

Утром, в день нового года, в числе посетителей М. Ф., большею частью военных, я заметил одного щеголевато одетого, во фраке; его приятная и вместе величавая наружность невольно обратила мое внимание; его зоркий и проницательный взгляд обличал большие способности. Это был И. Я. Б[ухарин], [100] ** тогдашний киевский гражданский губернатор, бывший в 12 году начальником Рязанской губернии, которого воззвание к жителям Рязани вошло в состав истории того времени.

---

* Кн. Андрей Иванович Горчаков и Алексей Николаевич Бахметьев, как известно, участвовали со славою в Бородинской битве. Алексей Николаевич в этой битве лишился ноги.

** Впоследствие сенатор.

Через три дня мы оставили Киев. Федор Федорович, как предполагал, так и сделал: вместо Москвы остался на все контракты в Киеве. В замену его, к нам присоединился К. С. В., [101] и так мы отправились.

В Туле я должен был проститься с М. Ф., намереваясь пробыть в этом городе день или два.

— Что ты станешь здесь делать? спросил М. Ф.

— Мне необходимо навестить дядю моего, Г. Б...ва [102], который на старости лишился сына.

— А, он твой дядя; я его знаю: он был генералом под Аустерлицем, и потом отличился под Прейсиш-Эйлау.

— Как, а сын его умер? спросил К. С.: это Павел Б....в? [103]

— Да, умер, отвечал я с грустью.

— Жаль. Это был замечательный молодой человек: поэт, музыкант и отличный офицер в деле. Я с ним был под Красным.

Этот отзыв о моих родственниках как-то был отраден моему сердцу. Это чувство, основанное на родственном соучастии, я не могу назвать самолюбием, ибо самолюбие, как известно, не легко переносит похвалы другим в каком бы то роде ни было,—как не могу отнести к тщеславию, которое едва ли доступно юности, а к чему-то иному, похожему на то состояние самодовольствия, которое невольно иногда ощущает хотя и незнаменитый потомок по личной славе, но знаменитый по происхождению от славных предков. Подобное чувство, если еще не сильнейшее, овладевает каждым истинно русским, когда при нем славят родную ему Россию.

Пробыв два дня в Туле, я до того разнемогся, что едва стоял на ногах; но, вспомнив замечание М. Ф., что в их время молодежь лечилась скачкою, сел кое-как на почтовую тройку, и поскакал в Москву. И что же, не только что оправился, но не более, как через 16-ть часов езды, я уже был в Москве, где обрадованная родная семья меня встретила.

Кто расскажет эту радость свидания и опишет это лучшее ощущение сердца, кто выразит то, что так красноречиво в молчании, как чистейший восторг души, недоступный слову!

Но радость радостью, а служба службою. На другой день я явился к коменданту А. А. Волкову, [104] постоянно обязательному и благосклонному начальнику. Приветливость составляла отличительную черту его характера; в его лексикон, я думаю, и не входили слова: распечь, оборвать, несмотря на то, что по природе он был вспыльчив, а по службе вообще взыскателен.

Около двух лет, как я не был в Москве; и как многое в ней изменилось. Некоторые улицы уже совершенно были отстроены; на место обгорелых развалин возникли новые здания [105]. Новый главнокомандующий князь Дмитрий Владимирович Голицын, [106] назначенный на место графа Тормасова, [107] деятельно продолжал восстановление Москвы, начатое графом. Москва приметно похорошела, сделалась как-то многолюднее, веселее; но несмотря на все эти приятные впечатления, когда я узнал, что граф Тормасов уже скончался, то какое-то грустное чувство наполнило мое сердце.

Странное действие производит иногда воспоминание, оживляя во всем блеске и силе первоначальные впечатления прошедшего. Граф Тормасов, по обыкновенным, условным отношениям, был для меня совершенно посторонним, но при известии, что его нет на свете, мне стало жаль графа, как близкого, как родного. С именем Тормасова соединялось одно из редких воспоминаний моего детства, когда я узнал о победе, одержанной им под Кобрином [108].

Вот как это было. Находясь в 12-м году в подмосковной нашей деревне, [109] будучи еще ребенком, наслушавшись о войне, я начал готовиться к битве, и для этого схватив однажды из оружейной моего отца какой-то ятаган, убежал в сад, и ну там точить его на каменном дорожном катке. Отец мой, [110] прогуливаясь в это время по саду с соседом своим А. А. У., [111] застал меня на самом действии моего вооружения.

— Что ты делаешь? спросил он ласково.

Несколько смутясь, я отвечал, что собираюсь драться с французами.

— Опоздал, мой друг,—возразил отец мой, взглянув на соседа с улыбкою:—Граф Тормасов без тебя поколотил их.— При этом отец продолжал говорить с соседом, повторяя нередко слово Кобрин. Это незнакомое мне слово почему-то заняло меня, и я начал приставать то к тому, то к другому, что такое Кобрин, и наконец таки добился, что это название места, где граф Тормасов разбил неприятеля.

Между тем ятаган у меня взяли и отнесли на место. При этом мне довелось выслушать историю самого ятагана, и я узнал, что это оружие у нас наследственное, что этот

ятаган—родной мой дядя, В. И. Горчаков, [112] приобрел с полком своим, в числе других оружий, от паши во время Мачинской битвы [113].

При этом я не могу не вспомнить еще одно из происшествий моего детства, по сущности своей и неважное, но не менее того по выражению замечательное.

Прогуливаясь как-то по обновляемой Москве по пустырям и между еще тогда неотстроенных зданий, в сопровождении старого слуги, исполнявшего должность моего дядьки, я как-то на улице повстречал графа [114]. Граф ехал четверней в карете. Заметив главнокомандующего, я снял свой картузик и вежливо раскланялся. Граф отвечал мне благосклонным, внимательным поклоном, как будто он встретил знакомого, и я как-то бессознательно был доволен этим поклоном.

Но как дети, иногда из шалости, кланяются и незнакомым, то мой дядька, заметив мой поклон, спросил меня: кому вы, батюшка барин, изволите кланяться?

— Главнокомандующему, отвечал я.

— ...... Ах я старый дурак! произнес мой Григорьич: [114] со слепу-то и прозевал нашего милостивца, графа Александра Петровича.

При этих словах я значительно посмотрел на старика.

— Да ты разве его знаешь? спросил я.

— Хотя не имею счастия, но он, сударь, наместник: уж если вы изволите кланяться, так нам и поготово следует; а к тому же это, батюшка, воин великий, про него и песня сложена: „Слава генералу Тормасову, поразившему силы вражеские“. Я, сударь, доложу вам, продолжал словоохотный Григорьич, во французский-то год, грешный человек, еще по театрам хаживал, тоже сударь из музыкантов было много знакомых, особенно из смирновских; у Михаилы Петровича [115] музыка роговая была отличная, сударь, а театр-то тогда был на Знаменке, [116] если изволите помнить; да куда вам, сударь, вы еще махонькие были. Так вот, батюшка, и был я в театре, не то перед госпожинками, [117] не то вскоре после; как там начали петь: „Слава генералу Тормасову, поразившему силы вражеские“, так только стон пошел, верьте господу, кто хлопает в ладоши, кто ура кричит, а кто навзрыд так и плачет. Я признаться сказать, не хлопал,—что, мол, хлопать в ладоши, не маленький,—а уж накричался, да наплакался вдоволь.

— Да о чем же ты плакал?—спросил я, не постигая еще в те дни, что глубокая радость сердца и грусть равно выражаются слезами.

— Эх, сударь, как же так, вы изволите спрашивать: от радости, батюшка, дело известное.

Так иногда простолюдины умеют ценить и помнить деяния знаменитых.

Сверх же детских моих воспоминаний о графе, я на это время помнил его, как первого главнокомандующего, которому я в числе других был представлен при производстве нашем в офицеры; а эта эпоха вступления на поприще военной жизни надолго отзывается чем-то отрадно памятным.

---

* У отца Нниолая Михайловича Смирнова, что ныне калужский гражданский губернатор, [118] действительно, как утверждают современники, роговая музыка была отличная.

Все это оживилось в моем воспоминании, когда я от коменданта ехал под Донскую, в дом графини Орловой-Чесменской, [119] чтоб явиться к М. Ф.

При свидании генерал сообщил мне, что он намерен пробыть в Москве не более недели, но мне дозволяет, если я хочу, до конца февраля остаться в Москве, на праве 28-ми-дневного отпуска. Само собою разумеется, что я воспользовался этим дозволением и остался.

Но генерал действительно вскоре уехал; он почему-то спешил в Киев.

В продолжение дней моего отпуска, по чувству благодарности, я уже конечно не раз посетил Николая Николаевича Муравьева, [82] который каждого из нас, принадлежавшего к его военно-учебному заведению, принимал с каким-то особым соучастным радушием

Как я живо помню эти небольшие комнаты во дворе, [120] где жил сам Николай Николаевич и где помещались собственные его классы преподавания военных наук! Главный же наследственный его дом был в то время занят Английским клубом. [121] Помню и то, как мы иногда, слушая увлекательные лекции Н. Н., засматривались подчас на вечеровые огни клуба, на эти вечные биваки вечного кейфа, и как иногда какой нибудь тюринист * с кием отвлекал наше внимание от какой-нибудь системы Вобана [122], или от рассказа о блокаде, например, Гамбурга и т. п. Если же на тюринисте были эполеты, то внимание наше усиливалось Но не долго подобное развлечение имело

* Тюря—известный бильярдный игрок.

права свои: генерал вскоре это заметил—и опущенные шторы сосредоточили внимание к лекциям.

Не огромны были комнаты, занимаемые Н. Н., но немало полезного совершилось в них.—Частное в начале заведение просвещенного и благонамеренного человека послужило основанием замечательному учреждению Военной Академии, но еще известная только под произвольным именем Муравьевской школы, [123] эта школа обращала уже внимание знаменитых. Этот скромный приют образования, в 18-м году, не раз осчастливил своим посещением великий князь Николай Павлович. [124]

Быстро протекали дни моего отпуска, но и в эти немногие дни много мне довелось переслушать толков о Пушкине.

Поэму «Руслан и Людмила» все прочли, и каждый судил о ней по своему. иной возглашал, что подобную поэму не следовало называть поэмою; другие же, что это такого рода сказка, что не стоило бы писать ее стихами, давая при этом рифме какое-то особое значение. А встречались и такие, которые, разумеется, бессознательно, а так, как говорится, зря, сравнивали самую поэму с Ерусланом Лазаревичем. [125]

Отзывы Вестника Европы находили своих поборников: приговоры жителя Бутырской слободы [126] почитались не только дельными, но в особенности замечательными и остроумными.

Князь П. А Вяземский, [127] сочувствуя развивающемуся с такою быстротою таланту Пушкина, не одолел своего

негодования против издателя Вестника Европы, и тогда же написал свое послание к Каченовскому: *

Перед судом ума сколь, Каченовский, жалок
Талантов низкий враг, завистливый зоил... и пр.

Это послание везде читали и перечитывали, но большею частью читателей занимало не самое послание, а кунштик первого стиха. Это стихотворение Вяземского,—до напечатания в том же Вестнике,—ходило по рукам в списках. Тогда как-то в особенности любили переписывать, и поэтому не удивительно, что Грибоедов в своей комедии „Горе от ума“ заметил эту страсть к переписыванию чего бы то ни было стихотворного, а не только замечательного послания Вяземского.—Хотя альбомы и до сих пор сохраняют права свои, но в настоящую минуту они более составляют украшение письменных столов, на которых почасту ничего не пишут,—отличаются более щеголеватостию наружной отделки, нежели внутренними вкладами; а в описываемый мною период времени, т. е. 21 года, страсть к альбомам и списывание стихов были общею страстью: каждая девочка от 15 лет возраста и восходя до 30, непременно запасалась альбомом; каждый молодой человек имел не одну, а две, три, или более тетрадей стихов. дельных и недельных, позволительных и непозволительных. Нигде не напечатанные стихотворения как-то в особенности уважались некоторыми, несмотря на то, что хотя бы стихи

* См. Вестник Европы 1821 года.

Это послание было написано, кажется, по поводу спора о Карамзине, а не о Пушкине, и напечатано сначала в Сыне Отечества, а перепечатано в Вестнике Европы, с примечанием Каченовского. М. П. [128]

сами по себе и не заслуживали внимания, как по цели, так равно и по изложению.

В подобных сборниках не раз мне случалось встречать стихи Пушкина и не редко в таком безобразном искажении, что едва можно понять было, в чем дело; но между тем каждое стихотворение непременно было скреплено его именем; так, например, стихи его Дориде, [129] написанные в 20 году, в 21 я прочел у одной из любительниц с следующими изменениями: вопервых: К ней, а далее:

Я верю: я любим, возможно ль вам не верить;
Вы милы, хороши, так можно ль лицемерить;
Все непритворно в вас ланит весенних жар,
Стыдливость милая, богов бесценных дар,
Уборов и плечей живая белоснежность
И ласковых имян младенческая нежность.

Тогда как в подлинных к Дориде:

Я верю: я любим, для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, Харит бесценный дар,
Нарядов, и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.

Прочитав предыдущее подражание, я невольно спросил у владетельницы альбома: кто вам сказал, что это Пушкина?

— О, наверное,—отвечала она простодушно.

— То-то и есть, что ваше верное, смею сказать, не совсем верно.

— Да как же так?—возразила она с удивлением:—эти стихи мне написал мой кузен А., а он должен знать, он

сам сочиняет, да и очень дружен с Пушкиным. Мой кузен сам говорит, заключила она, что Пушкин ничего не пишет без его совета.

— Все это, положим, может быть,—заметил я, смеясь;— но этот список не совсем-то верен.

Можно себе представить, как была удивлена моя любительница стихов, кузина мнимого наперсника Пушкина, когда я прочел ей подлинные стихи Дориде.

— Эти стихи Дориде, сказала она, несравненно лучше моих; я мои непременно уничтожу.—И с этим словом листок вырван, и настоящее заменило поддельное; но давно ли та же кузина А. восхищалась стихами К ней. Так нередко большая часть довольствуется иногда посредственным, не зная лучшего, и блестящие фразы принимает за что-то дельное.

Но одно ли это произведение Пушкина без всякой основной причины потерпело искажение? Сколько выходило и до сих пор выходит, под его именем, таких произведений, которые по содержанию и изложению недостойны поэта.

Конечно, не стану спорить, что в первоначальные дни поэтической его жизни, Пушкин, под влиянием современных умозрений, под влиянием общества разгульной молодежи писал много кой-чего такого, которое по звучности стиха хотя и могло быть увлекательно, но по изложеиию, цели и последовательности не могло выдерживать достодолжной критики, словом, было ярко, но неблаготворно для жизни слова.

Все подобные произведения хотя и имели некоторый успех в рукописном обращении, но не могли иметь и не

имели успеха глубокого впечатления, как не проникнутые творческою силою убеждения самого поэта.

Об этом отделе произведений Пушкина выскажем впоследствии собственное его мнение: оно по личному, высокому беспристрастию самого Пушкина даже к собственным своим произведениям, говорит лучше, нежели все умствования посторонних мыслителей.

Но однако и этот отдел его произведений у некоторых не оставался без замечаний: иные свои отметки излагали даже стихами; из подобных стихотворений предложу одно, написанное, как мне говорили, тогда же одним поэтом-юношею. Это стихотворение как-то случайно сохранилось в моих бумагах; за верность его списка не ручаюсь, но во всяком случае нахожу его замечательным. Вот оно:

Счастлив, кто гласом твердым, смелым,
Вещать в пороках закоснелым
Святые истины рожден!
И ты великим сим уделом,
О муз любимец, награжден!
Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей неистовых пристрастья
В друзей добра и правоты.
Но граждан не смущай покоя,
Поэта не мрачи венца,
И лиру дивную настроя,
Смягчай, а не тревожь сердца. [130]

В этих стихах, как мне кажется, видны начатки сознания о назначении поэта, благотворность направления, а не та жгучесть, которая почасту только что разрушает,

но не творит; впрочем не спорим со Скалозубом, [131] который в простоте сердца полагал, что Москва оттого хорошо выстроилась, что сгорела:

Пожар способствовал ей много к украшенью.

Что до этого, каждый может сказать, как ему угодно; но при воспоминании о Пушкине невольно возникает вопрос—был ли он таким в действительности, каким казался некоторым, готовым на порицание? О, конечно, нет: минутное увлечение, порыв юности, соприкосновение с людьми исключительного направления разве составляет основу главного свойства даже и в обыкновенных людях, а не только в такой личности, как Пушкин?

Но об этом после.

Огпуск мой кончается, и я снова должен возвратиться в Бессарабию.

Пред от'ездом из Москвы, в бытность мою у Н. Н. Муравьева, [82] я встретил графа Петра Александровича Толстого, [132] * который в это время постоянно находился в Москве, как начальник 5-го Пехотного корпуса. Эта встреча для меня памятна: я так много слыхал о графе от Николая Николаевича. Николай Николаевич Муравьев в 12-м и 13-м годах был начальником штаба при графе; эти служебные соотношения обратились для них впоследствии в приязнь постоянную. Из разговора графа с Николаем Николаевичем я узнал, что начальник главного штаба 1-й армии барон Дибич [133] ** в Москве, и по совету Николая

* Русский посол при Наполеоне в 1808 г., и в 1828 г. главноначальствующий в С.-Петербурге.

** Впоследствии фельдмаршал и граф Забалканский.

Николаевича на другой же день имел честь представиться барону.

При представлении, барон в самых вежливых выражениях благодарил меня за посещение, как будто я был его близкий знакомый, или почему-либо особенно ему известен. Эта благосклонность, признаюсь, еще более утвердила во мне то уважение, которое я уже имел к барону, как к замечательному участнику в битвах под Клястицами [134] и Полоцком. [135]

Быть может, покажется странным, как один привет мог увеличить мое уважение, но видно такова сила привета; это свойство души по благотворным его действиям необходимо в каждом и для каждого; но в военачальнике, смело можно сказать, оно—достоинство, как сила одушевления, как выражение жизни сердца, которое ведет в бой, как на праздник.

Справедливо кто-то заметил, что приветливый отказ лучше грубого одолжения: в первом случае подозреваешь невозможность исполнения просьбы, а во втором хотя и получаешь желаемое, да как-то с усталью, от которой тяжело на сердце, как будто оттого, что лишен отрадного чувства быть благодарным, лишен собственного привета; однако все эти положения, разумеется, не относятся к тем, которые мягко стелют, да жестко спать.

Барон Дибич, по роду службы, принадлежал к нашей части, и мы как-то гордились его известностью.

При этом представлении моем барону, я узнал от него, что М. Ф. женится на К. Н. Р. [136]. Поспешность генерала возвратиться в Киев для меня об'яснилась. Когда

я откланивался барону, то барон поручил мне поздравить М. Ф.

— Прошу вас поздравить М. Ф.,—сказал Иван Иванович:—желать ему счастья я почитаю излишним; он уже счастлив, вступая в это достойное семейство.—Все это барон проговорил так быстро, что я едва мог проследит за его речью·

В эти дни моего пребывания в Москве я нередко видался с прежним моим товарищем А. В. Ш[ереметевы]м, [137] который жил в Армянском переулке в доме своего дяди, И. Н. Т[ютче]ва, [138] где имел случай встречаться с сыном его Ф. Т. [139]. Его замечательные способности, несмотря на юность лет, восхищали многих, в том числе и его преподавателя русской словесности С. Е. Раича [140] столь известного своими литературными занятиями.

Впоследствии Ф. Т. оправдал похвалы и ожидания. Его произведения, писанные под небом Германии, сохраняют всю свежесть русской речи и проникнуты неподдельным вдохновением. Пушкин один из первых заметил их достоинство. [141] В свое время, если будет возможно, я помещу некоторые из сочинений Ф. Т[ютче]ва, в моем дневнике, и в особенности те, которые случайно сохранились у меня в рукописи.

Чрез два дня после моего представления барону Дибичу, я оставил Москву. До Тульчина с К. Т. [142] и К. Б. [143] мы отправились вместе.

Проезжая Киев, я по прежнему с моими товарищами остановился в Зеленом. [67] Первою моею заботою по приезде было то, чтоб узнать, где Ф. Ф., и что с ним, и тут же я узнал, что Ф. Ф. действительно ездил к своей

супруге, и, отобедав у ней, возвратился в Киев, где пробыл все контракты, и на днях только что уехал, но неизвестно куда. Дальнейших расспросов делать было некогда, каждый из нас спешил явиться на срок к своему месту; но покуда прописывали наши подорожные и готовили лошадей, мы расположились в Киеве отужинать; в это время от какого-то проезжающего я узнал о восстании греков. [144] Это известие тут же расположило нас к разговору о войне.

— Очень может быть, сказал К. Т. с важностью, что это движение заставит нас подраться, за кого и как, это увидим после, но война, как я полагаю, неизбежна.

К. Б. все это выслушал со вниманием, и смеясь предложил К. Т. быть у него в отряде.

— Да это я могу предложить,—возразил К. Т. пресерьезно. При этом у них завязался спор о старшинстве и до того увеличился, что едва не дошел было до дуэли. Это спорили два поручика, К. Т. молодой гвардии, а К. Б. старой; основой возражений К. Т. было то, что он прежде произведен в поручики, а К. Б. утверждал, что он сверх того, что старой гвардии, считался ад'ютантом старшего генерала: это также старшинство, да и не малое, прибавил К. Б. Но слова: лошади готовы! прекратили споры. Переезд до Василькова по дурной дороге охладил вспышку: мои спорщики помирились, и все пошло, как следует; а сколько возникает подобных споров и даже самых гибельных ссор от подобной ничтожной причины.

В первых числах марта я возвратился в Кишинев. Киевские слухи о восстании греков совершенно подтвердились; я уже не застал князей Ипсилантиев; все они пе-

решли в заграничную Молдавию; вскоре и последний из них, князь Дмитрий, * также через Кишинев проехал в Яссы. [145].

Явясь к генералу Орлову, я снова свиделся с Пушкиным, который встретил меня выражениями приязни и радушия. Наружность его весьма изменилась. Фес заменили густые темнорусые кудри, [146] а выражение взора получило более определительности и силы. В этот день Пушкин обедал у генерала. За обедом Пушкин говорил довольно много и не скажу, чтобы дурно, вопреки постоянной придирчивости некоторых, а в особенности самого М. Ф., который утверждал, что Пушкин также дурно говорит, как хорошо пишет; но мне постоянно казалось это сравнение преувеличенным. Правда, что в рассказах Пушкина не было последовательности, все как-будто в разрыве и очерках, но разговор его всегда был одушевлен и полон начатков мысли. Что же касается до чистоты разговорного языка, то это иное дело: Пушкин, как и другие, воспитанные от пеленок французами, употреблял иногда *галлицизмы*. Но из этого не следует, чтоб он не знал, как заменить их родной речью.

Во время этого же обеда я познакомился с капитаном Р[аевски]м, [147] большим пюристом—грамматиком и географом. Этот капитан, владея сам стихом и поэтическими способностями, никогда не мог подарить Пушкину ни одного ошибочного слова, хотя бы то наскоро сказанного, или почти неуловимого неправильного ударения в слове. Капитан Р[аевски]й, по назначению генерала, должен был постоянно находиться в Кишиневе при дивизионной квартире. Простое обращение капитана Р. с первой минуты как-то сблизило нас, и до того, что несмотря на разность лет наших в несколько дней мы сошлись с ним на ты. Но это сближение тут же не помешало нам о чем-то поспорить; да и вообще при каждом разговоре спор между нами был неизбежен; особенно, если Пушкин, вопреки мнению Р[аевско]го, был одного мнения со мною. В подобных случаях, для каждого капитан Р[аевски]й показался бы несносным, но мы, как кажется, взаимно тешились очередным воспламенением спора, который, продолжаясь иногда по нескольку часов, ничем не оканчивался, и мы расходились по прежнему добрыми приятелями, до новой встречи и неизбежного спора.

* Впоследствии правитель Греции.

Вскоре по возвращении моем из Москвы в Кишинев, генерал О[рло]в [5] уехал в Киев для женитьбы на дочери Н. Н. Р[аевско]го. [14] Начальство над дивизией принял бригадный генерал Пущин. [4].

Обязательное обращение Павла Сергеевича Пущина, его образованный ум и постоянная любезность в коротком обществе невольно сближали с ним многих; мне же, как служащему, по обязанностям службы часто приходилось бывать у генерала. Пушкин, как знакомый, нередко навещал Павла Сергеевича, и так почти ежедневно мы с Пушкиным бывали вместе. Еще же нередко по вечерам мы сходились у подполковника Л[ипран]ди, [148] который своею о с о б е н н о с т ь ю не мог не привлекать Пушкина.

В приемах, действиях, рассказах и образе жизни подполковника много было чего-то поэтического,—не говоря

уже о его способностях, остроте ума и сведениях. Л[ипран]ди поражал нас то изысканною роскошью, то вдруг каким-то презрением к самым необходимым потребностям жизни, словом, он как-то умел соединять прихотливую роскошь с недостатками. Последнее было слишком знакомо Пушкину. Не имея навыка к рассчетливой и умеренной жизни, и стесняемый ограниченностью средств, Пушкин также по временам должен был во многом себе отказывать.

Молодость и почти кочевая жизнь Пушкина, видимо, облегчали затруднения; к тому же с каждым днем Пушкин ожидал перемены своего назначения; ему казалось, что удаление его в южный край России не могло долго продолжаться.

Нередко при воспоминании о царскосельской своей жизни, Пушкин как бы в действительности переселялся в то общество, где расцвела первоначальная поэтическая жизнь его со всеми ее призраками и очарованием. В эти минуты Пушкин иногда скорбел; и среди этой скорби воля рассудка уступала впечатлению юного сердца; но Пушкин не долго вполне оставался юношею, опыт уже холодел над ним; это влияние опыта, смиряя порывы, с каждым днем уменьшая его беспечность, заселяло в нем новые силы.

Развитое Ипсилантием знамя и движение греков нисколько не воспламенили Пушкина, и, в начале, ни один из поэтических его звуков не был посвящен делу греков; может быть потому, что первоначальные действия самого Ипсилантия, несмотря на всю важность неожиданных последствий, не имели в себе ничего уважительного: Ипсилантий в Яссах и в окрестностях предался вполне обычным веселостям, окружил себя одним блеском власти, не утвердив ее силы.

В самой главной квартире Ипсилантия и отдельных отрядах Этерии[149] возникшие беспорядки и неповиновение разрушили единство действия; но несмотря на подобное разрушение, с весною 21 года, среди мрака долголетней неволи, уже загорались лучи независимости греков.

Странное столкновение событий: в то же время, когда возникала угнетенная Греция, и восходила звезда древней Эллады, среди пустынного океана угасала иная звезда лучезарной славы * [150]. И тот, кто так недавно возмущал племена и народы своею неодолимою силою, исчезал с лица земли, как невольник при кликах крамол и неволи.

В. Горчаков.

(Продолжение впредь).

---

* В Кишиневе везде читали и перечитывали статью, перепечатанную в наших газетах из Гамшейрского Телеграфа [151], в которой было сказано, что Бонапарте, с некоторого уже времени находившийся в опасной болезни, из'явил желание говорить с губернатором острова св. Елены сиром Гудсоном Ловом. [152] Полагали, что Наполеон чувствовал приближения конца своего.

В. П. Горчакова.

11. В. П. Горчаков. «Воспоминание о Пушкине». По поводу статьи «Еще о Пушкине», помещенной в № 11-м «Общезанимательного вестника».

Во многих статьях о Пушкине, помещенных в нащих журналах и даже в самом собрании его сочинений, изд. г. Анненкова, предложившего целый том материалов для биографии Пушкина, мы не могли не заметить некоторых погрешностий в указании обстоятельств из жизни Александра Сергеевича; но все этого рода недостатки или промахи нисколько не поражали нас, а тем менее возбуждали негодование наше потому именно, что в каждом из подобных очерков мы видели добросовестность труда, остроумные соображения и указание на источники самых сведений. В статье же, случайно нами прочитанной и вызвавшей нашу статью, мы не встречаем ни одного из приведенных нами условий, а находим одни голословные приговоры с примесью возмутительной неправды. Мы даже не знаем и не можем понять, с какою целию редакция решилась поместить подобную статью в своем издании? Неужели для того только, чтоб украсить его именем Пушкина? Но если знаменитость имени придает ценность какому-либо изданию, то та же знаменитость налагает непременную

обязанность быть строго разборчивым относительно статей, имеющих притязание на изображение характера людей знаменитых.

Редакция „Общезанимательного Вестника", поместив статью о Пушкине в отделе Биографические Заметки, напечатала при этой статье выноску следующего содержания: „Предлагаемый здесь читателям нашим рассказ взят со слов К. И. Пр.... ла [153], коренного молдаванина и помещика нашей Бессарабии. Он провел с Пушкиным в одних гостиных, а гостиных этих в Кишиневе не много, слишком год. Почти однолетки, они сошлись с ним и память об А. С. не покидает старого соперника его в деле волокитств и танцев". Эта выноска, конечно, сделана с тою целию, чтоб подкрепить достоверность показаний; но мы надеемся, что вследствие нашего отзыва подобное подкрепление не достигнет своего назначения.

Признаться сказать, нам бы не хотелось входить в подробный разбор литературного достоинства самой статьи и повторять неуместные замечания ее; но уступая необходимости, на первый же раз мы не можем не заметить, что эта статья, по самому изложению, не есть собственно рассказ, как ее назвали, и как их обыкновенно пишут, а скорее разговор между ответчиком и следователем; словом, этот так называемый рассказ походит на следствие, и даже на такое следственное дело, в котором ответчик отклоняется от прямого ответа и, путая время и место события, как бы умышленно желает затемнить самое дело. Следователь делает неожиданные вопросы, как бы для того, чтоб сбить, смешать ответчика, и под конец доводит ответчика до того,

что ответчик на вопрос следователя: „Да не помните ли вы еще чего-нибудь?“ отвечает энергически:—„Ну уж, батюшка, отстаньте вы от меня. Стар я стал, ничего не помню; да и где же все помнить!“

Имя следователя или сочинителя статьи означено буквами К. С. Кто это, нам неизвестно; мало ли слов и имен начинаются с буквы К. Долго пришлось бы нам доискиваться до прямого значения этой буквы, если б сам ответчик не проговорился и не высказал нам, что его зовут Карл Иванович. И так, буквы К . . И . . означают не иное что, как имя: Карл Иванович. Но с другой стороны, едва ли можно быть в одно и то же время коренным молдаванином и Карлом Ивановичем; нам даже показалось странным, как г. следователь К. С. с первого же раза не заметил подобного противоречия. Ведь не обратил же г. К. С. внимания и на то, что голословные показания Карла Ивановича ничего не доказывают и доказать не могут. Например: что значит быть соперником в танцах? Положим, что неизвестный нам и таинственный Карл Иванович, и в то же время коренной молдаванин, был танцмейстером; положим, что он с особенным искусством исполнял все молдавские танцы, известные под общим именем джок, и пр.; но Пушкин никогда танцмейстером не был—это верно, как верно и то, что соперниками в танцах могут быть только танцмейстеры или знаменитые, по своему искусству, танцовщики-солисты; другого соперничества в этом роде мы не понимаем. Карл Иванович уверяет, что он был соперником Пушкина в деле волокитства; это также несправедливо: Пушкин, хотя и был поклонником красоты, но никогда

волокитою не был, потому именно, что он постоянно уважая собственное достоинство, уважал и ценил достоинство и доброе имя женщины. Это уважение вполне соответствовало возвышенным свойствам прекрасной души его, чуждой, как мы знаем, холодного разврата и обольщений—этих двух неотлучных спутников волокитства, как мы его понимаем.

Обращаемся к главному содержанию статьи:

— Так вы были лично знакомы с Алексадром Сергеевичем? вопрашает К. С.

— Как же,—отвечает Карл Иванович,—во время пребывания его в Кишиневе, мы вместе отплясывали на балах и вечерах.

— Ну, а как танцовал Александр Сергеевич?

— Постоянный дирижер всех попурри и мазурок.

— А как принимали его дамы? я думаю, с ума сходили?

— Пожалуй, что так, да и в самом деле: всегда новый, вечно оригинальный, Пушкин не мог не нравиться.

И в доказательство всего этого, Карл Иванович заключает: „Изволите видеть, говорит он, танцовали мы тогда часто; танцующие были постоянно одни и те же члены нашего маленького общества. А что ж вы думаете: танцы нам не надоедали; всегдашний дирижер наш один оживлял их... Редко, редко повторит, бывало, старую фигуру, всегда выдумает что-нибудь новое. Не задолго до выезда его из Кишинева, собрались мы, не помню у кого в семействе, не для танцев, а так побалагурить. Приехали и девицы, приехали и молодые люди—давайте танцовать! давайте. Съимпровизировали мазурку и Пушкин начал, прошел он один

тур кругом залы (!), остановился и задумался. Потом быстро вынул из кармана листок почтовой бумажки, весь исписанный стихами, подбежал к лампе, зажег и передал своей даме! „Passez plus loin! Voyons mes-dames *, у кого потухнет, с тем (!) танцую,—берегитесь“. Общество осталось совершенно довольно, как фигурою, так и ее изобретателем.

Не сомневаемся, Карл Иванович, что вы могли встречаться с Александром Сергеевичем у общих наших знакомых, что вы могли отплясывать с ним попурри и мазурки. Пушкин действительно принимал участие в этом роде светских развлечений, но настолько, насколько принимают участие все танцующие молодые люди светского общества; постоянным дирижером танцев, как вы говорите, он никогда не был и даже чуждался пальмы первенства этого рода, да и вообще надо вам напомнить, как-то не любил передовой роли в общественном быту. От чего, кто знает: по свойственной ли ему скромности, как присущей всем более или менее даровитым людям, или по иной какой-либо причине—это все равно. Пушкин любил дамское общество, но заметили ли вы, Карл Иванович, что, вместе с тем, в том же обществе он был застенчив, и что тогдашнее кишиневское дамское общество, за весьма немногими исключениями, при всей своей обязательности, не было еще до того развито, чтоб оценить вполне личные достоинства нашего знаменитого поэта; да и вы сами, Карл Иванович, сказав о Пушкине общие места, что он был всегда нов и вечно оригинален, не нашли ничего привести в доказательство,

* Передавайте дальше. Увидим сударыни.

как обратиться снова к танцам и рассказать нам о выдуманной им фигуре, которая в сущности неприложима; ибо в каждом танце этого рода фигуру, исполненную первым кавалером, следующий обязан повторять, и т. д.; а при этом неизбежном условии, можно себе представить, какая должна быть суматоха, опасение обжечь себя или другого. Притом надо предположить в каждом из танцовавших некоторую запасливость относительно бумаги. Нет, Карл Иванович, тут что-нибудь да не так, и вы сами, как бы сознавая неудобство этой фигуры, заставляете самого Пушкина предостерегать дам от чего-то, но от чего именно вы не говорите, и мы не понимаем; не понимаем и того, как могла вам придти на мысль лампа, ибо ламп, как нам известно, еще тогда не употребляли: на всех кишиневских вечерах и балах, хотя при довольно скромном освещении, на столах и в люстрах горели восковые, а подчас и сальные свечи, и все это делалось не из предпочтения воскового и сального освещения, а по самой простой причине, что в то время с лампами еще не умели обращаться. При этом следует заметить, что упрощенный механизм ламп и производство прочных стекол составляют принадлежность нового времени; к тому же, этот род освещения не только в Кишиневе, но даже и в самой Москве, по той же причине, еще не был во всеобщем употреблении. Доказательством тому служат объявления, сохранившиеся при Ведомостях 20 годов, следующего содержания: отпускается во услужение лакей видный собою, умеющий ходить за лампами. Следовательно, этот уход за лампами составлял, по понятиям того времени, род некоторого знания или ловкости, которой, как вам не

безызвестно, нельзя было требовать от кишиневской прислуги, состоявшей большею частью из чернорабочих, неуклюжих цыган и цыганок, этих полунегров молдаванского боярства. Все эти замечания наши могут вам показаться мелочными, даже придирчивыми, и вы, может статься, заметите нам, что не все ли равно, что бумажка, исписанная стихами, зажжена на лампе или на свече; конечно, все равно, но не для составления материалов для будущей истории нашего быта и вместе нашей литературы, потому что по подобным неверным показаниям, пожалуй, иной может заключить, что и в остальном есть своего рода неверности, в которых действительно у вас нет недостатка. Что же касается до нас, то неточность ваших показаний, Карл Иванович, привела нас к двоякому сомнению: во-первых, мы начинаем сомневаться во укоренившемся мнении, что немец аккуратен, а во-вторых, и во мнении, выраженном кн. Вяземским:

Немец к мудрецам причислен,
Немец дока до всего,
Немец так глубокомыслен,
Что провалишься в него.

Расскажем с некоторою подробностью: у кого именно и когда был этот вечер, и напомним вам о некоторых лицах, принимавших участие в этой вечеринке. Вам, Карл Иванович, как коренному молдаванину, как вы себя называете, нельзя не знать, что жил в то время в Кишиневе известный своим гостеприимством Егор Кириллович Варфоломей, который, как говорится, жил открытым домом, был богат или казался

богатым, состоял на службе и был членом верховного совета. Все это, вместе взятое, давало ему право на т. н. положение в свете. Знаем и помним, что гостеприимство Егора Кирилловича [154] и радушие жены его Марьи Дмитриевны [155] постоянно сближали с ними многих. Мы с Пушкиным были постоянными их посетителями. Случалось ли нам заходить к Егору Кирилловичу утром, когда он возвращался из верховного совета, Егор Кириллович непременно оставлял нас у себя обедать; зайдешь ли, бывало, вечером, так от ужина не отделаешься: Егор Кирилович уверял нас, что нам следует остаться у него то потому, что он заказал плацинду, то потому, что Марья Дмитриевна сама приготовила каймак. Эти по преимуществу молдавские кушанья, как и вообще стряпня цыгана-повара и его одобести*, конечно, не совсем соответствовали нашему вкусу, но самая сердечность, с какою нас принимали, не могла не привлекать нас: юность чутка к радушию и не так взыскательна, как возмужалые годы. И вот, как теперь помню, в конце января, в четверг, часов в шесть вечера, проходя с Пушкиным мимо дома Варфоломея, в угольной его комнате, носившей звание кабинета, мы заметили огонек:—этот приветный свет приветного дома в одно мгновение побудил нас войти в него, и мы вошли. Егор Кириллович встретил нас с каким-то особенным радушием; сильнее обыкновенного он захлопал в ладоши, призывая своего чубукчи Арнаута Иордаки, быстрее обыкновенного проговорил: „А да фрате чубучи, кум дулица**, и все это появилось,

* Известное молдавское вино.
** Т.-е. дай трубки и варенья.

как будто поспешнее обыкновенного; даже сама Марья Дмитриевна ускорила обычную быстроту своего появления из боковых дверей, и при встрече с нами обрадовалась нам как-то сильнее обыкновенного. Что все это значило на первую минуту,. нам было трудно понять; но вскоре все дело об'яснилось тем, что в этот день после обеда Егор Кириллович проснулся веселее обыкновенного, и при этом расположении пожелал устроить у себя вечеринку; но эта импровизация с разу же была поражена затруднением: как пригласить свитских офицеров, а без этой блестящей молодежи тогдашнего кишиневского общества бал не в бал, вечер не в вечер. И вот на выручку из затруднений вдруг сама судьба посылает нас, постоянных членов милой молодежи. Егор Кириллович, поверив нам свой замысел, сожалел, что эта же мысль не пришла ему утром, что тогда бы он успел всех об'ездить и попросить; но теперь он совершенно не понимает, как бы это устроить.—К Костаки Прункулу [156], к Костаки Крупенскому [157] и другим из наших, как могу сказать, говорит он, я послал и они будут; но ваши приятели, это другое дело, как могу сказать, свита императорская—это нельзя.—Но за этим нельзя и любимым его как могу сказать, последовало фортомульцемеско, или покорнейше благодарю, когда мы, в один голос с Пушкиным об'явили, что все это устроим, и что нам для этого нужно только сейчас же видеть Пульхерию Егоровну [158]. Обрадованный старик, без дальних расспросов за чем и почему, в то же мгновение, чтоб исполнить наше требование, крикнул: Ге! фрате! м-о-й! и на этот повелительный возглас явился тотчас тот же Арнаут Иордаки, мгновенно принял и

исполнил повеление своего властелина. Из той же боковой двери, в полунаряде, со словом: что угодно, вошла Пульхерия. Неожиданность встречи с нами до того смутила бедную, что она с словом: ах!.... чуть было не скрылась снова. Но отец, смеясь и радуясь застенчивости милой дочери, остановил ее уверением, с примесью обычного его как могу сказать, что с такими приятелями, как мы, ей церемониться не следует, и в то же время рассказал ей, что мы взялись пригласить наших кавалеров. Обрадованная Пульхерия в свою очередь рассказала нам, кто из молодых дам и девиц приглашены ею, и мы предложили еще пригласить некоторых, на что она охотно согласилась. При этом Егор Кириллович с самодовольствием взглянул на Марью Дмитриевну, и смеясь, заметил: ну, как могу сказать, Марья Дмитриевна, изволь, как знаешь, а приготовляйся: у меня прошу, как могу сказать, чтоб всего было вдоволь. С тем же радушным смехом и улыбкою Марья Дмитриевна уверяла Егора Кирилловича, что все будет, как следует, многое готово, а другое приготовляют. И действительно, до нас долетали металлические звуки пестика. По всем вероятиям, это было приготовление аршада, этого неизбежного угощения на всех балах и вечерах того времени. Пестик продолжал звучать, а мы спешили кончать наши депеши, приглашая добрых товарищей П[олторацкого] 1-го [159], П[олторацкого] 2-го [160], В[ельтман]а [161] и других, разделить с нами вечер у Варфоломея. Содержание наших записок приблизительно было следующее: приезжай, любезный друг, сегодня вечером к Варфоломею, и мы с Пушкиным там будем. Варфоломей убедительно просит, и

Катенька[162] или Елена[163], там будет весело... К некоторым, более взыскательным относительно светских приличий, записки были писаны с оговоркою: Варфоломей не смеет просить, но мы взяли это на себя, не откажи доброму старику, не измени нам, и проч. Несколько подобных записок, по распоряжению хозяина, быстро разнесены по городу. Вскоре вся главная зала была освещена, люстра уже ярко озаряла расписной плафон, на котором красовалась среди полупрозрачного облака полногрудая Юнона, с замечательными атрибутами: она опиралась одною рукою на глобус, на котором в одном размере лентообразно извивались слова, обозначавшие четыре части света и Мунчешты, подгородную деревеньку самого хозяина; в одну из полновесных округлостей самой Юноны, соответствовавшей серединной точке плафона, был ввинчен люстровый крюк, и судя по цвету лица богини, она, казалось, не только не страдала от подобного притеснения, но даже как бы радовалась вместе с нами, что зала быстро наполнялась посетителями. Нежданно, негаданно, устроился вечер, в котором человек до восьмидесяти приняли участие. Явились и наши друзья П[олторацкий] 1-й и П[олторацкий] 2-й, В[ельтман], но Ке[к][164], о котором вы, Карл Иванович, изволите рассказывать по случаю небывалой дуэли, совсем не был, не только на этом вечере, но даже в самом городе; а потому вы никак не могли быть его секундантом.

На этом вечере, Пушкин может быть танцовал и более обыкновенного, но, как и всегда, не был постоянным дирижором танцев, и не истреблял стихов своих; а если они и сгорели, то по милости вашей, Карл Иванович: вам угодно

было сжечь их в пылу воображения вашего. Дальнейшие подробности этого вечера мы может быть расскажем впоследствии, когда вздумаем печатать продолжение выдержек из нашего дневника, часть которого была напечатана в „Москвитянине“ 1850 г. (№№ 2, 3 и 7), а на этот раз мы находим кстати заметить, что на всех подобных вечерах музыку выполняли домашние музыканты Варфоломея. Его музыканты из цыган отличались от других подобных музыкантов как искусством в игре, так и пением. В промежутках между танцами они пели акомпанируя себе на скрипках, кобзах и тростянках, которые Пушкин по справедливости называл цевницами. И действительно, устройство этих тростянок походило на цевницы, какие мы привыкли встречать в живописи и ваянии, переносящих нас ко временам древности. В этот вечер Пушкина занимала известная молдавская песня: тю юбески питимасура, и еще с большим вниманием прислушивался он к другой песни—Ардемà—фриде—мà, с которою, уже в то время, он породнил нас своим дивным подражением, составив из нее известную песню в поэме Цыганы, именно: жги меня, режь меня и проч. Его заняла и Мититика*, но в особенности он обратил внимание на танец, так называемый Сербешти**, который протанцовал сам хозяин, пригласив для этого одну из приятельниц жены своей и еще некоторых своих приятелей. Вообще как-то все, принимавшие участие в этом вечере, от души веселились; одного нам было жаль, что наш общий друг Николай Степанович

* Мититика—молдавский танец, сопровождаемый большею частию пением

** Этот собственно сербский танец употребляется и у молдаван.

Алексеев, хотя и имел приглашение, но не мог приехать. В этот вечер он был у вице-губернаторши Крупенской: там была Е..... [26]

Но очень может быть, почтенный Карл Иванович, что вам вздумается написать возражение на наш отзыв, и тогда, пожалуй, вы нам грозно заметите, поставив знак удивления в конце заметки: мог ли, скажете вы, не быть Алексеев, когда он был один из первых друзей Варфоломея? И замечание ваше будет на первый раз справедливо; но чтобы не вовлечь вас в спор с нами, подобный спору о Берлине, в котором один утверждал, что Берлин город, а другой—карета, мы предупредим вас, что Алексеев[165] действительно был, но не Николай Степанович, а Алексей Петрович, родом серб, полковник нашей службы, занимавший тогда, как вам не безызвестно, должность областного почтмейстера. Знаем и помним мы Алексея Петровича и его добрую семью, помним и то, что полковник Алексеев просил начальство не о том, как иные, чтоб его наградили чином, но о том, чтоб избавили его от подобной награды, ибо с повышением в гражданский чин, по тогдашнему положению, он лишался военного мундира; а георгиевский кавалер наш до того любил свой драгунский отставной мундир и золотую саблю, что везде и всюду являлся не иначе, как одетым в полную форму. Эта привязанность его к мундиру и крестам, для иных казалась странною; но она понятна, как память о полке, с которым он делил опасности и славу, что же касается до крестов, то Алексеев не хуже денщика Суворова мог рассказать, не краснея, за что и когда именно каждый получен им. Пушкин, по преимуществу уважавший

самоотвержение и неподдельную отвагу, с наслаждением выслушивал все рассказы Алексеева, как участника в битвах при Бородине и на высотах Монмартра[166]. К концу описываемого нами вечера, Алексеев до того развеселился, что не принимая никогда участия в танцах, решился пройтись польский, но когда этот польский обратился в попурри, то старый служака сознался, что должен отступить и что этот бой ему не под силу. Когда начался раз'езд, Алексеев об'явил нам секрет: он очень любил секреты, и до того даже, что ему выпал на долю один такой секрет, который сгубил бедного старика; но секрет, об'явленный нам, нисколько не был ни для кого из нас гибельным. По связям с хозяином, Алексеев проведал, что в первый понедельник Варфоломей намерен дать бал на славу, и что пригласит, сверх своих музыкантов, еще музыкантов Якутского полка, этого знаменитого полка 16-й дивизии, который после войны нашей и славного мира оставался с Воронцовым в окрестностях Мобежа. Музыканты этого полка были все артисты и отличались в сравнении с музыкантами иных полков какой-то особенною складкою. На другой день утром мы свиделись с Пушкиным, потолковали об импровизированном вечере и обещанном Алексеевым бале; но состоится ли самый бал, мы нисколько не были уверены. Встречаясь с Пушкиным всякий день и по несколько раз, мы в остальную часть этого дня почему-то не видались, а на другой день я получил его записку следующего содержания:

Зима мне рыхлою стеною
К воротам заградила путь,
Пока тропинки пред собою
Не протопчу я как нибудь.

Сижу я дома, как бездельник;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будет в понедельник,
Что скажет наш Варфоломей, и проч.

Продолжение этой записки принадлежит собственно к дневнику нашему; не помещаем его здесь для того собственно, чтобы не увлечься подробностями объяснения самой записки, как нисколько не относящимися к настоящей статье; но та же записка, как написанная стихами, обращает нас к некоторым замечаниям Карла Ивановича о стихах нашего поэта. Пораженный рассказом Карла Ивановича о сожжении стихов Пушкина на известном ему вечере, следователь К. С. вопрошает: „А стихи-то так и пропали?"—Да это не в диковинку, отвечает Карл Иванович положительно. Если публике известно 7/8 из стихов Пушкина, продолжает он, то и этого много, по моему мнению. Бывало, напишет и разорвет... „Что с тобою Пушкин?"— „Да так".

На подобные замечания Карла Ивановича, признаемся чистосердечно, нам трудно и больно отвечать. По правде сказать, мы совершенно теряемся в соображении, к какому роду замечаний отнести их. Что это такое? Плод расстроенного воображения или вымысел? Но какой же? Не понимаем! Непонятно, Карл Иванович, и обозначение ваше сочинений Пушкина в виде дроби 8/8 с заключением, что если публике известно 7/8, то и этого много! И чем же вы это подкрепляете? Тем, что „бывало, напишет и разорвет". Конечно, подобные произведения никак не могли сделаться известным и публике, если они истреблены самим автором. Это понятно, и никто не спорит об этом; но благодаря

г. Анненкову, мы уже имеем VII томов сочинений Александра Сергеевича, хотя не сомневаемся, что есть такие, которые не вошли в состав этого издания. К тому же, мы знаем, что существуют в рукописи такого рода сочинений Пушкина, которые не могли и не должны быть напечатаны, не только по запрещению, но и по искреннему желанию самого автора, еще при жизни им самим не раз выраженному; знаем и то, как не любил Пушкин, чтоб ему напоминали об его же сочинениях подобного рода. И все это понятно в нем, как в человеке, одаренном необыкновенною силою сознания, дающего, как известно, полную возможность, даже в собственных произведениях, отличать создания порывов творчества от настоящих созданий творческой силы. В таком гениальном человеке, каким был Пушкин, понятны и некоторые уклонения от настоящей стези поэта, как понятна и сознательность в самых проявлениях подобного уклонения, столь трогательно высказанная им в его Воспоминании следующими заветными словами:

И горько жалуюсь и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Рассказав нам, как Пушкин истреблял неожиданно свои произведения, и как при этом будто бы вы с участием дружбы спрашивали его: Что с тобою Пушкин? и как он отвечал вам:—„Да так!" вы вдруг поражаете нас неожиданным показанием: „и ведь никогда не любил говорить о литературе. Врет, бывало, чепуху, говорите вы, рассказывает анекдоты, и чуть есть какая-нибудь возможность, анекдоты у него всегда выйдут непристойные..." Отозвавшись так несправедливо и непристойно о Пушкине, вы вдруг

восклицаете: „Да, любили мы А. С.“ При этом заключении мы бы вправе были ожидать вопроса от вашего следователя: да за что же? Но вопрос не последовал. Видно, следователь стоит в уровень с ответчиком и нисколько не поражается нецелесообразностью показания с заключением: да, любили мы Александра Сергеевича. Да за что же? спросим мы наконец: за чепуху, за непристойные анекдоты, что ли?

Нет, Карл Иванович, воля ваша, но мы сомневаемся не только в вашей дружбе с Пушкиным, но даже в вашем знакомстве, и чтобы удостоверить вас в этом сомнении, отсылаем вас к вашему же земляку К. И. Прункулу, который, так же как и вы, хотя не был ни дружен, ни знаком с Пушкиным, за исключением разве так называемого шапочного знакомства, конечно, скорее убедит вас, что все ваши показания неверны. Этим указанием на г. Прункула мы бы охотно кончили наш отзыв, но иные показания ваши, относящиеся как до Пушкина, так и до других уважаемых нами лиц, обязывают нас раскрыть всю несправедливость их. Итак, продолжаем. Карл Иванович, как мы знаем из его собственных слов, провел с Пушкиным в Кишиневе слишком год, а мы провели все время его пребывания в Кишиневе; Карл Иванович встречался с Пушкиным только в одних гостиных, а мы, можно сказать без преувеличения, видались с ним почти ежедневно: то у себя, то у общих друзей наших; но признаемся, никогда от него никакой чепухи не слыхали. Пушкин не только не любил непристойных анекдотов, но даже, если слышал от других или самому приходилось повторять слышанное с примесью чего либо неподходящего к условиям приличия, конфузился и

краснел; и уж, конечно, не от грубого наслаждения чем либо наглым, но скорее разве от той стыдливости, которая дана на долю каждого, и в особенности одаренному свыше. О литературе Пушкин действительно не любил говорить, в этом вы правы, Карл Иванович; но он не любил о ней говорить с теми, для которых подобный разговор был не под силу. Это и понятно. Но вот что непонятно нам: ваш следователь спрашивает: „говорят, он, т.-е. Пушкин, был страшно заносчив?—и вы отвечаете: „совершенно справедливо“. И в подкрепление всего этого вы продолжаете: „да знаете ли что, говорите вы, ведь и я должен был драться с ним на дуэли, а между тем мы были друзьями и говорили друг другу ты. Я как теперь помню, продолжаете вы, прислано было к нам из Петербурга несколько офицеров для съемок в Бессарабии. Человек двадцать, кажется; 4-х то я не забыл: З[убов], П[олторацкий] 1-й, П[олторацкий[2-й, К[ек] и другие. Все славные малые, только что произведенные в офицеры. Не помню за что и как, между К[еком] и П[олторацким] 1-м устроилась дуэль. К первому попал секундантом я, второй выбрал Пушкина. Ну, известное дело, на нашей обязанности лежало назначение условий поединка. Мы съехались с Пушкиным и трактат начался. Но как понравится вам оборот дела? Александр Сергеевич в разговоре со мною, решительно не могу вам сказать за какие, да и были ли они, „обидные выражения“, вызвал на дуэль меня!—Ты шутишь, Пушкин?—Я не мог не принять слов его не за шутку.—„Нисколько, драться с тобою я буду, ну мне этого хочется; только ты должен обождать. Я уже дерусь с двумя господами; разделавшись с ними, я к твоим услугам,

Карл Иванович!“ Я был решительно озадачен, да и мог ли я ожидать такого исхода весьма мирно начатого и очень мало до нас касавшегося разговора“.— На этом, Карл Иванович, позвольте остановиться и уверить вас не бездоказательно, что с самого вашего слова: „я как теперь помню“, вы ничего не помните, и все ваши показания, за исключением четырех имен, означенных буквами З..., П....й 1, П...й 2, К.... взяты из мира вымыслов. Мы говорим это потому, что все обстоятельства этого времени знаем наверное. Во-первых, на съемку Бессарабии не было прислано не только несколько, но даже ни одного офицера из Петербурга, а все они получили назначение из главной квартиры, куда, большею частью, поступали из известного московского военно-учебного заведения колонновожатых, состоявшего под благодетельным начальством Николая Николаевича Муравьева. Всех назначенных на съемку было не двадцать человек, как вы говорите, а несравненно менее, по самой простой причине, что в то время свитских офицеров было вообще не так много, как вам кажется. Нам всего этого нельзя не знать, Карл Иванович, мы сами имели честь принадлежать к этому замечательному корпусу офицеров. Помним и названных вами офицеров, как например: З.., вероятно один из Зубовых (их было двое); П....й 1—Алексей Павлович Полторацкий, П..й 2—Михаил Александрович Полторацкий, К... Валерий Тимофеевич Кек. Не так ли Карл Иванович? Но вот что не так: вы говорите, что не помню за что и как между Кеком и Полторацким устроилась дуэль. Пощадите, Карл Иванович, мы думаем, что никто, при здравой памяти, не может помнить того, чего никогда не было;

а уж как вам довелось быть секундантом при той дуэли, которой не только что не было, но даже и не предполагалось— этого мы решительно не понимаем. К тому же, весь рассказ ваш о Пушкине, по вашим словам, принадлежит к последнему времени пребывания его в Кишиневе, а в это время В. Т. Кека уже не было в Кишиневе: он почти за год уехал в отпуск и не возвращался.—Нам памятен прощальный обед, бывший в квартире Полторацких, где был и Пушкин, где и мы были, памятно и то, что вследствие этого обеда написано Пушкиным на другой день известное его стихотворение: К друзьям, начинающееся словами „Вчера был день разлуки шумной“ и проч. Но на чем и почему могла образоваться дуэль между вами и Пушкиным, мы никак не понимаем.— Неужели вы подобным рассказом думали доказать, что Пушкин был заносчив?—Это не доказательство, и ваш ответ на вопрос, был ли Пушкин заносчив, не то что „совершенно справедливо“, как вы говорите, а совершенно несправедлив для тех, кто знал Пушкина и кто понимает значение слова заносчив! Короче сказать, весь ваш рассказ о дуэли с Пушкиным до того не правдоподобен, что даже ваш следователь, которого конечно нельзя признать осмотрительным, усомнился. „Да так ли это было, говорит он, послушайте?. Не забыли ли вы другой, более положительной и более здравой причины?“. Нет! отвечаете вы утвердительно и потом пускаетесь в предосудительное предположение, основываясь, кажется, на том, что бумага все терпит.—Вы говорите: „может быть причина и существовала. Калипса [168], вы вероятно знаете, та гречанка, в которую Пушкин влюбился, Калипса была, кажется,

снисходительнее ко мне, чем к нему. Ну, конечно, ревность, зависть... а у А. С. все это переваривалось очень скоро“.

Беда беду родит, говорит пословица, а у вас, Карл Иванович, позвольте сказать, одна неправда родит другую и так плодится, что никакая персидская ромашка не поможет. Позвольте спросить, что вы такое рассказываете? Ведь нельзя же безнаказанно так говорить о людях потому только, что уже нет их на свете. С чего вы, например, вздумали уверять нас, что Пушкин был завистлив, когда зависть постоянно чужда душе возвышенной—это достояние, по преимуществу, душ мелких, пресмыкающихся в сферах низших, но не той высокой области, в которую само провидение поставило нашего поэта.—Это низкое свойство даже никогда не вмещалось в состав его уклонений. Что, например, значит выражение ваше: „Калипса, кажется, была снисходительнее ко мне, чем к Пушкину“. Не подарил бы вам Пушкин этого выражения,—да, признаемся, и мы не легко на него смотрим. Понимаете ли вы, Карл Иванович, что это слово снисходительнее бросает тень на доброе имя беззащитной женщины, и что память о Калипсе ознаменовал Пушкин прекрасным посланием к гречанке, начинающимся словами:

Ты рождена воспламенять
Воображение поэта, и проч.

Рассказав нам о небывалом предположении дуэли с Пушкиным и приписав произвольно причину ее ревности и зависти, вы вдруг приходите к заключению, что у А. С. все это, то-есть ревность и зависть, переваривалось очень скоро!—Что значит: переваривалось очень скоро?

полагаем не без основания, что вы хотели сказать одно, а сказали другое, или, что очень может быть, ваш следователь неверно передал нам ваши показания. Далее вы делаете вопрос самому себе, или начинаете во всеуслышание говорить сами с собою: „На чем, бишь, я остановился, спрашиваете вы, и припомнив,—отвечаете: „да, двумя противниками Пушкина были: командир *** полка С.... и***. За что дрался он с ними, не могу вам сказать теперь, да можно ли было знать об этом и тогда?“ На это ваше замечание мы можем отвечать удовлетворительно: Пушким действительно имел столкновение подобного рода с командиром одного из егерских полков наших, замечательным во всех отношениях, полковником С. Н. С[таровым] [169]. Причина этого столкновения была следующая: в то время, вы верно помните, т. н. Казино заменяло в Кишиневе обычное впоследствии собрание, куда все общество с‘езжалось для публичных балов. В кишиневском Казино, на то время еще не было принято никаких определительных правил; каждый, принадлежавший к т. н. благородному обществу, за известную плату мог быть посетителем Казино; порядком танцев мог каждый из танцующих располагать по произволу; но за обычными посетителями, как и всегда, оставалось некоторое первенство, конечно ни на чем не основанное. Как обыкновенно бывает во всем и всегда, где нет положительного права, кто переспорит другого или, как говорит пословица: кто раньше встал, палку взял, тот и капрал. Так случилось и с Пушкиным На одном из подобных вечеров в Казино, Пушкин условился с Полторацким и другими приятелями начать мазурку; как вдруг, никому

незнакомый, молодой егерский офицер полковника С[таро]ва полка, не предварив никого из постоянных посетителей Казино, скомандовал играть кадриль, эту так называемую русскую кадриль, уже уступавшую, в то время, право гражданства мазурке, и вновь вводимому контр-дансу, или французской кадрили. На эту команду офицера Пушкин по условию перекомандовал: мазурку! Офицер повторил: играй кадриль! Пушкин смеясь снова повторил: мазурку! и музыканты, несмотря на то, что сами были военные, а Пушкин фрачник, приняли команду Пушкина, потому ли, что он и по их понятиям был не то, что другие фрачники, или потому, что знали его лично, как частого посетителя: как бы то ни было, а мазурка началась. В этой мазурке офицер не принял участия. Полковник С[таро]в, несмотря на разность лет сравнительно с Пушкиным, конечно был не менее его пылок и взыскателен, по понятиям того времени, во всем, что касалось хотя бы мнимого уклонения от уважения к личности, а поэтому и не удивительно, что С[таро]в, заметив неудачу своего офицера, вспыхнул негодованием против Пушкина, и, подозвав к себе офицера, заметил ему, что он должен требовать от Пушкина об'яснений в его поступке. Пушкин должен, прибавил С[таро]в по крайности, извиниться перед вами; кончится мазурка, и вы непременно переговорите с ним. Неопытного и застенчивого офицера смутили слова пылкого полковника, и он, краснея и заикаясь, робко отвечал полковнику: да как же-с, полковник, я пойду говорить с ними, я их совсем не знаю!—Не знаете, сухо заметил С[таро]в; ну, так и не ходите; я за вас пойду, прибавил он, и с этим словом подошел к

Пушкину, только что кончившему свою фигуру. Вы сделали невежливость моему офицеру, сказал С[таро]в, взглянув решительно на Пушкина; так не угодно ли вам извиниться перед ним, или вы будете иметь лично дело со мною. В чем извиняться, полковник, отвечал быстро Пушкин, я не знаю; что же касается до вас, то я к вашим услугам.—Так до завтра, Александр Сергеевич.—Очень хорошо, полковник.—Пожав друг другу руку, они расстались. Мазурка продолжалась, одна фигура сменяла другую, и на первую минуту никто даже не воображал о предстоящей опасности двум достойным членам нашего общества. Все раз'ехались довольно поздно. Пушкин и полковник уехали из последних. На другой день утром, в девять часов, дуэль была назначена: положено стрелять в двух верстах от Кишинева; Пушкин взял к себе в секунданты Н. С. Алексеева. По дороге, они заехали к полковнику Липранди, к которому Пушкин имел исключительное доверие, особенно в делах этого рода, как к человеку опытному и, так сказать, весьма бывалому. Липранди встретил Пушкина поздравлением, что он будет иметь дело с благородным человеком, который за свою честь умеет постоять и неспособен играть честию другого. Подобные замечания о С[таро]ве и мы не раз слыхали, и не от одного Липранди, а от многих, и между многими можем назвать: Михаила Федоровича Орлова, Павла Сергеевича Пущина, этих участников в битвах 12 года и под стенами Парижа, где и С. Н. С[таро]в также участвовал и со славою, еще будучи молодым офицером. Мы не имели чести видеть С[таро]ва в огне, потому что сами в то время не служили и не могли служить; но зато впоследствии,

смеем уверить каждого, мы ни разу не слыхали, чтоб кто нибудь упрекнул С[таро]ва в трусости или в чем-либо неблагородном. Имя Семена Никитича С[таро]ва всеми его сослуживцами и знакомыми произносилось с уважением. Расставаясь с Пушкиным, Липранди выразил опасение, что очень может статься, что на этот день дуэль не будет кончена. Это от чего же? быстро спросил Пушкин.—Да от того, отвечал Липранди, что мятель будет. Действительно, так и случилось: когда с'ехались на место дуэли, мятель с сильным ветром мешала прицелу; противники сделали по выстрелу и оба дали промах; секунданты советовали было отложить дуэль до другого дня, но противники с равным хладнокровием потребовали повторения; делать было нечего, пистолеты зарядили снова—еще по выстрелу, и снова промах; тогда секунданты решительно настояли, чтоб дуэль, если не хотят так кончить, была отложена непременно, и уверяли, что нет уже более зарядов. Итак, до другого разу, повторили оба в один голос. До свидания, Александр Сергеевич! До свидания, полковник!

На возвратном пути из-за города, Пушкин заехал к Алексею Павловичу Полторацкому, и не застав его дома, оставил ему записку следующего содержания:

„Я жив,
С[таро]в
Здоров,
Дуэль не кончен“.

В тот же день мы с Полторацким знали все подробности этой дуэли, и не могли не пожалеть о неприятном столкновении людей, любимых и уважаемых нами, которые ни

почему не могли иметь взаимной ненависти. Да и сама причина размолвки не была довольно значительна для дуэли. Полторацкому вместе с Алексеевым пришла мысль помирить врагов, которые по преимуществу должны быть друзьями. И вот через день эта добрая мысль осуществилась. Примирители распорядились этим делом с любовию. По их соображениям, им не следовало уговаривать того или другого явиться для примирения первым; уступчивость этого рода, по свойственному соперникам самолюбию, могла бы помешать делу; чтоб отклонить подобное неудобство, они избрали для переговоров общественный дом ресторатора Николети, куда мы нередко собирались обедать, и где Пушкин любил играть на бильярде. Без дальнего вступления со стороны примирителей и недавних врагов, примирение совершилось быстро. „Я вас всегда уважал, полковник, и потому принял ваше предложение“, сказал Пушкин.—„И хорошо сделали, Александр Сергеевич, отвечал С[таро]в; этим вы еще более увеличили мое уважение к вам, и я должен сказать по правде, что вы также хорошо стояли под пулями, как хорошо пишете“. Эти слова искреннего привета тронули Пушкина, и он кинулся обнимать С[таро]ва. Итак, в сущности все дело обделалось, как и можно было ожидать от людей истинно-благородных и умеющих уважать друг друга. Но т. н. публика, всегда готовая к превратным толкам, распустила с чего-то иные слухи: одни утверждали, что С[таро]в просил извинения; другие то же самое взваливали на Пушкина, а были и такие храбрецы на словах, постоянно готовые чужими руками жар загребать, которые втихомолку твердили, что так дуэли не должны кончаться.

Но из рассказа нашего ясно, кажется, видна вся несправедливость подобных толков.

Дня через два после примирения, Пушкин как-то зашел к Николети, и по обыкновению, с кем-то принялся играть на бильярде.—В той комнате находилось несколько человек туземной молодежи, которые, собравшись в кружок, о чем-то толковали, вполголоса, но так, что слова их не могли не доходить до Пушкина. Речь шла об его дуэли с С[таровы]м. Они превозносили Пушкина и порицали С[таро]ва. Пушкин вспыхнул, бросил кий, и прямо и быстро подошел к молодежи. „Господа, сказал он, как мы кончили с С[таровы]м— это наше дело, но я вам об‘являю, что если вы позволите себе охуждать Ст[ар]ова, которого я не могу не уважать, то я приму это за личную обиду, и каждый из вас будет отвечать мне, как следует"!—Знаменательность слов Пушкина и твердость, с которою были произнесены слова его, смутили молодежь, еще так недавно получившую в Вене одно легкое наружное образование, и притом нисколько незнакомую с дымом пороха и тяжестью свинца. И вот молодежь начала извиняться, обещая вполне исполнить его желание. Пушкин вышел от Николети победителем.—Теперь послушаем, что обо всем этом рассказывает Карл Иванович.

Сознаваясь в неведении своем о причине дуэли Пушкина с С[таровы]м, Карл Иванович продолжает: „Полномочным наместником, присланным (!) из Петербурга, был Г. Л. Инзов. У этого-то (!) Инзова и находился (!) А. С. Он жил в его доме (!), и старый генерал не мог не полюбить молодого восприимчивого поэта... (!). Свернут тебе голову, А. С., говаривал Инзов. Пушкин улыбался и продолжал

жить по прежнему. Срок, назначенный для дуэлей (Пушкин должен был в один день и на том же месте драться с нами тремя,—это было его желание) быстро приближался. Место, назначенное для них, находилось верстах в двух от Кишинева. Рано утром все мы были на сборном пункте; отмерив расстояние, зарядили пистолеты... Никогда не забуду этого: С[таро]в стоял бледный, как полотно, перед ним Пушкин с вз‘ерошенными волосами и блестящими глазами; с боку мы (?) т.-е. я и И*** и еще два свидетеля. Вдруг, никогда не забуду этого, что-то зашевелилось по сторонам, и совершенно неожиданно накрыли нас, рабов божиих, человек десять жандармов. Делать было нечего; мы только переглянулись, усмехнулись, и нас повели к Инзову. Взбешенный старик (!) ходил по комнате. Пушкина был он, кажется, в состоянии разорвать, да и с нами не стеснялся, стращал и тем и этим; долго слушали мы его, долго ершился (!) он и, выпустив весь запас желчи, распустил наконец по домам, делу не дал он большой гласности, но совершенно напрасно: весь город знал об нем. На следующий день Пушкин уехал, и Кишинев действительно осиротел".

Позвольте, Карл Иванович, несколько отдохнуть нам от рассказов ваших о тех событиях, которые до мельчайшей подробности совершились не в Бессарабской области, а в области вашего воображения, и при этом позвольте нам сделать некоторые замечания. Во-первых, вы говорите, что генерал Инзов прислан был из Петербурга для управления Бессарабией: это не так. Генерал Инзов, во время своего назначения, по увольнении в отпуск первого наместника Бессарабии Алексея Николаевича Бахметева, находился не

в Петербурге, а в южном крае, и был, как известно, в это время главным попечителем всех колонистов южного края России. Его благотворные действия по управлению и до сих пор сохраняются в памяти благодарных поселенцев и всего края. У этого-то Инзова и находился А. С., говорите вы; он жил в его доме. Но и это, Карл Иванович, не совсем так. Как мог жить Александр Сергеевич в доме Ивана Никитича Инзова, когда у Инзова в Кишиневе никакого дома не было. Пушкин жил с ним в одном доме, и этот известный дом был нанимаем от города для помещения наместника и состоящих при нем. Далее сказав, что Пушкин жил в доме Инзова, вы говорите, в виде заключения: „и старый генерал не мог не полюбить молодого восприимчивого поэта!“ Да почему же не мог, Карл Иванович? Потому ли, что Пушкин жил у него в доме, или потому, что поэт был восприимчив? но то и другое обстоятельство, как вы и сами согласитесь, если вам угодно будет хотя несколько вникнуть, не могут быть проводниками подобного внимания; ибо можно жить и в одном доме, и в то же время быть совершенно равнодушным к тому, с кем живешь вместе, а одна восприимчивость, сама по себе, не есть существенное достоинство в ком бы то ни было. Нет, Карл Иванович, если Иван Никитич и любил Пушкина, то потому именно, что он мог, по своим личным достоинствам, оценить достоинство нашего поэта. Возросший от колыбели и воспитанный до поступления на службу в доме и под руководством просвещенного князя Николая Никитича Трубецкого[170] и проведший весь период первоначальный служебной деятельности под личным начальством знаменитого князя Николая

Васильевича Репнина[171], Инзов, при врожденных добрых качествах, уже не мог не отличаться от многих тою чуткостью сердца и тою светлостью ума, какими пользовался во все продолжение своей жизни, как подчиненный, так и начальствующий. Этот-то свет и дал возможность Инзову оценить возвышенность дарований Пушкина и смотреть на некоторые уклонения пылкого и юного поэта с большею снисходительностью.

Пушкин уважал и любил Ивана Никитича и на его замечания, которых вы, Карл Иванович, конечно не слыхали, если таковые и были, он вероятно не отвечал бы улыбкою, как вы говорите, да еще и добавляя: „продолжал жить по прежнему“. Все это, сколько нам известно, не имеет и тени достоверности. Для нас памятна личность Пушкина, памятно и то время, которое вы взялись описывать в ваших показаниях. Одни наши подробности в описании уже могут служить вам доказательством, что мы говорим не по слухам, а в дополнение представим вам в конце нашего отзыва не так называемого, а двух истинно-благородных свидетелей. Вы описали Пушкина каким-то сорванцем-шелопаем, которому все трын трава и дудки. Но, по счастию, не таков был поэт наш. Взводить подобную небывальщину на кого бы то ни было, ведь очень не хорошо, Карл Иванович, и еще того хуже, если клевета относится до умершего. Далее вы изволите говорить о дуэлях Пушкина, назначенных им с троими разом, т.-е. со С[таровы]м, вами и еще с***; дуэль, бывшая со С[таровы]м, нами рассказана со всею подробностью; но кто это три звездочки—мы не знаем. Что же касается до вас, то хотя это и покажется странным, но мы

вас же самих смеем уверить, что с вами никогда никакой дуэли не было; ибо мы знаем наверное, что во все время пребывания Пушкина в Кишиневе, ни с каким немцем и ни с каким молдаванином он не стрелялся, и ни один из этих господ его не вызывал. Что же касается до места, назначенного для дуэли с С[таровы]м, то это так: оно действительно находилось верстах в двух от Кишинева. Отмерив расстояние и зарядив пистолет в воображении вашем, вы переходите к описанию личности С[таро]ва и уже на эту минуту являетесь как бы в полной памяти. „Никогда не забуду, говорите вы, этого: С[таро]в стоял бледный, как полотно; перед ним Пушкин с вз'ерошенными волосами и блестящими глазами; с боку мы, т.-е. я и*** и еще два свидетеля. Вдруг, никогда не забуду этого, повторяетевы, что-то зашевелилось по сторонам, и совершенно неожиданно накрыли нас, рабов, божиих, человек десять жандармов. Делать было нечего; мы переглянулись, усмехнулись, и нас повели к Инзову. Взбешенный старик ходил по комнате. Пушкина был он, кажется, в состоянии разорвать, да и с нами не стеснялся, стращал и тем и этим; долго слушали мы его, долго ершился он, и выпустив весь запас желчи, распустил наконец по домам; делу не дал он большой гласности, но совершенно напрасно: весь город знал об нем. На следующий день Пушкин уехал, и Кишинев действительно осиротел“. Этим заключением вы оканчиваете, Карл Иванович, показания ваши об известном вам времени пребывания Пушина в Кишиневе, и как трогательно ваше заключение: „Пушкин уехал, и Кишинев осиротел“. Но ведь это все не так, Карл Иванович: так например, импровизированный вечер был, как

мы вам заметили, в январе 23 года, другого не было и не могло быть*, а вы говорите: не задолго до от'езда Пушкина; дуэль с С[таровы]м была в начале 22 года, а вы говорите: на другой день Пушкин уехал и Кишинев осиротел; но Пушкин оставил Кишинев и уехал в Одессу в июле 23 года. По первому вашему показанию, вы пробыли с Пушкиным в Кишиневе более года, следовательно: вы неминуемо были часть 22 и весь 23 год: как же случилось, что вы ни одного события не могли передать с достодолжною верностью? Это что-то странно. Еще страннее решимость ваша, с какою вы как бы умышленно желаете запятнать людей, заслуживших от современников своих полное уважение, соответственно их личным достоинствам и заслугам. При каждой подобной выходке вашей, вы, Карл Иванович, прибавляете, должно быть для удостоверения, „никогда не забуду этого, как теперь помню“, и под эгидою подобных выражений вы описали нам: храброго нашего полковника С[таров]а низким трусом; достойного и высокообразованного генерала Инзова каким-то необузданным правителем пашалыка, а не прямым наместником царским, каким был Инзов действительно. Пушкин в показаниях ваших является каким-то сорванцом-забиякою, не проявляя ничего прекрасного, т.-е. того именно, что составляло по преимуществу сущность нашего великого поэта. Следователь ваш, г-н К. С. хладнокровно выслушивает ваши запутанные и невероятные показания, не спрашивает вас, как, например, могло

* Летом, по обыкновению, все кишиневское общество оставляло город и переезжало в поместья.

случиться, что вдруг что-то зашевелилось по сторонам, и совершенно неожиданно накрыли вас, рабов божиих, человек 10 жандармов и повезли к Инзову; как Инзов в одно и тоже время не дал большой гласности вашему делу, но допустил провести по всему городу, как осужденных, под прикрытием 10 жандармов, шестерых участников дуэли и в числе их служащего полковника! При этом, конечно, неудивительно, что весь город знал о дуэли. Но о вашей-то дуэли, полно, знал ли он, Карл Иванович? Вы извините нас, нам что-то не верится; мы даже убеждены, что все ваши показания и составленная из них статья не что иное, как непонятная мистификация, и притом дерзкая до неимоверности! При показаниях ваших о дуэли, следователя вашего поразило одно: именно то, как узнал Инзов о вашей дуэли? Но и подобный вопрос нисколько не затруднил вас, а вы после заключения вашего, что Кишинев осиротел по от'езде Пушкина, отвечаете хотя с оговоркою, но решительно: „наверное не могу сказать, говорите вы; но тогда, я помню, рассказывали о С[таро]ве, что он трус был, это мы знали—просил у Инзова защиты, нас и защитили. Да, знал я А. С., хорошо знал... веселое было времечко“!

При этих показаниях ваших и ваш хладнокровный следователь не выдержал, оставив без внимания всю несообразность ваших показаний, относящихся до примерно-благородного С[таров]а и достойного правителя края Инзова, прямо обратился к вам с замечанием: „а мне кажется, напротив, говорит он, вы мало знали Пушкина, или по крайней мере, не настолько, насколько могли и насколько следовало“.

Нам же, Карл Иванович, не то что кажется, но мы уверены, что вы совсем не знали ни А. С. Пушкина, ни И. Н. Инзова, ни С. Н. С[таро]ва.

Заметив, что вы не настолько знали Пушкино, сколько следовало, ваш следователь прибавляет как бы иронически; „Ну раскажите-ка еще что нибудь“.—„Что же еще, спрашиваете вы—разве то, что Пушкин пил вино как воду и вино не действовало на него; бывало, только повеселеет немножко, а уж потешит тогда честную компанию“.

На эти показания, Карл Иванович, нам ничего не остается сказать более, как то, что вы поразительно верны себе: все ваши слова, с первого до последнего, одного чекана и одной ценности. Что например, значит: Пушкин пил вино как воду, когда это неправда; да и к чему подобные заметки? при этом ни вы не рассказываете, ни ваш следователь г. К. С. не находит нужным спросить вас, в чем же заключались самые потехи, как потешал Пушкин какую-то честную компанию; следователь обращается к вам с новым вопросом: „да что же еще любил Пушкин“? На каковой вопрос вы снова не затрудняетесь ответом и отвечаете с первоначальною решимостью: „при мне две вещи, говорите вы, свою Калипсу, перед которой он делался тих и скромен, как ребенок, и бильярд, к которому пристрастился до нельзя, а играл хуже не знаю кого“.

Что касается до отношений Пушкина к названной вами Калипсе, то это показание ваше, по всем вероятиям, должно быть справедливо, как согласное с настроением души нашего поэта. Но и при этом мы не можем не удивляться, как вам пришло на мысль соединять или, точнее, смешивать в

одно принадлежащее к области жизни сердца с принадлежностью весьма обыкновенных развлечений светского быта! К тому же, говоря о бильярдной игре, мы не можем согласиться с вами, что Пушкин пристрастился к ней до нельзя, и играл, как вы говорите, хуже не знаю кого. При этом находим кстати спросить вас: не памятна ли вам, Карл Иванович, одна билия, сделанная Пушкиным с руки? О ней тогда много говорили; и мы когда-нибудь расскажем со всею подробностью, как равно и о его железной палке,[172] которою Пушкин владел с ловкостью, достойною известного в свое время фехтовальщика Мортье[173]. Ну, да об этом когда-нибудь да скажется, а в настоящую минуту следует нам покончить с вами. И так, на последний вопрос, сделанный вам следователем: „Да не помните ли вы еще чего-нибудь?“— вы отвечали: „Ну уж, батюшка, отстаньте от меня; стар стал, ничего не помню; да и где же все помнить“.

Этими многозначительными словами кончаете вы, Карл Иванович, все ваши сказания о Пушкине, Инзове и С[таро]ве. При этом нам остается одно только сожаление, что вы не начали тем, чем кончили, т.-е., что вы с первого же слова не сказали следователю: стар стал, ничего не помню. Тогда бы не было и статьи под названием: Еще о Пушкине, не приносящей чести ни вам, ни г-ну К. С., ни журналу, и не было бы нашего обличительного отзыва, в верности которого ручаемся нашею подписью; сверх того, как мы обещали, скрепляем наши замечания удостоверением, также современников Пушкина, во время его пребывания в Кишиневе: А. Ф. Вельтмана и Алексея Павловича Полторацкого.

Нам кажется, что редакция „Общезанимательного Вестника“ поступит добросовестно и не без пользы для издания, если в первых же нумерах своих поместит об‘явление, что просит читателей принять статью под названием: Еще о Пушкине, составленную г-м К. С. со слов К. И. П... как совершенно ошибочную и не заслуживающую никакого доверия. Нет сомнения, что подобное сознание должно и может иметь место не только в легких журнальных статьях, но и в статьях высшей важности.

Да простит нам редакция откровенность нашу.

Владимир Горчаков.

Декабря 28-го 1857 года. С.-Петербург.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Пушкин прибыл в Кишинев 21 сентября 1820 года.

2. Наумов, Иван Николаевич, мещанин, чиновник кишиневской квартирной комиссии, содержатель гостиницы.

3. Кто Давид Григорьевич, не ясно.

4. Пущин, Павел Сергеевич, (1789—1865)—происходил из дворян Псковской губ. Был уволен со службы 30 марта 1822 г. за восстание, произведенное солдатами Камчатского полка под влиянием членов Союза Благоденствия, находящихся в бригаде Пущина. Впоследствии был опять принят на службу и участвовал в подавлении польского восстания, как командир 2-ой бригады 4-ой пехотной дивизии. В 1834 г. был произведен в генерал-лейтенанты.

Во время пребывания Пушкина в Кишиневе командовал там бригадой. Был знаком с Пушкиным, который написал ему стихотворение в 1821 г. Пущиным была основана масонская ложа в Кишиневе «Овидий, № 25», членом которой был Пушкин.

Бывши соседом П. А. Осиповой, он имел с ней судебное дело, по поводу которого в 30-х годах была переписка Пушкина с Осиповой и (недошедшая до нас) с Пущиным. *А. Л.* [1]

5. Орлов, Михаил Федорович (1788—1842), сын гр. Ф. Г. Орлова, одно время любимец Александра I и его флигель-ад'ютант. Участник войны 1812 года и последующих походов. В 1814 г. подписал капитуляцию Парижа. Оттуда ездил в Лондон и вывез из него масонство. Будучи затем в Киеве начальником штаба 4 корпуса, по собственным словам, был «более нежели когда-нибудь привержен свободным мнениям». В 1820 г. назначен начальником 1-й пехотной дивизии в Кишиневе. Здесь он отменил телесное наказание и завел ланкастерскую школу взаимного обучения, которую поручил Вл. Федос. Раевскому. Генерал Сабанеев считал его теоретиком, Киселев находил слишком мягким и добрым «до глупости». Розен считал, что «личность Орлова заманила многих в тайное общество». Липранди, напротив, утверждает, что в его корпусе не было ни одного участника, замешенного в дело декабристов, между тем не то было в Тульчине. В 1823 году, 18 апреля он был отставлен от командования, а 14 декабря 1825 г. арестован и отвезен в Петропавловскую крепость, но его спасло заступничество брата Алексея. Указом от 16 июня 1826 г. он был отставлен от службы с запрещением впредь поступать куда-либо и определен на жительство в деревню, почему провел у себя в Милютине Масальского уезда, Калужской губернии, три года занимаясь своим известным стеклянным заводом с 230 рабочими, и сельским хозяйством на 23000 десятинах с 500 крестьянами. Затем получил разрешение жить в Москве. Он был член «Арзамаса», который хотел преобразовать из литературного более в политическое общество, в Киеве был вице-президентом отдела Библейского общества; в Москве сделался членом многих научных обществ и издал свою работу «О государственном кредите» 1833 г. Один из основателей школы живописи и ваяния. С 1821 г. женат на Екатерине Николаевне Раевской.

[1] Примечания, подписанные: А. Л., принадлежат А. А. Лапину.

6. Пафнутьев, капитан, дивизионный ваген-мейстер.

7. Друганов, Ив. Матв., поручик 31 Егерского полка, ад'ютант М. Ф. Орлова.

8. Крупенский, Матв. Еф.—кишиневский вице-губернатор, из боярской семьи, женат на Ек. Христ. ур. Комнено. Пестель называет его «homme d'esprit», Вигель—тщеславным, Липранди говорит, что Крупенский «корчил вельможу».

9. Варфоломей, Ег. Кир. см. 154.

10. Алексеев, Николай Степанович—чиновник особых поручений при графе М. С. Воронцове. Родился в Москве в 1789 г., умер в конце 1850-х или в начале 60-х годов; был одно время на военной службе и участвовал в Бородинском бою; определился в штат наместника Бессарабии А. Н. Бахметева и с 1818 г. жил в Кишиневе. Здесь его встретил Пушкин и подружился с ним, ему в 1821 г. написано Пушкиным послание «Мой милый, как несправедливы» и ему же посвящена «Гавриилиада»; он переписывался с Пушкиным (сохранилось 6 писем, из коих 2 Пушкина). У него останавливался Пушкин в свой приезд из Одессы в Кишинев в марте 1824 г. Алексеев увлекся Марьей Егоровной Эйхфельд, связь с которой удерживала его долго в Кишиневе. *А. Л.*

11. Семенова, Ек. Сем., известная артистка, р. 1786 г. Ею восторгался Гнедич. В 1828 г. вышла за кн. И. А. Гагарина (1771—1832), умерла в 1849 г. См. еще С. М. Бенди «Новые страницы Пушкина» стихи об актрисе Семеновой.

12. Колосова, А. М., р. 1802 г., блистательно дебютировала в «Антигоне» под руководством П. А. Катенина. Ум. в 1880 г.

13. Орлов, Фед. Фед., род. 1792 г. Ростом великан, один из младших сыновей гр. Фед. Григ. Орлова и Тат. Фед. Ярославовой, которого Пушкин хотел впоследствии вывести в своем романе «Русский Пелам». В службу вступил в 1805 г. В январе 1812 г., проигравшись, стрелялся. Под Бауценом в 1813 г. лишился ноги. Переменил несколько полков. Человек отчаянный, игрок и кутила. Потерял состояние и, выйдя в отставку, по словам Вигеля «запропастился». Одно время жил у сестры

Анны Федоровны Безобразовой в Ярославле. Умер в 1835 г. и как раз «Русский Пелам» задуман в этом году. См. 72.

14. Раевский, Николай Николаевич (1771—1829)—генерал от кавалерии, герой Отечественной войны, член Государственного Совета; служил в л.-гв. Семеновском, а с 1789 г. в Нижегородском драгунском полках и с последним участвовал во взятии Бендер и Аккермана; в 1790 г. получил в командование казачий полк Булавы Великого Гетмана и после заключения мира с турками вернулся в Нижегородский полк; участвовал в войнах с Польшей и Персией; затем впал в немилость императора Павла I и был исключен со службы; затем вновь участвовал в войнах с Францией 1805, 1806—7 г.г. и со Швецией 1808; в войну 1812 г. он командовал 26 пехотной дивизией и был неоднократно ранен; в войне 1813—14 г.г. командовал корпусом и затем армией. *А. Л.*

15. Давыдов, Александр Львович (1773—1833)—отставной (с 1815 г.) генерал-майор; единоутробный брат генерала, героя 1812 г., Ник. Ник. Раевского (их мать в первом браке—Раевская). С его именем связаны: стихотворение Пушкина «Нельзя мой толстый Аристип» (1824) и XII строфа в I гл. Евгения Онегина. Его жену Аглаю Антоновну, рожденную де-Граммон, и их дочь Адель Пушкин увековечил в своих стихах. *А. Л.*

16. Давыдов, Вас. Льв., брат предыдущего, р. в 1792 г., полковник, «проказник умный». Участвовал в тайном обществе на юге и председатель каменковской управы тульчинской думы. Присужден к 20 годам каторги, умер в 1853 г. в Красноярске. Пушкин говорил: «Я ни до каких Давыдовых кроме Дениса не охотник».

17. Худобашев, Ант. Мак., армянин, одесский почтмейстер, перешедший на службу в Кишинев, с длинным бекасиным носом.

18. Ипсиланти, кн. Адр. Конст., р. 1792 г., служил в Кавалергардском полку. Под Дрезденом в 1813 году потерял ногу. В 1823 г. Пушкин писал А. Н. Раевскому: «Мы видели этих новых Леонидов на улицах Одессы и Кишинева, со многими были знакомы и свидетельствуем о полной их ничтожности» (Пушкин, изд. Морозова, III, 54—5).

19. Ипсиланти, кн. Дм. Конст., адъютант ген. Раевского.

20. Ипсиланти, княгиня, мать предыдущих, жила в Киеве.

21. Ипсиланти, княжна, сестра их, фрейлина русского двора.

22. Катакази, урожд. кж. Ипсиланти, кишиневская губернаторша.

23. Катакази, Конст. Ант., грек, вывезенный из Константинополя. Губернатором в Кишиневе в 1818 г.

24. Ипсиланти, кн. Ник. Конст., брат предыдущих, спасшийся после полного истребления гетеристов.

25. Ипсиланти, кн. Геор. Конст., четвертый брат, кавалергардский офицер.

26. Эйхфельд, Мар. Ег., ошибочно названа П. И. Бартеневым Эльфрект, р. Мило, родственница Крупенского. Была хороша собою и образованна. Ее поклонником был Ник. Степ. Алексеев. Муж ее ученый немец. Пушкин дал им кличку Земира и Азор. По поводу свидетельства, что она окружала себя молдаванами и греками, желая казаться равнодушной к русским, Липранди писал: «Как ни уважаю я засвидетельствования Влад. Петр. Горчакова..., но здесь не разделяю сказанного... знаю положительно, что все семейство Мило отличалось преданностью к русским» (Р. Арх. 1866 г., 8—9, с. 1157, 1224—5). Возможно, что та же чета выведена Вельтманом в повести «Два майора», он под именем корпусного доктора Романиуса («Москвитянин» 1848, № 1, с, 33—90).—Земира и Азор—комическая опера с балетом Мармонтеля и Гретри.—Меледа—это кружочки, нанизывавшиеся на проволоку для препровождения времени, головоломная задача.

27. Крупянский, Ф. Е., «Тадарашка», брат кишиневского вице-губернатора, т. с. Дом его в Кишиневе сохранялся до позднейшего времени.

28. Зоя, племянница М. Е. Эйхфельд «не очень привлекательной наружности» (Р. Арх. 66, 1157). Продолжение стихов Пушкина было так нецензурно, что Горчаков не решился его напечатать.

29. Аделаида Александровна, имя вымышленное, но рассказ едва ли выдуман, как иногда полагают, считая, что действие происходит в Кишиневе, между тем оно по рассказу явно происходит в Петербурге («могучий ветер нашего Севера»... «приятель Греча» т. е. Булгарин.... Избалованная хозяйка вздумала оказывать Пушкину «унизительное покровительство». У нее тетка «старая графиня». Наконец, упоминается и лицо подлинное—Лизавета Михайловна, т. е. Е. М. Хитрово). Нельзя же не верить словам В. П. Горчакова, что «самый рассказ исторически верен». Можно не без основания утверждать, что это дочь гр. Григ. А. Строганова, Идалия Григ. Полетика, известная в обществе как умная женщина, но с очень злым языком; была она нрава резкого (по выражению кн. В. Ф. Вяземской, accariatre) и Пушкина ненавидела. П. И. Бартенев говорит, что Пушкин, зная ее свойства, оскорблял ее. Сдается, что Пушкин разумеет И. Г. Полетику и когда говорит в черновом наброске к XXV строфе 8-й главы Онегина:

И та, которая сбиралась
Уж общим мненьем управлять.

И. Г. Полетика дожила до 1889 г., живя в Одессе у брата ген.-губернатора и говорила, что готова плюнуть на памятник Пушкину. Сыграла не последнюю роль в драме его дуэли и смерти.

30. Катенин, П. А., (1792—1853) преображенец, театрал и знаток европейской литературы. За шиканье Семеновой—выслан из П-бурга в 1821 г. и провел у себя в Кологрив. у., Костром. г., 10 лет. В 1834 г. поступил в Эриванский полк и был комендантом Кизляра. А. Ф. Писемский выводил его в своих романах.

31. Греч Н. Н., (1787—1867) основатель «Сына Отечества» и изд. «Сев. Пчелы».

32. Не Булгарин ли?

33. Графиня «тетка»—гр. Ел. А. Строганова, р. Загряжская? См. 29.

34. Хитрово, Ел. Мих. (1783—1839). Судя по словам В. П. Горчакова, Аделаида пыталась устраивать у себя дневные собрания подобно Е. М. Хитровой. Вновь найденные 27 писем Пушкина к последней восстановили ее подлинный образ. (Труды Пушкинск. дома, вып. XLVIII).

35. Ланов, Ив. Н., старший член управления колониями, с. с., когда-то ад'ютант Потемкина и старый знакомый Инзова, человек без образования. Находился в беспрерывной вражде с Пушкиным (Липранди, Р. А. 66, 1425).

36. Иван Ферапонтович, председатель кишиневской уголовной палаты.

37. Инзов, Ив. Никит., (1768—1845), ген.-лейт., кишиневский наместник. Таинственного происхождения. (Ин-зов). На его обмундирование и обзаведение было выдано 3000 червонцев. Воспитанник масона кн. Ник. Никит. Трубецкого. Масон ложи «Золотой Шар» в Гамбурге. С ним был близок Карамзин и едва ли не последний через Каподистрию направил Пушкина к Инзову. Ср. слова П. И. Бартенева о чьей то «дружеской предусмотрительности» (Р. Арх. 66, 1125). См. Н. В. Сушкова, об университ. пансионе, (67—68). Службу начал кадетом в Сумском легко-конном полку, участвовал во 2-ой Турецкой войне, в блокаде Измаила и взятии Бендер. В 1799 г. он совершил Итальянский поход в качестве командира Апшеронского полка; с 1804 г. генер.-майор и шеф Киевского гренадерского полка; в 1805 г. дежурный генерал при Кутузове; в 1812 г. начальник штаба третьей резервной армии генерала Тормасова; затем главный попечитель о поселенцах южной России и с 15 июня 1820 г. наместник Бессарабской области, а с июля 1822 г. исправляющий должность Новороссийского губернатора, сдавши которую гр. М. С. Воронцову в 1823 г., переехал в Одессу, куда перешло Управление колониями. Генерал от инфантерии.

38. Кто могилевская Белла, в отличие от кишиневской Беллы еврейки, содержательницы гостиницы, не ясно. Хозяйка местечка Атаки, против Могилева, была кн. Е. М. Кантакузина, р. Дараган, но скорее это жена другого брата, Георгия

Кантакузина, кн. Елена, р. княжна Горчакова, красавица. Стихотворение Пушкина П. О. Морозов относит к 1824 г., но В. П. Горчаков говорит о 1820 годе. В черновых набросках (Акад. II, 349) есть упоминание о «дивной красоте», что совпадает со словами Горчакова о красавице, виденной им на Днестре ночью среди прибрежных виноградников.

39. Богданович, Ипп. Фед., р. 1743—1803, писатель, автор «Душеньки».

40. Разнован, Георг., молдаванский боярин, вистиар во время войны 1806—1812; имел двух сыновей—Николая и Алеко, ж. на Гика.

41. Колакуцкий, Вас. Фед., штабс-кап. Охотского полка, старший ад'ютант М. Ф. Орлова, женатый на пригожей молдаванке Деческул, ежедневно обедал у своего генерала.

42. Бологовский (Болговской, Болховской), Дм. Ник. (1780—1852). Поручиком Измайловского полка принял участие в убийстве Павла I. Участник войны 1812—14 гг., ранен под Лейпцигом, с 1820 г. ген.-майор и командир 2-й бригады 22 пехотной дивизии, затем 1-й бригады 16 дивизии. Пушкин обедал у него по воскресеньям. Он писал свои записки, был женат на В. С. Салтыковой. В 1836 военный губернатор в Вологде, в 1840 сенатор, в 1849 г. был назначен по борьбе с холерой.

43. Военные солдатские поселения были заведены по мысли Александра I Аракчеевым в 1817 г. А. А. Аракчеев (1796—1834) род. в бедной дворянской новгородской семье и, по собственным словам, «учился на медные деньги». Человек редкой энергии, поднял артиллерию, но мелочный формалист и жесток.

44. Киселев, П. Д. (1788—1872) состоял с 1814 при Александре I. С 1819 г. начальник штаба 2-й армии, расквартированной в губерниях Киевской, Каменец-Подольской, Херсонской, Екатеринославской и Таврической и Бессарабской области. К нему был близок Пестель, о чем 3 июля 1819 г. Киселеву писал Закревский: „Радуюсь, что ты от Пестеля в восхищении. Но прошу иметь его в том мнении, как я тебе писал. Время все открывает, а не минутное удовольствие“. Офицеры

квартирмейстерской части для составления карт и статистических сведений были выписаны по мысли Киселева. По словам А. М. Фадеева офицерство, окружавшее его, отличалось смелостью и резкостью, очевидно с его одобрения, но с 1822 г. Киселев стал строже разбираться и писал Закревскому: „некое волнение в умах заметно“. После 14 декабря он писал Николаю I о себе: „Je suis atteint d'un soupcon vague“ (Я задет смутным подозрением). Адьютант его Бассаргин говорит, что он со старшими горд, с младшими ласков. М. А. Корф отмечает в нем блестящий ум, быстрое соображение, мастерство говорить с каждым о том, что его интересует, и острые шутки. Баловень дам. Actif, infatiguable, imperieux—деятелен, неутомим, властен. Иногда в нем проскальзывал прежний легкомысленный и ветренний флигель-ад'ютант, но ум, честолюбие и расчет преобладали. Сердца у него не было: «он вас непременно выдаст и продаст». (Заблоцкий—Десятовский, III, 428 IV, 430). Друзьями Киселева были: Николай I, кн. А. Ф. Орлов, декабрист Сергей Волконский, Д. Давыдов, американец Толстой, М. Ф. Орлов и гр. А. А. Закревский. Липранди пишет: «Пушкин не переносил, как он говорил, оскорбительной любезности временщика, для которого нет ничего священного, и пророчил Н. С. Алексееву разочарование в своем идоле» (Р. Арх., 66, 1454). Был женат на гр. Софии Потоцкой, красавице, очень умной, веселого открытого характера, но неимоверно рассеянной и не обращавшей внимания ни на какие светские условия. Впоследствии много занимался государственными крестьянами и был послом в Париже. Зная, что многие его не любят, он выразился однажды давнему своему знакомому П. А. Вяземскому: «человек ведь не червонец, чтобы все его любили».

45. Это наверное «Крюков I-й, А. А., р. 1794, сначала конно-егерского, затем кавалергардского полка, ад'ютант Витгенштейна. Отец его, тульский помещик и нижегородский губернатор, был богат и дал детям блестящее образование, собирая у себя московское общество. А. Крюков принадлежал к Южному Обществу, был добр, мягок, сибарит, гастроном, играл на гитаре и пел басом. Сослан на 20 лет в каторгу. Вернулся в 1865 г.

46. Генерал-квартирмейстер 2 армии в 1820 г. был ген-майор М. Я. Хоментовский, «отлично усердный исполнитель, честный по душе, для копировки карт отличный» (Гр. Киселев, Заблоцкий-Десятовский, I, 89).

47. Дежурным генералом 2 армии был ген. Байков (там же, 88).

48. Б...... Кто это, не ясно.

49. Б....м. Вероятно Бистром, Ф. Ант., артиллерии полковник, из корпусных инженеров, в 1821 г. член Союза Благоденствия, приезжавший с зеленой книгой из Киева в лагерь под Крапивну для вербовки членов (Липранди, Р. А. 66. 10, 1436); умер в Тульчине в 1825 г.

50. К....в. Возможно что Комаров Н., подполковник квартирмейстерской части, воспитанник университетского пансиона, член Муравьевского общества математиков, вышедший из Союза Благоденствия после московского с'езда 1821 г. В 1826 г. был вытребован в Петропавловскую крепость не арестованным. В показании своем упоминает В. П. Горчакова и Н. В. Бассаргина: «знал их прежде за невоздержанных в суждениях своих, но удостоверяю, что теперь в два раза, как они были в Москве, я ни одного слова не слышал от них противного долгу при нынешних обстоятельствах, а Бассаргин прежде был в обществе» (М. В. Довнар-Запольский, 37), Бассаргин называет Комарова «человеком не совсем чистых правил». (Записки Бассаргина, 14).

51. Стааль, Карл Густ., (1777—1853), генерал от кавалерии, московский комендант 23 года, с 1830 г.

52. Пушкин называл кн. П. А. Вяземского (1792—1878) «счастливый баловень судьбы», а не природы. П. А. Вяземский не говорил, что «в обществе неприлично говорить по-русски», но считал французский язык более выразительным для разговора в обществе.

53. Бурцев, И. Г., (1795—1828) воспитанник университетского пансиона, в военной службе с 1802 г., член Муравьевского О-ва математиков, с 1813 по квартирмейстерской части, в 1812—14 гг. участник многих боев. В 1817 г. участник тайного О-ва, ад'ютант Киселева. В Тульчине мешал господству Пестеля. Вышел из союза Благоденствия в 1821 г. В 1822 г. командир Украинского пехотного полка. Был арестован и после шести месяцев переведен на Кавказ младшим штаб-офицером в Мингрельский полк. Блистательные военные дарования и освобождение Ахалцыха доставили ему в 1828 г. чин генерал-майора. Затем следовал еще ряд успешных его действий. Смертельно раненый, умер 23 июля на пути в Трапезунд. Бурцеву принадлежит ряд статей, напр. «Русские святки в Эривани» и др.

54. Шлегель, И. Б., дивизионный врач 1820 г. Киселев очень ценил его и хотел послать в Таганрог во время болезни Александра I. С 1838 по 51 год был президентом Военно-медицинской Академии.

55. Орлов, А. Ф., (1786—1861) граф, затем князь. Старший из четырех усыновленных сыновей гр. Ф. Г. Орлова, от Т. Ф. Ярославовой. Воспитанник аббата Николя. Под Бородиным получил семь ран. К нему был близок Пушкин, которого Орлов убеждал не покидать коллегии иностранных дел, а если поступать в военную службу, то в конную гвардию, а не в лейб-гусары. В 1825 г. 14 декабря оказал услугу Николаю I, прискакав со своим конногвардейским полком на Сенатскую площадь. Близкий личный друг Николая I. С 1836 г. член Государ. Совета. С 1844 шеф жандармов. В 1856 председатель Государ. Совета и Совета министров.

56. Орлов, Григ. Ф., третий из сыновей Ф. Г. Орлова, (1790—1853), воспитанник аббата Николя, служил в коллегии иностранных дел, затем кавалергард, участник Прусского похода 1807 г. В 1812—14 гг. получил несколько ран и лишился ноги. В 1819 г. уволен за границу для лечения, а с 1825 г. в отставке и много лет провел в Париже, где женился на артистке Вирг. Вентцель, а затем жил во Флоренции.

57. Киселев, С. Д. (1792—1851), брат П. Д. На службе с 1810 г. конноегерского полка, с 1821 г. полковник в отставке, ж. на Е. Н. Ушаковой, воспетой Пушкиным. В 1837 г. московский

вице-губернатор, с 1838 г. председатель московской казенной палаты. Умер у себя в Елизаветине, Подольского у., Московской губ.

58. Киселев, А Д., третий брат, служил также в конно-егерском полку. Убит в Бородинской битве.

59. Киселев, Н. Д., четвертый брат, дипломат, (1802—1869) На службе с 1824 г. Приятель Пушкина. («Ищи в чужом краю» и т. д.). По Дерптскому университету был товарищ Языкова и В. Сологуба. В 1852—54 гг. посланником в Париже, затем во Флоренции и в Риме.

60. Ермолов, А. П., (1776—1861) известный генерал. В 1820 г. управлял Кавказом и командовал армией. Вигель называл его: «Русский народ вкратце».

61. Потоцкий-Щенсный, гр. Филипп Станислав, (1752—1805). В 1798 г. женился на разведенной Софье Конст. Витт.

62. Потоцкая, гр. Софья Конст., р. Глявоне, гречанка, прозванная la belle Fanariotte (1756—1822). В 1779 г. вышла за Иосифа Витт, а в 1798 г. за гр. Ф. С. Потоцкого, от которого имела 3 сыновей и 2 дочерей. П. А. Вяземский писал в 1819 г.: «Старуха, кажется, снова добирается до старой своей добычи» (намек на П. Д. Киселева). Портрет ее гравюрой очень распространен.

63. Киселева, Соф. Стан., р. гр. Потоцкая, дочь предыдущей по выражению кн. П. А. Вяземского, «Минерва похотливая». За гр. П. Д. Киселева вышла в 1821 г., но впоследствии развелась с мужем, которому, очень вредила по государственной деятельности. Портрет ее работы Гейзера.

64. Нарышкина, Ольга Стан., сестра предыдущей. Вышла за Л. А. Нарышкина, умерла 1861 г. Их дом на Фонтанке, впоследствии Шуваловский.

65. Б...в, генерал, вероятно Богданов. См. пр. 102.

66. Юзефович, Д. М., боевой генерал (1777—1821), отличился при Бородине. После взятия Парижа, комендант Нанси. В 1816—19 гг. командовал 1 драгунской дивизией, затем конно егерями. В 1821 заболел психически и умер в Ромнах, Полтавской губ.

67. П. И. Бартенев, в статье о Пушкине в Южной России, ошибкой считает Зеленый трактир в Кишиневе. По сообщению Д. Н. Свербеева трактир этот был в Киеве, на Печерской стороне (Воспоминания Д. Н. Свербеева, 11, 18).

68. Великопольский, вероятно Ник. Льв., в 1814 г. полковник, кавалер Георгия 4 ст., очень дальний родственник поэта Ив. Е. Великопольского. В списке 93 лиц, обративших внимание высшей полиции в 1827 г.: «Ген-майор Великопольский старшина игроков». Резолюция Николая I: «можно бы было под добрым предлогом выслать» (Р. Стар. 1885, ноябрь 396). Умер 1868 (Из архива деп. герольдии. За сообщение родословия В-х приношу искреннюю благодарность В. К. Лукомскому).

69. Санковская, Е. А., известная балерина, отличалась в Сильфиде, Фенелле и Деве Дуная. Сошла со сцены в 1854 г., умерла 1898.

70. Ирка, Матиас, р. 1829. Известная балерина, приглашена на Московскую сцену в 1847 г., уволилась в 1853. Умерла за границей.

70. Юные знакомые В. П. Горчакова—NN и М. М., неизвестны. Выписки из дневника Горчаковым делались в 1949 г.

71. Дуров, Киевский полицмейстер, возможно, что Николай, произведенный из камер-пажей в лейб-гусарский полк. Уволен штаб ротмистром «к штатским делам».

72. Орлова, Ан. Мих., жена Ф. Ф. Орлова, р. Наумова по сообщению О. П. Орловой В провинциальном некрологе значится: «Орлова, Анна Мих., жена полковника, р. 12 февраля 1799, умерла 27 марта 1868—Ростов Ярославский, Спасо-Яковлевский монастырь».

73. Л. В. Д.—Дубельт, Леонт. Вас., р. 1792, воспитанник Горного корпуса. В 1807 г. 14 лет произведен в офицеры. Был масон и состоял членом лож: «Эммануэль» в Гамбурге, «Астреи» в Петербурге, «Соединенных славян» в Киеве, где был наместник мастера, и «Золотого тельца» в Белостоке. (Р. Стар., 1907, III). В 1812 г. адъютант Манахтина и отличался храбростью. В Южной армии слыл за «крикуна-либерала». В 1829 г.

вышел в отставку, с 1835 г. начальник штаба корпуса жандармов, затем управлял III-м отделением и член главного управления цензуры. Умер в 1862 г.

74. Эккартсгаузен, известный немецкий писатель (1752—1803). В России особенным успехом пользовались его алхимические и мистические книги.

75. Юнг-Штиллинг, немецкий мистический писатель (1740—1817). В России пользовался у масонов большим авторитетом.

76. Дубельт, А. Н., р. Перская, жена Л. В. Дубельта.

77. Написано после отдачи Москвы и перед сражением при Тарутине.

78. Стихи Державина на рождение Александра I были напечатаны в «СПбург. Вестнике», 1779 г. и в «Собеседнике» 1783.

79. Раевский, А. Н., (1795—1869) воспитанник университетского пансиона, поступил в 5 Егерский полк. Друг и «демон» Пушкина, много лет влюбленный в Е. К. Воронцову. Выслан из Одессы М. С. Воронцовым. Вигель называет его «змий соблазнитель». Полковник в бессрочном отпуску, затем камергер. Женат на Е. П. Киндяковой. М. С. Воронцов считал Раевского и Пушкина «мерзавцами» (Вигель, VI, 172). Николай Николаевич Раевский (младший) (1801—1843) 21 декабря 1812 г. был переведен из Орловского пехотного полка, где он числился, в Егерский 5-й полк подпоручиком; с 1814 г. служил в Л.-гв. Гусарском полку и был назначен ад‘ютантом к И. В. Васильчикову. Живя тогда в Царском селе, познакомился с Пушкиным. С 1823 г. служил в Сумском, затем Курляндском драгунском и наконец в Харьковском полках. Был арестован по делу декабристов, но скоро выпущен. С 1826 г. назначен командиром Нижегородского драгунского полка, с которым участвовал в военных операциях на Кавказе и в Персидской кампании; откуда по интриге Паскевича был смещен. Впоследствии командиром 2-й бригады Конно-Егерской дивизии; на 1831 г. начальком 1-го отделения, а с 1839 всей Черноморской береговой линии. Ему посвящен Пушкиным «Кавказский пленник». *А. Л.*

80. Орлов-Денисов, гр. В. В., (1775—1844) генерал от кавалерии. Особо отличился под Тарутиным, где отбил 38 орудий.

81. Виллие, Я. В., шотландец (1767—1854). Лейб-медик и президент Медико-хирург. Академии. Начал службу в России батальонным врачем Семеновского полка.

82. Муравьев, Н. Н., (1768—1840). Генерал майор Муравьев I-й. Воспитывался в Страсбурге. Был масон. С 1801 г. поселился в Москве. Женат на А. М. Мордвиновой. Овдовел в 1803 г. У них пять сыновей и дочь. Основал частную школу колонноважатых, где сам преподавал, для подготовки офицеров квартирмейстерской части, или ген. штаба, что началось с домашних лекций по математике. Практические работы вперемежку с играми велись в селе Осташеве, или Долголядье, Можайского у., Московской губ. в 110 в. от Москвы. Первый выпуск школы был в 1816 г. Всего из его школы было выпущено в офицеры 138 человек из 180. Выйдя в 1823 г. в отставку, он занялся сельским хозяйством и завел образцовую ферму на Бутырках. Из его сыновей Александр и Михаил были близки к декабристам. О школе колонноважатых и ее основателе см. Н. В. Путята «Ген.-м. Муравьев Н. Н.», Спб. 1852 г., со списком колонноважатых. О школе этой говорит воспитанник ее Вельтман: «весело, свободно, легко, приятно: наука воплощалась в опыт, мысли и слово—в дело, голова не в разлуке с мышцами» (Л. Майков, Пушкин, 97).

83. Н. Н. Раевский, командуя в 1812 г. 7 пехотным корпусом армии Багратиова, при отступлении русских войск к Днепру, атаковал Даву и удерживал Смоленск до прибытия 2 армии. (Леер, Энцик. VI, 242).

84. Под Парижем Н. Н. Раевский вел атаку на Роменвиль и Бельвю.

85. На Бородинском поле Н. Н. Раевский защищал центральный редут, названный в его честь «батареей Раевского».

86. Муравьев, М. Н. (1796—1866) окончил Московский университет в 1811 г. Основал общество математиков—зародыш колонноважатых. Колонноважатый с 1811 г. Ранен под

Бородиным. В 1820 г. по нездоровью вышел в отставку. Из Тайного о-ва вышел в 1821 г. С 1826 г. вновь на службе. В 1824 управлял Межевым корпусом. С 1857 г. министр государ. имуществ, до 1862 г. В 1863 г. Виленский генерал-губернатор и команд. войсками; усмирял польское восстание. 1865 г. уволен. В 1866 г. председатель верховной комиссии по делу Каракозова.

87. Фридрих Вильгельм III (1770—1840), король Прусский, отец имп. Александры Федоровны.

88. Виртембергский, герцог, Александр, (1771—1833) генерал от кавалерии, принят на русскую службу по рекомендации Суворова. В 1811 г. Белорусский генерал - губернатор. В 1812 г. участник многих боев. В 1813 г. принудил Данциг к сдаче. С 1822 г. заведывал в России путями сообщения. Основал кондукторскую школу и училище гражданских инженеров.

89. Голенищев-Кутузов-Смоленский, кн. Мих. Ил. (1745—1813).

Перед началом Бородинского сражения выехал на высоту дер. Горки. За Бородино пожалован фельдмаршалом. Наполеон на о. св. Елены сознавался, что первый удар впервые почувствовал на Бородинском поле.

90. Воронцов, кн. М. С., (1782—1856). На Бородине защищал укрепления у д. Семеновской, выдержал напор Даву, Жюно и Нея, подкрепленного каваллериеи Мюрата. Из его сводной гвардейской дивизии в этот день уцелело 300 рядовых и 3 офицера и сам он был ранен в ногу, после чего выбыл в свое Андреевское Владимирской губ., где был им открыт лазарет. В 1832 г. назначен Новороссийским ген.—губернатором и наместником Бессарабской области. В Одессу прибыл 21 июля 1823 г. Впоследствии член государственного совета. С 1844 г. наместник Кавказа. С 1856 г. генерал-фельдмаршал.

91. Тучковы, братья: 1) Николай Ал. (1761—1812). На Бородине командовал корпусом, смертельно ранен пулею в грудь, 2) Александр, (1777—1812)—командовал бригадой, сражен картечью в грудь. Тело его было найдено через несколько дней женой, основавшей на том месте Спасо-Бородинский монастырь.

92. Уваров, Ф. П. (1773—1824), командовал 1 кавалерийским корпусом (2½ тысячи конницы с 12 орудиями), двинулся через р. Колочу на левый фланг противника и опрокинул кавалерийскую бригаду Орнано.

93. Платов, Матв. Иван., р. 1751 г. После решенного движения Уварова, перешел р. Война, зайдя в тыл неприятеля. Влияние маневра было огромно. (Леер 1, 485).

94. Ермолов, А. П., на Бородине действовал с величайшим самоотвержением и лично повел вперед, после вторичной атаки французов, первые попавшиеся войска и выбил неприятеля из занятой им так называемой батареи Раевского. См. 60.

95. Орлов-Денисов, см. 80. В Бородинском бою в корпусе Уварова.

96. Бахметев, Н. Ф., колонновожатый первого выпуска 1816 г. Уволен штабс-капитаном в 1823 г. Был преподавателем той же школы. Женился на В. А. Лопухиной, умер 1851. Двоюродный племянник А. Н. Бахметева.

97. Бахметев, А. Н. (1774—1841). Ген. от инфантерии. На Бородине на правом фланге, затем в центре, где ему оторвало ногу. С 1816 г. наместник Бессарабии.

98. Горчаков, кн. Андр. Ив. (1776—1855). Ген. от инфантерии,—Горчаков 2-й. Командовал левым крылом.

99. Мария Федоровна (1759—1828), императрица, жена Павла I с 1776 г.

100. Бухарин, И. Я., шведского происхождения. Р. 1772 г. Служил во флоте, с 1802 г. по министерству финансов и по городам на административных должностях. Гражданский губернатор Киева с 1820 до 1822 г. Сенатор. Овдовев, поселился в Москве, где пользовался общим вниманием. Ум. в 1858 г.

101. К. С. В. Не князь ли Сергей Гр. Волконский, (1788—1865)? Прозвищем Бехна. Кавалергардского полка, участник 58 сражений. В Киеве член масонской ложи «Соединенных славян». С Пестелем и Юшневским познакомился в Тульчине у гр. Потоцкой и участвовал в совещаниях в Каменке. В 1826 г. сослан в Иркутск. Вернулся в 1856 г.

102. Вероятно Богданов, Ник. Ив., родной дядя В. П. Горчакова, ген.-майор артиллерии. В списках генерал-майоров, отличившихся под Прейсиш-Эйлау в 1807 г. Богданов единственный на букву Б., не считая Барклая (Лефортов. архив, опись 152, связка 563 № 6). В 1812 г. Тульский гражданский губернатор и начальник ополчения (Лефортовский архив, опись 208, с. 84—5). След мать В. П. Горчакова Богданова?

103. Богданов, Пав. Ник.?

104. Волков, А. А., р. 1779 г. Воспитывался под наблюдением масона С. С. Плещеева и в пансионе аббата Николя. Служил в Семеновском полку и ранен под Аустерлицем. Полицмейстер Москвы, а с 1816 по 1826 московский комендант, затем начальник 2 округа корпуса жандармов. Ум. в 1833 г.

105. Одно из лучших новых зданий этой эпохи между 1812 и 1821 годами—старый университет Жилярди 1817 г. В 1819 г. Жилярди выстроил дом Луниных, где впоследствии был Государственный банк на Никитском бульваре; затем построил дом кн. Гагарина на Яузе, впоследствии Найденова. В 1817 г. выстроен манеж по проекту Бетанкура на Моховой и Александровский сад с решеткой по рисункам Бове. Дом университетской типографии в 1817 г.—постройка архитектора Бужинского.

105. Голицын, светл. кн. Д. В. (1771—1844), был Московским генерал-губернатором с 1820 г. и много озаботился благоустройством Москвы. Топи Неглинной превратились в сады и бульвары, рытвины за Петербургской заставой превращены в Петровский парк, земляные валы заменены бульварами, проведена вода из Мытищ, на площадях забили красивые фонтаны, устраивались выставки и пр.

107. Тормасов, гр. А. П. (1752—1819). С 1816 г. военный генерал-губернатор Москвы. Был выдвинут еще Потемкиным. Успешно действовал на Кавказе. В 1812 г. заменял Кутузова за его болезнью.

108. Кобрин, г. Гродненской губ. Дело 15/27 июля 1812 г. генерала Тормасова против Ренье и Кленгеля (взято 9 штаб и 54 обер-офицеров, 2234 рядовых, 8 орудий, 4 знамени). Замечательно точностью согласованных движений.

109. Троица на Вытроске—Покровского у., Владимирской губернии.

110. Горчаков, П. И., отец автора записок. Начал службу в Семеновском полку, из поручиков в капитан-поручики—1 января 1788. («СПбур. Вед.» 14 января 1788, № 4). Делал шведскую кампанию. См. кн. И. М. Долгорукова «Капище», с. 108 и «Записки», с. 169, 173, 174.

111. А. А. У. Возможно, что кто-нибудь из семейства Угримовых Влад. губернии.

112. Горчаков, Вл. Ив., дядя автора записок. Произведен одновременно с братом. См. пр. 110.

113. Мачин, городок Добруджи, на рукаве Дуная. Здесь в 1791 г. разбит Арслан-паша.

114. Григорьич, старый дядька В. П. Горчакова.

115. Смирнов, М. П., отец мужа А. О. Смирновой. Владения его были в Бронницком у., Московской губ., с усадьбой при с-це Спасском.

116. Театр на Знаменке в доме Ст. Ст. Апраксина с домашней оперой. Другой частный театр был в доме Воронцова также на Знаменке, впоследствии Бутурлиных. Григорьич вспоминал скорее театр у Арбатских ворот, где последнее представление было 30 августа, через четыре дня после Бородинского сражения, когда шла «Наталья боярская дочь» С. Н. Глинки.

117. Спожинки, или госпожинки, т.-е. праздник Успения.

118. Смирнов, Н. М. (1807—1870), служил в Азиатском департаменте. На А. О. Россет женился в 1832 г. Впоследствии Калужский губернатор, затем—Петербургский губернатор и сенатор. С 1867 г. в отставке. В обществе считался человеком довольно скучным.

119. Орлова-Чесменская, гр. Анна Алекс. жила под Донским монастырем в отцовском доме, где позднее был выстроен ныне существующий Нескучный дворец.

120. Дом Ник. Ник. Муравьева на Б. Дмитровке теперь перестроен, см. 82.

121. Английский клуб помещался в Муравьевском доме на Б. Дмитровке с 1818 г. до 1831, когда переведен на Тверскую.

122. Вобан, знаменитый инженер, р. 1633 г. в Бургундии, сопровождал Людовика XIV почти во всех его кампаниях, руководя фортификационными работами.

122. Осада Гамбурга. Французы с 1806 г. сделали вольный город Гамбург главным городом департамента устьев Эльбы. В 1813 немцы возмутились, взяли его, но французы вернули обратно; тогда ген. Беннигсен осадил в нем Даву, сдавшего город после взятия Парижа.

123. Муравьевская школа колонноважатых. См. прим. 82.

124. Николай Павлович, будущий Николай I (1796—1855).

125. Еруслан Лазаревич, сын дядьки 12 богатырей, сыновей царя Картауса Лазаря Лазаревича, витязь славный и сильный, герой излюбленной русской сказки, неоднократно издававшейся лубком.

126. Статья, направленная против Пушкина—«Письмо к редактору» жителя Бутырской слободы в «Вестнике Европы», 1820, № 11.

127. В письме от 4 декабря 1820 г. кн. П. А. Вяземский называет свое стихотворение «Послание к негодяю» (Остаф. арх. 11, 113). Карамзин писал Вяземскому: «Говорю от души. Оставьте меня в покое. Неприятели и друзья». (Старина и Новизна, 1, 109). В полном собрании соч. Вяземского имя Каченовского (Ш, 219) напечатано не в запятых.

128. Примечание редактора «Москвитянина» М. П. Погодина.

129. Стихотворение «Дориде», написано 1819 г., напечатано в Невском Зрителе 1820, ч. I, № 1.

130. Чье стихотворение «юноши поэта» неизвестно.

131. Скалозуб. Почему-то считали, что Грибоедов разумел в нем Аракчеева. Явная нелепость. Скорее это А. А. Закревский в карикатуре.

132. Толстой, П. А. (1769—1844) В 1807—8 гг. посол в Париже. Пятым пехотным корпусом командовал с 1816 г. В 1823 член Государственного Совета и затем председатель департамента военных дел, основатель Московского общества сельского хозяйства.

133. Дибич, И. И., барон, Забалканский (1785—1831), из Силезии; фельдмаршал. По квартирмейстерской части с 1810 г. В 1821 генерал-ад'ютант и начальник штаба 1 армии. В 1829 г., перейдя Балканы, занял Адрианополь.

134. Клястицы, селение Витебской губ., по дороге из Полоцка в Себеж. Бой 18 и 19 июля 1812 г., в котором Виггенштейн разбил маршала Удино, прикрыл дорогу на Петербург.

135. Полоцк, уездн. г. Витебской губ. на Зап. Двине. За Полоцк Дибич получил Георгия 3 ст. и генерал-майора.

136. К. Н. Р.—Раевская, Ек. Ник.; А. И. Тургенев в 1821 г. писал Вяземскому, что «по ней вздыхал Пушкин» (Остаф. арх. П, 168).

137. Шереметев, Алекс. Вас. (1800—1857). Окончил Муравьевскую школу колонновожатых, товарищ и друг В. П. Горчакова, участник Тайного общества. Сестры его за декабристами: Анастасия за Ив. Дм. Якушкиным, Пелагея за Мих. Ник. Муравьевым. Был близок к Ив. Ив. Пущину. Фед. Ник. Тютчев написал в его честь стихотворение, назвав «Мой брат по крови и по лени». Мать А. В. Шереметева, урожд. Тютчева Н. Н., друг Гоголя и Жуковского. А. В. Шереметев и Ф. И. Тютчев имели общего воспитателя, Раича. Об А. В. Шереметеве есть рукописные воспоминания Е. И. Якушкина. Ив. Дмит. Якушкин пригласил его возмутить московские войска, но он уклонился. Прозвище его было «Цыган» по оливковому цвету лица. Женился на троюр. сестре, Ек. Серг. Шереметевой.

138. Тютчев, Ив. Н, гвардии поруч., ж. на Ек. Льв. Толстой (1777—1866).

139. Тютчев, Фед. Ив., поэт, р. 1804 г. Наиболее раннее стихотворение его—послание к Меценату Горация, за что Об. Люб. Росс. Сл. 30 марта почтило 14-летнего поэта званием сотрудника. Второе стихотворение посвящено друзьям. У Горчакова были списки ранних стихов Тютчева.

140. Раич, Сем. Ег., 1792 г. В Москве был преподавателем словесности в университетском пансионе. С 1813 по 1820 г. воспитатель Ф. И. Тютчева, затем Андрея Ник. Муравьева и А. В. Шереметева. По показаниям Бурцева и Никиты Муравьева был членом Союза Благоденствия, но с 1821 г. уклонился. Автор многих стихотворений и переводчик «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Издатель «Галатеи». И. С. Аксаков называет его «олицетворением буколика, соединяющего солидного ученого с каким-то девственным поэтическим пылом и младенческим незлобием» (И. С. Аксаков, биография Ф. И. Тютчева, 12).

141. В стихотворении: «17 апреля 1818 года» Тютчев упоминает о ранних сношениях своих с Жуковским. С 1836 по 1840 год в Современнике было напечатано 39 стихотворений Тютчева, из которых двадцать четыре приняты еще Пушкиным.

142. К. Т., вероятно кн. Трубецкой, Петр Петр., (1793—1840), младший брат «диктатора». В 1819 г. ад'ютант Киселева, о котором А. А. Закревский писал его принципалу: «держи в руках» (гр. Киселев, Заблоц.-Десятовский 1, 97). В 1823 г. полковник гвардейской артиллерии. Уволен от службы в 1823 г.

143. Барятинский, кн. Адр. Петр., (1798—1844), воспитанник иезуитского пансиона. Лейб-гусар, ад'ютант главнокомандующего 2 армии Витгенштейна. Друг Пестеля и А. Крюкова. По-французски знал лучше, чем по-русски. В 1825 г. штаб-ротмистр, в Южном Обществе, начальник Тульчинской управы. Крайний матерьялист. Перефразируя Вольтера, выразился: «Даже если бы бог существовал, его надо было бы откинуть» и написал на эту тему стихотворение по-французски. Сослан на вечные каторжные работы, затем получил смягчение на 25 лет с обращением на поселение. С 1840 г. в Тобольске. Всегда заикался, а к концу жизни потерял способность речи.

144. Восстание греков. В 1821 г. Пушкин писал А. Раевскому о греках: «все говорили о Леониде и Фемистокле»; в 1823 г. называл их «des miserables» и «пошлые», а через год: «Греция мне огадила. Разбойники и лавочники». Независимость Греции осуществилась только в 1830 году при помощи России, Франции и Англии.

145. Яссы были древней столицей Молдавии до 1861 г.

146. Кипренский придал Пушкину темный цвет волос, на самом же деле он был темнорусый, а в молодости был светлый, согласно собственному стиху: Je suis blond («Я белокур»).

147. Раевский, Вл. Федосеевич, 1795, капитан. Интересно замечание В. П. Горчакова, что в долгих спорах Пушкина с В. Ф. Раевским первый иной раз соглашался с Горчаковым, а не с Раевским, получившим название «первого декабриста», хотя в заговоре он и не участвовал. Воспитывался в московском университетском пансионе, служил в артиллерии; за Бородино имел золотую шпагу. В 1820 г. в Кишиневе был в 32-м Егерском полку, где с ним был дружен Пушкин (см. письмо Пушкина Жуковскому). Раевский в спорах был горяч. Липранди называет его настроение «весело-мрачным». Киселев следил за ним по его «необузданному вольнодумству» (Заблоцкий-Десятовский 1,158). М. Ф. Орлов приблизил его и поручил преподавание во вновь заведенной ланкастерской школе. В. Ф Раевский писал стихи гражданского направления с оттенком религиозным. Пушкину он советовал не увлекаться восхвалением любви, «когда кругом струится кровь». Липранди сообщает, что, под влиянием В. Раевского, Пушкин стал серьезнее заниматься историей и географией, и ссылается на В. П. Горчакова. Раевский был арестован 5 февраля 1822 г. Он просидел до 1825 г., но к заговору 14 декабря оказался непричастен. В 1827 г. был сослан в Иркутск и поселился в ближнем селе Олоченах, где занялся сельским хозяйством и разводил арбузы, женившись на крещеной бурятке. Тщетно возбуждал он прошения о возвращении и был освобожден только в 1856 г.

148. Липранди Ив. Петр. (р. 17 июля 1790—1880). Отец его (умер 1810) мавр, выходец из Испании, выписанный из Италии Потемкиным, управлял всеми казенными фабриками при Екатерине II, женился на В. Я. Бибиковой; у него два сына—

Иван и Павел (р. 1796 г.) и дочь за Тухачевским. У Ивана был гувернер пьемонтец Мари. После смерти отца сыновья остались без средств, т. к. все пошло мачихе. В. П. Горчаков правильно отметил его «особенность», также и Вигель называет «не весьма обыкновенным». И. П. Липранди очень повредило его участие в раскрытии дела Петрашевцев, и потому к нему и в печати относились враждебно. Он участник войн 1806—1807 с шведами и 1812—15 с французами, 1828—29 с турками. Этот человек работал всю жизнь и оставил множество исследований и статей по вопросам военной истории, по расколу, о Пушкине и пр. Занимаясь им, подробнее удалось придти к выводу, что в «Выстреле» Пушкина Сильвио списан с И. П. Липранди, и в этом отношении догадка моя совпала с интересным исследованием Л. П. Гроссмана. П. И. Бартенев в своей статье о Пушкине на юге сообщил, что тема «Выстрела» передана Пушкину Липранди, но что последний, прочтя статью, заметил: «я этого рассказа не помню, желал бы знать источник». Здесь, очевидно, ошибка Бартенева, смешавшего передачу темы с прототипом. Пушкин любил его общество. И. П. Липранди имел несомненный дар разведки и потому был назначен еще в 1814 году при взятии Парижа на должность военно-полицейского характера. Он был взят по делу 14 декабря, но освобожден. Он и позднее во время турецкой войны 1828 г. вел так называемую контрразведку. Разумеется, предателем быть не мог. Полковник генерального штаба, он был человек большого образования и имел прекрасную библиотеку, но «передовые мысли» заменились несочувствием революции. В дела политические не вмешивался и только однажды, по настоятельной просьбе гр. В. А. Перовского, взялся за Петрашевцев, но в суде над ними не участвовал, оговариваясь, что с идеями нужно бороться идеями же. Липранди всю жизнь вел дневник. К сожалению, он едва ли отыщется. В семье Липранди существует предположение, что дневник был уничтожен одним из его сыновей! Это невознаградимая потеря. От писаний его веет необыкновенной точностью и правдой. Статьи его о Пушкине и замечания на

записки Вигеля драгоценны, да и в других статьях разбросано множество ценнейших подробностей. Портрета его не сохранилось, по крайней мере до сих пор не отыскивается. Помещенный в Одесском издании о Пушкине (вып. I, 74) оспаривается ввиду позднейшего мундира и чина (вып. II, с. 101), хотя лицо весьма подходящее. Едва ли это его брат Павел, известный генерал Крымской кампании (1796—1864), с которым также был знаком Пушкин, скорее это его сын. И. П. Липранди был знаток дуэлей, и о его пистолетах встречаются позднейшие упоминания. Он дожил до глубокой старости и мог бы на многое ответить, но видимо находился не в чести. Умер в бедности.

149. Этерия (вернее Гетерия)—товарищество, греческий тайный союз, основанный в 1814 г. в Вене. Символом был перстень с изображением совы, атрибута Минервы, и центавра Хирона с младенцем Юпитером иа плечах. Этеристы священной дружины А. Ипсиланти были одеты в черные гусарские мундиры с валашскими шапками, на которых были мертвые головы с двумя крестообразными костями. На знамени был красный крест и надпись «Сим победиши». Успеху движения не доставало единства действий, и оно кончилось разгромом. Карамзин писал П. А. Вяземскому: «Ипсиланти исчез. Молдавия и Валахия в крови и пепле». (Старина и Новизна, I, 44).

150. Наполеон умер 23 апреля ст. ст. 1821 г., но весть о том достигла Кишинева только 18 июля 1821 г., как это видно из дневника Пушкина.

151. «Гампширский телеграф» — периодическое издание, выходившее в Гампшире, южном графстве Англии.

152. Гудсон Лов, сэр, англичанин, губернатор о-ва Елены, причинял пленному Наполеону много неприятностей и стяжал худую славу. Был человек жестокий.

153. «Скарлат Прункул», говорит Липранди в своих воспоминаниях, «давал понять о своей будто бы близости к Пушкину, но В. П. Горчаков опроверг эту наглую ложь». У Ив. Конст. Прункула, члена Верховного Совета, было четыре сына:

Алеко, Панаит, Скарлат и Константин и одна дочь Кассуна, иначе Кассандра. По словам Липранди, из них старший был Алеко, скоро умерший. Скарлат Ив. Прункул умер в 1876 г. Он был низкого роста, гладко выбритый, в высокой шляпе и золотых очках, с толстой суковатой палкой. В «Бессарабских губ. Ведомостях» 1876 г. в № 99 помещен его некролог (Истор. Вестн. 1883, май 382—4, Предание о Пушкине Л. С. Мацеевича) с упоминанием о характере и шалостях Пушкина и указанием на свидетельство учителя Стоянова, что на все расспросы о Пушкине Прункул только отвечал: «Э, мальчуган, мальчуган». Прункулы родом из древней молдавской боярской фамилии, игравшей роль в истории Молдавии.

154. Варфоломей, Егор Кириллович—член главного верховного правления. В 1810 г. был исправником одного из цинутов Бессарабии, что равнялось аренде в сто тысяч душ. Разбогатев, славно угощал штат наместника и привык к бесцеремонности. На свои балы являлся в спальной скуфье и папушах, т.-е. в шлепанцах туфлях поверх шерстяных чулок; садился на диван, сбрасывал их с ног и, зевая, ободрял гостей ласковым словом: «Тонцуйте, тонцуйте—это хорошо!» (А. Ф. Вельтман, повесть «Два майора»,—Москвитянин 1848, 33—90). Тот же Вельтман оставил воспоминания о семействе Е. К. Варфоломея и его доме, перепечатанные в книге Л. Н. Майкова о Пушкине, где есть упоминание о В. П. Горчакове: «Когда по делам своим отец ее (Пульхерии) предвидел худую будущность, он принужден был влюбиться, вместо дочери, в одного из моих товарищей, но товарищ мой не прельщался несколькими стами тысяч приданого и поместьями бояр. «Мусье Горчаков», говорил ему Варфоломей, «вы можете положиться на мою любовь и уважение к вам».—«Помилуйте, я очень ценю вашу привязанность, но мне не с вами жить».—«Поверьте мне, что она вас любит», говорил Варфоломей. Но товарищ мой не верил клятвам отцовским». (Л. Майков, Пушкин, с. 121—122). Вигель называет Варфоломея «недобросовестный откупщик». В доме его он видел «атласные, бархатные диваны, мебели всех времен

и фасонов в азиатском и европейском вкусе», вместе с «самыми новомодными».

155. По словам повести «Два майора» Вельтмана, Варфоломей и жена его «тучнели в полном довольствии и опьянении самолюбия». Марья Дмит. Варфоломей была «во всей форме русская—говорливая, гостеприимная помещица».

156. О Костаки Прункуле см. 162.

157. Костаки Крупенский, сын вице-губернатора? см. 8.

158. Пульхерия Ег. Варфоломей. По словам Вельтмана: «полная, круглая, свежая девушка.... Пушкин особенно ценил ее простодушную красоту и безответное сердце, не ведавшее никогда ни желаний, ни зависти». Ее отличил Александр I, протанцовав с ней на балу. В ответ на любезности она обыкновенно отвечала: «Ah quel vous êtes!» Л. Н. Майков полагает, что ей посвящено стихотворение Пушкина «Дева». С. М. Бонди в своем исследовании «Новые страницы Пушкина» приводит новое стихотворение Пушкина «Если с нежной красотой...», посвященное по его удачному предложению ей. Имя ее внесено в Донжуанский список Пушкина. Н. С. Алексеев называет по ее поводу Пушкина и Горчакова соперниками (Переп. II, 215—16). Она вышла 12 лет спустя после от'езда Пушкина за Мано—греческого консула в Одессе и умерла в 1866 г.

159. Полторацкий 1-й М. П., учился в школе колонновожатых выпуска 1819 г., титуляр. сов., умер 15 июня 1851 г.

160. Полторацкий 2-й Алекс. Ив., р. 1802, из той же школы, выпуска 1820 г. С ним Пушкин был «очень близок». Им обоим и Горчакову посвящено стихотворение Пушкина «Вчера был день разлуки шумной.....»

161. Вельтман Алдр. Фом., р. 8-го июля 1800 г. в Петербурге, в 1811—12 гг. воспитывался в Московском университетском пансионе, в 1817 г. окончил школу колонновожатых и получил назначение в Кишинев, где его отличал Пушкин, несмотря на то, что тот хладнокровно делал замечания на его стихи. Вельтман оставил много сочинений и в том числе воспоминания о Пушкине. В 1828—29 гг. в Турецкую войну был

старшим адъютантом генерального штаба. В 1828 году выпустил «Начертание древней истории Бессарабии». В 1831 г. вышел его «Беглец» в стихах; то и другое печаталось под наблюдением Горчакова. Пушкин обещал написать разбор повестей «Странника» и «Беглеца», но помешала свадьба, и разбор, очень несправедливый, сделал Сомов, что встревожило Пушкина. С 1842 г. Вельтман стал помощником директора Оружейной палаты. Кроме литературного таланта, Вельтман обладал и другими, делал алебастровые статутэки с античных статуй, играл на гитаре, выдумал светильник без фитиля, сани, не боящиеся ухабов, чертил карты, издавал «Древности Российского государства» с рисунками Солнцева и пр.

162. Катинька, вероятно Ек. Зах. Стамо, дочь бояр. Рали, иначе Земфираки, 22 л., очень маленького роста с выразительным смуглым лицом, очень умная и начитанная. Пушкин любил болтать с ней, сохраняя приличный разговор. Мужа ее Стамо Пушкин за баранью физиономию прозвал bellier conducteur (Р. Арх., 66 г., Липранди, 1231—32).

163. Елена, вероятно Ел. А. Соловкина, жена полкового командира Охотского полка, р. Бем, по словам Липранди «одна из более интересовавших Пушкина» (Р. Арх., 66 г., 1235).

164. Кек, Валерий Тим., школы колонновожатых, выпуска 1821 г.

165. Алексеев, А. П. Начал службу в Мариупольском гусарском полку, полковник в отставке, был очень храбр, георгиевский кавалер, родом днепровский серб, послужил А. Ф. Вельтману героем одного из романов. Областной почтмейстер.

166. Монмартр в Париже, занят в 1814 г.

167. Мобеж, крепость во Франции близ бельгийской границы.

168. Калипсо Полихрони, гречанка, бежавшая с матерью из Константинополя в Одессу и поселившаяся в Кишиневе около половины 1821 г.; маленького роста, лицо длинное и сухое, грудь едва заметная, всегда нарумяненная; огромный нос, густые и длинные волосы, больщие огненные глаза, подведенные «сурьме». Пела по восточному в нос сладострастные песни с аккомпаниментом гитары и глаз. Говорили, что она была близка Байрону. Липранди утверждает, что Пушкин не был влюблен в нее, хотя и написал в ее честь «К гречанке».

169. Старов, Сем. Никит., полковой командир Егерского полка. С 1812 г. его близко знал Липранди, подробно рассказывающий всю его историю дуэли с Пушкиным. Позднее в 1831 году Старов признавался Липранди, что дуэль эта была капитальной глупостью с его стороны.

170. Трубецкой, кн. Ник. Никит., р. 1744, известный масон Розенкрейцер, друг Новикова.

171. Репнин, кн. Ник. Вас. (1734—1801). Фельдмаршал.

172. Железную палку свою Пушкин однажды в селе Вреве Псковской губ. и уезда, гуляя на усадьбе у Вревских около пруда, закинул в воду. «Так она там и осталась,» рассказывал Григ. А. Пушкин в 1899 г. Е. Н. Опочинину. (Е. Опочинин, На родной земле. М. 1900. Поездка в Михайловское, 32).

173. Возможно, что это Мортье (1768—1835), маршал Франции, назначенный в 1812 г. губернатором Москвы. В 1832 г. короткое время посол при русском дворе, в 1834 г. военный министр. Убит—адской машиной при покушении Фиески на короля Людовика Филиппа.

---

12. К. П. Зеленецкий. „Сведения о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе и Одессе“.

Константин Петрович Зеленецкий (1812—1858), по окончании Ришельевского лицея был командирован в Московский университет, где в 1837 г. получил степень магистра словесных наук. С этого же года он начал преподавать русскую словесность в Ришельевском лицее, где прослужил профессором до своей смерти. Автор ряда трудов по истории и теории литературы, Зеленецкий, как ученый, не представляет собою крупной величины.

Статьи его о Пушкине в Кишиневе и Одессе («Москвитянин» 1854, т. III, № 9, май, кн. I, отд. V, стр. 1—16), во многом основанные на показаниях лиц, знавших поэта, и на архивных документах, имеют значение первоисточника и в качестве такового заслуживают внимания.

Кроме двух перепечатываемых в настоящем сборнике статей К. П. Зеленецкому принадлежат еще работы о Пушкине: «О художественно-национальном значении произведений Пушкина», Одесса, 1854 г.; «Ризнич и Пушкин», Одесский Вестник 1856 г.—перепечатана в Русском Вестнике 1856 г., № 11 (июнь), стр. 203—209 и затем в книге Яковлева «Отзывы о Пушкине с юга России», Одесса, 1887 г., стр. 137—148; «Из записной книжки» в кн. «А. С. Пушкин». «Новонайденные его сочинения». II, М., 1885, стр. 95—96 и «Заметка о Пушкине и Мицкевиче» в Одесском Вестнике 1858 г., № 17.

---

*) В 1820 г. и — как по всей вероятности предположить можно — весною этого года Пушкин, определенный на службу в Кишиневе, оставил Петербург [4]. Неизвестно, что побудило его ехать на место своего нового назначения через Екатеринослав, тем более, что дорога и из Псковской губернии и из Москвы в Бессарабию лежит не на этот город [5]. Из статьи, написанной покойным братом поэта, Львом Сергеевичем **, знаем мы однако, что в Екатеринославе генерал Раевский нашел Пушкина в сильной горячке, и повез с собою на кавказские воды. С Кавказа вместе с семейством генерала, поехал он по Кубани и чрез Тамань в Крым. Тут, конечно, мог он быть и в Керчи, видеть Митридатову гору [8] и познакомиться с Броневским [9]. С Тамани Пушкин поехал морем на южный берег Крыма, и прожил тут три недели в Юрзуфе, в доме генерала Раевского [10]. Из Юрзуфа Пушкин, по всей вероятности, ездил в Бахчисарай, потому что в то время кроме этого города ничего не

* Примечание К. П. Зеленецкого к заглавию своей статьи: „Сведения эти сообщены нам их пр. Д. А. Вороновским и П. С. Пущиным [1], покойным Т. С. Марини [2], титулярным советником В. И. Гординским, помещиком П. С. Леонардом, надв. сов. В. З. Писаренко [3], сослуживцем Пушкина по Кишиневу и Одессе, и г. студентом Ратко. С целью собрать разные сведения о нашем славном поэте, предпринимали мы в январе нынешнего года и поездку в Бессарабию.

** Москвит. 1853, № 10 [6]. Заметим при этом, что отставной маиор Лев С. Пушкин умер не в Париже, а года через полтора по возвращении своем из столицы Франции, в Одессе, в июле 1852 г. [7]. Заграничная поездка поправила было его здоровье, и позволила продолжать службу при одесской портовой таможне, в которой был он членом. Лет за пять до его смерти не переставали мы повторять ему о необходимости написать полную биографию его славного брата.

было любопытного в Крыму [11]; а красотами природы мог он довольно налюбоваться, живя вблизи от Аю-Дага, у подошвы Яйлы, в виду Чатырдага и на самом берегу моря. По крайней мере, кажется, в жизни поэта не было другого случая, когда бы мог он видеть древнюю столицу крымских ханов *. Стихотворение же „Фонтану Бахчисарайского дворца" относится к 1820 г. **. По многим стихам в этом стихотворении видно, что оно написано на самом месте фонтана [12]. Каким путем Пушкин отправился с южного берега в Кишинев,—не знаем. [13].

А. С. Пушкин был назначен, в звании чиновника министерства иностранных дел, и в чине коллежского секретаря, состоять при исправлявшем должность полномочного наместника Бессарабской области генерал-лейтенанте Иване Николаевиче Инзове [14]. В Кишинев Пушкин прибыл в половине сентября 1820 г., вероятно около 20 числа этого месяца. По крайней мере письмо его к брату от 24 сент. того же года, содержащее в себе как бы отчет в поездке его из Петербурга и в пребывании на водах и у Раевского, обличает скорость своего отправления по приезде на место постоянного жительства.

Приехав в Кишинев, Пушкин остановился в небольшой горенке в гостинице русского переселенца, Ивана

* Смотри ниже.

** См. стихотворения Александра Пушкина, часть I, Спб. 1829. Издание это драгоценно потому, что в нем стихотворения распределены в хронологическом порядке, с означением годов и под наблюдением самого автора. В этом издании есть и такие произведения, каких в изданиях 1838 года нет.

Николаева *. Кажется, вскоре после того он переехал в дом Инзова. На дом этот до сих пор еще все в Кишиневе указывают, как на постоянное место жительства Пушкина в этом городе. Этот большой, двух-этажный дом, со службами, построен на краю города, на возвышении, господствующем над окрестностью, и в то время окружен был садом и виноградником. Тут же находился и канареечный и других птиц завод, составлявший предмет особенного любопытства жителей. Сам Инзов, никогда не быв женат, любил садоводство и ботанику, а к Пушкину привязался, как к сыну. Теперь дом, жилище Инзова, приходит в развалины, а от сада и виноградника осталось два—три дерева, да несколько кустов **.

Тогдашний Кишинев не похож был на нынешний. Весь он заключался в теперешнем, так называемом, Старом городе, который тогда был еще более грязен, и ныне следы своего прежнего азиатского характера сохранил только в кривых улицах. От пушкинского времени остался еще ряд низких

* См. „Выдержки из дневника Вл. Горчакова" [15]. (Москвит. 1850, № 2). Не можем с сокрушением сердечным не пожалеть, что эти драгоценные „Выдержки" не продолжаются. В них так много характеристического, относительно последних годов царствования императора Александра, а с другой стороны так много коренной русской души, русского ума, русского взгляда на жизнь, русского чистосердечия, что, живя здесь, не в Великой, а в Новой России, плачешь и просишь о продолжении.

** Инзов нанимал этот дом после своего предшественника, генер. Бахметева [16], который был первым полномочным наместником Бессарабии, по присоединении этого края к России. Дом этот принадлежит семейству Донич. После Инзова он много потерпел от землетрясения. Гравированный вид его приложен был к Одесскому альманаху на 1840 г.

лавок с тяжелыми колоннами и сводами. Эти лавки на столь же искривленной как и другие, но некогда самой большой и многолюдной, улице. На ней часто видали нашего поэта с длинными волосами, в фуражке, или с коротко остриженными, в красной феске *, с железной палицей в руке, иногда даже, так как он с Кишиневым не церемонился, в пестром архалуке. Это последнее свидетельствуют многие. Нового города с его прямыми улицами, прекрасными, белыми домами, садом и бульваром, тогда почти не было еще. В нем построены были только митрополия и дома вице-губернатора Крупенского [17] и члена Верховного Правления Варфоломея [18].

Инзов ласкал Пушкина, и когда запрещал ему итти в какое-нибудь общество или собрание, поэт сердился, не шел к обеду, сказывался больным. Дом Инзова служил и местом ареста. Так наприм., за известную пощечину, данную мужу одной дамы, которая назвала поэта трусом [19] **, должен

* Пушкин иногда подвержен был горячке; а потому принужден был брить голову, и тогда, в коротком кругу, носил феску. Вообще же он отращивал волоса. Таким образом В. П. Горчаков в ноябре 1820 застал его в Кишиневе с короткими волосами, а по вторичном прибытии в тот же город в начале 1821 уже с длинными. (См. вышеозн. „Выдержки"). От того-то и разноречия в показаниях о головном уборе Пушкина. Усов он не носил.

** У Льва С. Пушкина „оскорбительная дерзость". П. С. Пущин, как очевидец этой истории, прибавляет однако, что во время расправы с мужем, в руках Пушкина был пистолет. Нельзя не желать, чтобы при новом издании сочинений Пушкина, которое, как слышно, готовится, внесены были в его биографию и разные анекдоты о нем, как наприм. лицейские стихи: „И изумленные народы", и проч.; случай с г-жею Кирхгоф, первое свидание поэта с Вл. П. Горчаковым в театре, описанное столь живо в „Выдержках". В этом описании верный портрет внешней физиономии Пушкина.

он был, по словам П. С. П. [20], просидеть две недели. Аресты и запрещения являться куда-либо, а вследствие их и неявки к столу случались однако редко. Пушкин, как мы сказали, жил у Инзова, обедал, по большей части у него же и проводил время по произволу. У себя читал, писал и часто стрелял восковыми пулями в цель из пистолета. Вечера проводил он в обществах, танцовал, влюблялся, играл в карты.

Тогдашнее кишиневское общество разделялось на два отдела, связанные между собою общими условиями образованности,—отделы русский и молдавский *. Это было общество военных и гражданских чиновников, состоявших по службе при генералах И. Н. Инзове и Михаиле Фед. Орлове **, командовавшем дивизиею, штаб которой находился в Кишиневе, и потом общество туземных бояр и помещиков. Мих. Фед. Орлов в 1821 году женился на дочери генерала Раевского, в Киеве, и в том же году воротился в Кишинев вместе с супругою. В русском обществе были Фед. Фед. Орлов [22] брат Мих. Фед.; П. С. Пущин, бригадный генерал; братья А. Л. и В. Л. Давыдовы [23]; Вл. П. Горчаков; Н. С. Алексеев ***, и нумизмат, статский советник

* В 1820 году, через восемь лет по присоединении Бессарабии к Российской империи, разница в этих обществах не могла не быть разительнее, нежели теперь.

** Позднее, живя в Москве, он издал сочинение о государственном кредите [21].

*** К этому-то Н. С. Алексееву [24], по поводу скромной любви его к супруге товарища, которая была молдаванка, писано послание Пушкина. В издании его стихотворений 1829 года, оно помещено под 1821 годом. (См. „Выдержки из Дневника" Москвит. 1850; (№ 2, стр. 157). Замечательно, что большая часть стихотворений Пушкина вызвана жизнию или впечатлениями природы, которые поразили самого его, и носят на себе печать их. Потому-то публика и в праве ожидать от нового издания сочинений Пушкина, что в этом

Эльфрект [25]. Два последние состояли при канцелярии Инзова. Братьев Раевских, Александра и Николая Николаевичей, тогда кажется не было в Кишиневе [26]. Понятно, что родное чувство поэта находило обильную пищу для себя в этом обществе, которое заменяло ему, в известной мере, родной очаг Севера. Из туземных семейств во время Пушкина, в Кишиневе наиболее принимали у себя семейства: Ипсиланти [27], вице-губернатора Крупенского, губернатора Катакази [28], члена Верховного совета Варфоломея.

„С каждого вечера, говорит очевидец, Пушкин сбирал новые восторги и делался новым поклонником новых, хотя мнимых, богинь своего сердца“. Повторим слова поэта:

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет; в нем любовь
Проходит и приходит вновь:
В нем чувство каждый день иное.

Из тогдашних девиц в кишиневском обществе, Пушкину более других нравились боярышни-куконицы: одна из сестер Россети [29], которой ножки, как вообще в Одессе и Кишиневе убеждены были в то время, воспел он в первой главе Онегина *, Варфоломей [30], которая вышла потом за-

издании, по крайней мере большая часть мелких сочинений, содержащих в себе именно впечатления жизни, будут пояснены возможно полными примечаниями.

* Что это были ножки одной из южных красавиц, подтверждается стихами:

Взлелеяны в восточной неге,
На северном, печальном снеге
Вы не оставили следов:
Любили мягких вы ковров
Роскошное прикосновенье ⁰.

⁰ Доселе еще в домах бессарабских помещиков много широких, восточных диванов и ковров. Ковры эти ткут туземные крестьянки и очень искусно.

муж за греческого консула в Одессе, г. Мано, и отличалась редкой красотой; Прункул [31], брюнетка небольшого роста, девица очень образованная, тогда резвая, шаловливая и милая до чрезвычайности, и наконец m-m Э. [32], пред которой вздыхал и Н. С. Алексеев. (См. послание к нему).

Живя в Кишиневе, Пушкин проказил немилосердно. По всему видно, что он не дорожил кишиневским обществом, которое по доброй или недоброй воле, терпело его шалости, по большей части ни для кого однако не оскорбительные. Свиньина [33], кажется, издателя прежних „Отечественных Записок“, бывшего в Кишиневе вскоре после Пушкина, любили там гораздо менее, нежели Пушкина: это выдавали нам за достоверное люди, заслуживающие всякого доверия *. Как бы то ни было, кажется, на кишиневцах Пушкин, сознавший уже в то время свое назначение в русской поэзии и жизни, хотел выместить досаду на свое пребывание в тамошней полу-ссылке ** и на отдаление от Петербурга. Каждый день выходили с ним истории, и в одной из них поэт наш повел себя круто. За картами поссорился он с каким-то господином из кишиневской молодежи, и за обиду отплатил ему неслыханно оскорбительным образом. Инзов, чтобы предупредить всякие дальнейшие неприятности, командировал Пушкина в Измаил [35],—куда он в это время и ездил; а его противника, совершенно в противопо-

* Кроме Свиньина, из литераторов наших в Кишиневе был еще Вельтман [34], как показывает и его „Странник“; не знаем только при Пушкине или потом.

** Что пребывание Пушкина в Бессарабии было полу-ссылкой, ссылаемся на словарь Бантыша-Каменского. (Часть II, 1847 Дополнение, стр. 68).

ложную сторону, в Новоселицу *. Впоследствии добрый начальник помирил их [36].

Заметим, что следы пребывания Пушкина в Измаиле сохранились в послании к Баратынскому, при котором именно упомянуто, что оно писано из Бессарабии [37], тогда как при других посланиях, писанных из Кишинева и следовательно из той же Бессарабии, этого упоминания нет. Стихотворение это относится к 1822 году **. Вот стихи, указывающие на Измаил:

Сия *пустынная* страна
Священна для души поэта,
Она *Державиным* воспета [38]
И *славой русскою* полна.
Еще доныне тень Назона [39]
Дунайских ищет берегов . . . .
. . . .
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого ***.

В Бессарабии ходит по рукам много стихов, приписываемых Пушкину. Без сомнения, большая часть их принадлежит не ему; да и об остальных тоже ничего достоверного, в этом отношении, сказать нельзя. Между этими стихами есть описание кишиневского общества 1820-тых годов. Вот стихи из этого описания [40].

* Случай этот передан нам тогдашним сослуживцем Пушкина, В. З. Писаренко. Он прибавляет, что Пушкин в порыве гнева, снял с ноги сапог и подошвой ударил противника в лицо. П. С. Пущин ничего не знает об этом происшествии; но он оставил Кишинев в начале 1822 года. Пушкин же оставался там до весны 1823 года.

** См. издание стихотворений Александра Пушкина 1829 года. Если история с подошвой случилась в 1822 году, то П. С. Пущин, который, быв тогда уже в Одессе, мог и не знать о ней.

*** Окрестности Измаила несравненно пустыннее, нежели окрестности Кишинева. Измаил лежит в Буджакской степи.—Державин написал знаменитую оду на взятие Измаила. Кагул лежит неподалеку от этого города.—Берег к Дунаю крут в Измаиле. Берега речки Быка в Кишиневе плоски.

Музыка Варфоломея,
Становись скорей в кружок
Инструменты строй живее
И играй на славу дрок! *
Наблюдая нежны связи,
С дамой всяк ступай любой;
В первой паре К. [41]
С скромной С. [42] женой.

Стихи эти однако, должно заметить, не обличают пушкинского стиха. Под именем Пушкина ходит еще эпиграмма, которую, однако, помнится, читали мы где-то в печати:

Не спорю, милый мой,—умней ты многих,
Да только не людей, четвероногих.

Вот еще начало стихов, уже с большим правдоподобием приписываемых Пушкину:

О ты, прескучный город Кишинев, [43]
Тебя язык бранить не перестанет.
Там лавки грязные жидов...

Пушкин прожил в Кишиневе с сентября 1820 года по май—июль ** 1823 года, и думаем безвыездно, кроме вышеозначенной поездки в Измаил [44].

7 мая 1823 года, генерал-лейтенант граф (ныне светлейший князь) М. С. Воронцов [45] был назначен новороссий-

* Национальный молдавский танец.

** Смотри ниже.

ским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области. 28-го июля того же года граф в Кишиневе принял должность от генерала И. Н Инзова, который, по случаю увольнения графа Ланжерона [46] в июле 1822 года в отпуск, за границу, управлял краем, и который, в то же время, назначен был главным попечителем иностранных переселенцев южного края России *. В это время канцелярия полномочного наместника Бессарабской области была переведена из Кишинева в Одессу. Вместе с нею и чиновники этой канцелярии,—в числе их и Пушкин—перешли в штат графа Воронцова. Все они переехали на жительство в Одессу, потому что граф избрал местом своего постоянного пребывания этот город **.

В Одессе Пушкин жил сначала в Hôtel du Nord, на Итальянской улице, ныне дом Сикара [47]. Тут, по свидетельству П. С. Пущина, писал он своего Онегина, на лоскутках бумаги, полураздетый, лежа в постеле. Однажды, когда он описывал театр, ему заметили: не вставит ли он в это описание своего обычая наступать на ноги, пробираясь в креслах. Пушкин вставил стих:

Идет меж кресел по ногам

* См. историю Одессы, составленную Кон. Смольяниновым. Одесса. 1853, стр. 189.

** Когда именно граф М. С. Воронцов прибыл в Одессу, мы не могли узнать; но старожилы помнят, что это было во время сильных жаров, следовательно, вероятно, в июле. Известно, что самые сильные жары бывают в Одессе между началом и 21 июля. В. З. Писаренко сказывал нам, что И. Н. Инзов, при первом свидании своем с новым наместником в Аккермане, куда отправился он, конечно, навстречу ему, сдал и Пушкина на руки графу.

Потом поэт наш жил на Ришельевской улице, на углу ее с Дерибасовскою, в верхнем этаже дома, принадлежавшего сперва барону Рено, [48] а потом его дочери княгине Кантакузеной. Окна дома выходят на обе улицы, и угóльный балкон принадлежал поэту, который налево с него мог видеть и море. Почти в глазах у него был театр—тогда тот же, что и ныне—и одноэтажный дом, в котором лет за 8 до того жил герцог Ришелье [49] (теперь здание Ришельевской гостиницы). Далее к театру, на другом углу того же квартала, и против дома Ришелье, помещалось казино, о котором упоминает он в Онегине, при описании Одессы, и в котором сиживал он иногда в своем кишиневском архалухе и феске.

Наряд этот Пушкин оставил в Одессе. Здесь на улицах показывался он в черном сюртуке и в фуражке или черной шляпе, но с тою же железной палицей *. Сюртук его постоянно был застегнут и из-за галстуха не было видно воротничков рубашки. Волоса у него и здесь были острижены под гребешок или даже обриты **. Говорят еще, что на руке носил он большое золотое кольцо с гербовой печатью.

* Подобную же, железную палицу носил в Одессе, потом уже после Пушкина, Тепляков, поэт не без достоинств. У него на палке начертано было memento mori. Тепляков жил в Одессе, кажется с 1830 по 1834 год [50].

** Никто, впрочем, из тех, которые знали Пушкина в Кишиневе и в Одессе, и с которыми мы имели случай говорить, не помнят его больным. Могло однако случиться и так, что поэт был болен и не все знали о его болезни. Стихотворение же к NN, начинающееся словами: „Я ускользнул от Эскулапа“ [51] относится к его болезни в Петербурге, а не к той, после которой был он в 1820 году на Кавказе, ниже к другой какой-либо. В изданиях стихотворений 1826 и 1829 годов, эти стихи самим автором помещены под 1819 годом,

В то время, при графе Воронцове, служили многие молодые люди, достигшие в последствии важных государственных должностей. Пушкин особенно близок был с Алекс. Ирак. Левшиным [53]; с Александром Ник. Раевским [54], который жил тогда в Одессе, и имел на нашего поэта какое-то господствующее влияние; с братом его Николаем [55], который приезжал иногда в Одессу; с Туманским [56], поэтом, о котором упоминается при описании Одессы, и с некоторыми другими молодыми людьми.

Конечно, в издании 1841 г. (том IX, стр. 200 и 201) сказано: „Я занемог гнилою горячкою. Лейтон [52] за меня не отвечал. Семья моя была в отчаянии; но через шесть недель я выздоровел... Это *было в феврале 1821 года.* Первые восемь томов русской истории Карамзина вышли в свет. Я прочел их в своей постеле с жадностью“. Справедливо однакож замечает автор „Выдержек из Дневника“, что „все это могло быть в 1819-м году“ (когда было написано и стихотворение к NN) „или в феврале 1820 года“. В феврале 1821 года Пушкин был уже в Кишиневе, где Лейтона, сколько нам известно, не было. Первые три тома Истории Государства Российского, второго слениновского издания, вышли в 1818 году, следующие же пять (4, 5, 6, 7 и 8), в 1819 году; (остальные—с 1821 по 1824). Приняв в соображение, что стихотворение к NN писано в 1819 году, что слова: „Я ускользнул от Эскулапа больной, обритый но *живой*“, можно было написать только после тяжкой болезни, что „Отрывки из записок А. С. Пушкина“ (Изд. 1841 г. т. IX, стр. 200—202) в первый раз явились в печати уже по его смерти, что в последующих словах в отрывке на стр. 201 „Когда, по моем выздоровлении, *я снова явился в свет*, толки были во всей силе“,—под словом „свет“, разумеется, конечно, не кишиневский свет; что первые 8 томов И. Г. Р. в слениновском издании вышли в 1818—1819 г. и что издание сочинений Пушкина 1838—1841 отличается особенной неисправностию,—приняв, говорим, всё это в соображение, мы, кажется, вправе заключить что и стихотворение „Я ускользнул от Эскулапа“ и отрывок в Записках А. С. Пушкина (стр. 200—202. Изд. 1841) относятся к одной и той же болезни, которою, как по всему выходит, Пушкин одержим был в Петербурге, в феврале 1819 года.

Достоверно, что Пушкин знаком был еще в Одессе с каким-то англичанином [57], которого в письмах своих называл „единственным умным атеем, какого он встречал“, называя при этом случае атеизм „системой, не столь утешительной, как обыкновенно думают“. Вообще Пушкин в это время, если и был иррелигиозен, то только на словах. Демон и многие другие стихотворения показывают, что в душе его таилась глубокая, благотворная теплота, источник самого искреннего верования. Пушкин в глубине сердца, был одно, а другое был он в свете, в кругу молодежи, с которою желал делить все заблуждения молодости.

В Одессе так же, как и в Кишиневе, Пушкин по утрам читал, имея здесь порядочный запас для этого в бывшей французской книжной лавке Рубо; писал, стрелял в цель, гулял по улицам. Обедывал он то у Дмитраки [58], в греческой ресторации, то на Итальянской улице, в Hôtel du Nord, вместе с польскими, из соседних Киевской и Подольской губерний, помещиками, которые, как сказывали нам, умели приласкать его к себе, хотя по словам людей, в то время близких к нему, он не любил польского языка. С товарищами своими Пушкин обедал, по большей части, у Отона [59], которого ресторация помещалась в маленьком доме, на Дерибасовской улице, где потом уже в большом двухэтажном доме был модный магазин m-me Стод, а теперь m-me Помазини. Довольно часто обедал Пушкин и у графа, которого стол открыт был постоянно для всех служивших при нем. Тогда граф не имел еще собственного дома в Одессе и лучшая часть города, где теперь бульвар, не существовала. На место это вывозили мусор и навоз. Граф жил

тогда на Херсонской улице, в доме Фундуклея, где помещался потом (до 1833 года) Институт благородных девиц. Канцелярия же генерал-губернатора, которую тогда и долго потом, обыкновенно называли „графской“ и куда Пушкин хаживал получать свое петербургское жалованье, помещалась на той же улице, ближе к больнице, в доме Ромаре [60].

Очевидцы сказывали нам, что иногда, в после-обеденное время, а иногда и в лунные ночи, Пушкин езжал за город, в двух верстах от него на дачу, бывшую Рено [61], где открывается весь полукруг морского горизонта, и где летом 1828 г. е. и. в. государыня императрица Александра Феодоровна изволила иметь свое пребывание. При Пушкине на даче этой не было ни больших построек, ни роскошных беседок с мраморными статуями и обелисками, которые расставлены были в них впоследствии. Тогда это было дико-поэтическое место уединения, в котором наш поэт, конечно, бродил над морем, и, внемля говору его валов предавался своим заветным мечтам. Можно думать, что стихотворение „К морю“

Прощай, свободная стихия,
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой,

было написано в этом уединении. Поэт прощался в нем с стихией, которая подарила его многими, столь прекрасными думами *.

* В издании 1829 г. оно помещено под 1824 годом. В этом году Пушкин оставил Одессу.

Старик-извозчик, по прозванию Береза, который долго был при здешнем клубе и по ночам отвозил запоздалых гостей домой, рассказывал, нам что как-то Пушкин не заплатил ему за одну из подобных поездок, на „хутор“ Рено. На другой день явился он к „графскому чиновнику“ и требует денег. Пушкин брился в это время. Увидя дерзкого извозчика у себя в комнате, он бросился на него с бритвою в руках. Бедняк едва успел спастись. Деньги, разумеется, были отданы потом; но этим случаем, как и другими, Пушкин вселил к себе, так называемый „респект“ в простом народе.

Вечера свои в Одессе Пушкин проводил, по большей части в обществе. В то время у графа бывали танцовальные вечера по два раза в неделю. Наш поэт был непременным их посетителем. Тут внимание его обращала на себя m-elle Бларамберг [62], одна из дочерей известного архeолога. Пушкин бывал еще у негоцианта Ризнич *. Здесь молодая жена хозяина, человека уже не первых лет [63], составляла душу общества. Она была родом из Генуи, славилась красотой и страстно любила играть в карты. Пушкин с своими друзьями бывал у ней довольно часто, играл, волочился за хозяйкой. Не к ней ли написано стихотворение: „На языке, тебе невнятном“ **. Г-жа Ризнич вскоре потом уехала за границу,

* В его собственном доме, на Херсонской, на углу, наискось от дома генерала Пущина, против нового здания Ришельевского лицея. Этот дом принадлежал потом Арсеньевой, после Нарольскому. В 1852 г. бывали в нем литературные вечера, по наследству перешедшие сюда, в Одессу из Москвы, от покойного Ф. Ф. Кокошкина [64].

** В издании 1829, стихотворение это отнесено к числу писанных в разные годы. В этом отделе занимает оно второе место и напечатано после сти-

где и умерла. Другие вечера поэт наш проводил в театре, в casino, у друзей.

Между тем, живя в Одессе, Пушкин продолжал шалить. Обстоятельство же, что никакой особенной должности, никаких занятий по службе он не имел, наводило в большей части публики сомнение в его дельности. Раз, в 1824 г. дали ему в распоряжение два батальона солдат и послали с ними в Херсонский уезд истреблять саранчу. Вместо всякого оффициального донесения по этому предмету, он прислал стихи:

Саранча
Летела, летела,
И села;
Сидела, сидела,
Всё сʼела
И вновь улетела *.

Подобные истории еще бы ничего; но шалости 25-летнего поэта иногда переступали всякую меру, особенно в эпиграммах. Это-то, равно как и разные знакомства (см. выше) было причиною, что, вскоре после своей херсонской

хов „Птичка", которые начинаются словами: „В чужбине свято наблюдаю". Нельзя ли заключить, что под чужбиною разумеется здесь Одесса. И что стихотворение „На языке тебе невнятном", тут же помещенное, то же принадлежит Одессе. См. в статье Л. С. Пушкина. (Москвит. 1853, № 10) [65].

*) Подлинник этого оригинального донесения хранится, как мы слышали, в одном из частных архивов. В публике стихи эти передаются изустно во множестве редакций. Этот факт передан нам В. З. Писаренко, который тогда же, в одно время с Пушкиным, отправлен был с тем же поручением в Тираспольский, ныне Одесский, уезд, и также с двумя батальонами солдат [66].

командировки, Пушкин принужен был оставить Одессу. Из Словаря Бантыша-Каменского знаем мы, что он был выслан из нее в имение отца своего, стат. сов. С. Л. Пушкина, село Михайловское, Псковской губернии, Опочкинского уезда, с тем, чтобы он находился под надзором местного начальства *. Пред выездом из Одессы наш поэт получил 389 р. ас. прогонов на 1621 версту, на три лошади. Сверх того, из собственной канцелярии генерал-губернатора отпущено ему было 150 р. ас. в зачет причитавшегося ему за майскую треть жалованья, которое из Петербурга высылали в эту канцелярию, но за означенную треть выслано не было **. Из Одессы Пушкин выехал 30 июля (1824) и, обязавшись подпиской в точности следовать назначенному маршруту—почему и освобожден был от того, чтобы особый чиновник провожал его.—Минуя Киев, через Николаев, Елисаветград, Кременчуг, Чернигов, Витебск, прибыл он на место своего назначения августа 9, того же 1824 г. ***.

Нечего и прибавлять, что судьба в то время как-будто приберегла для нас Пушкина, тогда пылкого и буйного,

* Сведение это заимствовано Бантышем-Каменским из послужного списка А. С. Пушкина. См. Словарь достопамятных людей. 1847, часть II, дополнение. Там помещены некоторые подробности, которые мы сочли излишним повторять. Нам сказывали, что в Опочкинском имении своем Пушкин жил под ближайшим наблюдением помещика Новоржевского уезда, Рокотова [67].

** С 1 мая по день увольнения вовсе от службы (8 июля), Пушкину следовало всего 128 руб. ас. с коп.

*** Все эти подробности сообщил нам, за несколько лет перед этим, покойный тайн. сов. Марини, у которого в доме случайно нашли мы дело о выезде Пушкина из Одессы.

удалив его сперва в Бессарабию из шума столичной жизни, где подвержен он был искушениям разного рода, и потом из Одессы, под родительский кров. Тут он углубился в самого себя, читал, размышлял и созрел для славы современного царствования в цветнике отечественной поэзии В 1826 г. великий государь прозрел в назначение Пушкина и призрел его у своего престола.

На пути из Одессы в Михайловское (1824), Пушкин проехал, так сказать, по сердцу Малороссии и видел Омельник, Решетиловку, Белоцерковку, Хорол, Лубны, Пирятин, Прилуки и Нежин *. Ехал он, следовательно,—судя по рассчету десятидневной езды, с явкою к начальству в Пскове—и по ночам, делая в сутки от 180 до 200 верст. Полтавскую губернию, поэтому проезжал он между 2 и 4 августа. В эту пору малороссийское лето бывает во всей еще прелести своей, а тамошние ночи, особенно в начале августа, полны восхитительной неги. Не они ли нашептали нашему поэту, если не всю Полтаву, то известные стихи:

Тиха украинская ночь,
Прозрачно небо; звезды блещут;
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.

Надобно заметить, что до сих пор память пребывания Пушкина в Кишиневе сохранилась почти по всей Бессарабии. В Одессе, при ее подвижном населении, помнят его гораздо менее. Потому в Бессарабии народный вымысел не

* Так идет почтовая дорога [68],

упустил отнести к имени поэта множество такого, чего с ним никогда не было и приписать ему много таких стихов, которых он никогда не сочинял *.

Один только вопрос остается не вполне решенным. Это—ездил ли когда-либо Пушкин из Кишинева и Одессы в Крым и на Кавказ, или оставался он постоянно в этих городах, за исключением двух небольших поездок в Измаил и в Херсон, о которых упоминали мы выше [69]. Бантыш-Каменский говорит **, что Пушкин в 1821 г. „увидел громады Кавказа, потом перенесся в Грузию, оттуда посетил (1823) Тавриду“. Равным образом, в Одесском альманахе на 1840 г. в статье Н. И Надеждина *** [70], сказано: „впоследствии (т. е. после пребывания в Кишиневе) Таврида, другой уголок Новой России, вошла в жизнь поэта, еще глубже, еще плодотворнее“. Кажется, Бантыш-Каменский не знал о пребывании Пушкина на кавказских водах в 1820 г.; так как надобно было об'яснить чем-нибудь происхождение Кавказского пленника, то и предположил он большую поездку поэта из Кишинева на Кавказ, в Грузию и в Крым. Слова же Н. И. Надеждина, по самому тону своему, суть не иное что, как предположение. Надобно заметить, что никто из здешних сослуживцев и современников поэта не знает, да и по делам не видно, чтобы Пушкин ездил из Кишинева или Одессы куда-либо вдаль. Едва ли при том Инзов и после него одесское начальство могло решиться отправить или

* Факты, приведенные нами в этой статье, собраны, по этой причине с особенной осторожностью, так что за них, кажется, и поручиться можно.

** Словарь достоп. людей. 1847. Том II, Оглавление, стр. 69.

*** Од. альм. 1840 „Литературная летопись Одессы“, стр. 17.

отпустить молодого человека, состоявшего под их ближайшим наблюдением, куда-либо в дальнюю поездку. В 1824 г. писал он к Д—у [71], „на приглашение ехать с ним морем на полуденный берег Крыма“:

Нельзя, мой толстый Аристип:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды;
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденным Тавриды. *

По всему видно, что кроме двух случаев, когда Пушкин был в Измаиле и Херсоне, он ни разу не оставлял Кишинева и Одессы **. Крым и Малороссию, он видел, кажется только по разу в жизни *** [72].

Описание Одессы, оставленное Пушкиным в его „Онегине“ чрезвычайно верно и дышет поэтическим впечатлением действительности. Теперь Одесса переменила свою физиономию. Тогда улицы ее гораздо более пестрели разноплеменным населением. На них встречалось много восточных народов, которых теперь совсем не видно. И теперь, часто слышится здесь итальянский язык; но тогда по улицам говорили им гораздо более. Теперь на каждом шагу евреи и соотчичи их жидки; тогда их было гораздо менее. За то беспрестанно попадались арнауты и греки с греческой плациндой или турецкой халвой на лотках. Вместо плацинды и халвы теперь по временам благоухает русский сбитень. На сцене тогда безусловно господствовала опера: теперь русский водевиль и недавний балет теснят ее. Но не мешает комментовать весь этот отрывок:

* Стихотворение это помещено в издании 1829 г. с припискою, означенною нами вносными знаками В издании 1838 г. этой приписки нет.

** Разве письма его, которые современем будут, может быть, обнародованы, докажут противное.

*** В 1829 г. Пушкин воротился с Кавказа не через Крым.

Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал.

Стихотворение (под заглавием, кажется, Элегия), в котором Туманский упоминает о садах Одессы, и к которому относится это место, помещено было, сколько мы помним, в Северных цветах за первые годы [73].

Корсар в отставке, Морали, [74]

лицо не вымышленное. Его часто видали в беседе и на прогулках с Пушкиным.

Я б мог сказать: в Одессе грязной.

В 1824 г., даже позднее разные места на одесских улицах, где можно было погрязнуть по шею, были огораживаемы для предостережения пешеходов и экипажей. Особенно топко было низменное место между Лицеем и Казенным садом, место, по которому Пушкину часто приходилось проходить от себя в дом графа.

Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает в брод.

В то время многие дамы, да и мужчины (из Фанары и Перы, в Константинополе) во время грязи, носили на ногах род котурнов, так называемые галензи. Эти галензи

и теперь в употреблении в Константинополе; в Одессе же встречаются они уже очень редко.

Но уж дробит каменья молот.

С первого же приезда своего в Одессу, в 1823 г. М. С. Воронцов приказал мостить улицы Одессы туземным известняком, по системе Мак-Адама [75].

Еще есть недостаток важный
Чего б вы думали? воды!
Потребны тяжкие труды...

В то время, по улицам Одессы, беспрестанно раз‘езжали водовозы с криком: воды, воды! Впоследствии цистерны и в недавнее время водопровод значительно уменьшили число их.

Особенно когда вино
Без пошлины привезено.

В Одессе в то время, как отчасти и теперь, много было греческих и молдавских вин. О крымских еще и помину не было.

Бывало пушка заревая
Лишь только грянет с корабля —

с брандвахты, которая каждой весною приходит в Одессу из Севастополя, чтобы содержать караул между Практической и Карантинной гаванью, и уходит поздней осенью.

С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.

В то время купальня, с восточной кофейней, которую содержал какой-то грек, помещалась налево от Практической гавани у „Камней“. Теперь камни срыты,

сделана набережная и новая верфь Практической гавани, а купальни перенесены под бульвар. К купальне ходили по крутой, прибрежной отлогости, с той улицы, которая ведет от нового базара и дома, в котором жил граф, к этой отлогости.

. . . . . . Уж благосклонный
Открыт casino. На балкон
Маркер выходит полусонный.

Казино это, т. е. кофейня с газетами и на чистую руку,— помещалась на углу, в другом отделении того же большого дома Рено, в котором жил Пушкин. Балкон этого казино выходит на театральную площадь, против бывшего дома герцога Ришелье. Справа с балкона открывается море и Карантинная гавань.

На стол услужливым Отоном.

Отон живет еще и поныне. Он приехал из Франции до 1823 года, в звании кухмистера какого-то генерала, и содержал потом ресторацию, готовил много парадных обедов и в том числе в честь покойного Брюлова [76], затем в честь князя П. А. Вяземского [77], Н. В. Гоголя [78], М. С. Щепкина [79] и других.

Там упоительный Россини ..... [52]

На одесском театре в 1820-х годах ставили по большей части оперы Россини [80], Беллини [81] и Доницетти [82]. Теперь сценою овладел Верди [83].

А prima donna? а балет?

При Пушкине на одесской сцене отличалась Каталани, сестра знаменитой певицы [84].

А ложа, где красой блистая,
Негоциантка молодая...

Многие из тогдашних негоцианток отличались и красотою и светскостию, но не m-me ли это Ризнич?

А муж в углу, в просонках дремлет...

Тогда, как и теперь, негоцианты любили жениться уже в зрелых летах, составив капитал.

Толпа на площадь побежала...

На театральную, вблизи которой жила тогда большая часть посетителей театра.

А мы ревем речитатив.

Слова буквально верные в отношении ко многим из нашей немузыкальной молодежи. Теперь из театра выходят, не повторяя слышанных арий.

Тихо спит Одесса...
И бездыханна и тепла
Немая ночь.

Эта заключительная картина дышет всею верностию поэтического впечатления южной ночи.

К. Зеленецкий.

Одесса.
Апреля 2. 1854.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Пущин П. С., см. 4 примечание к № 10.

2. Марини, Павел Яковлевич—был побочным сыном гр. В. П. Кочубея, родившимся во время его посольства в Константинополе. М. приехал в Одессу вместе с гр. Воронцовым и по словам А. Скальковского управлял дипломатической канцелярией, в которой числился Пушкин; в 30-х годах М. был в совете Одесского Института благородных девиц; умер М. в чине тайн. советника в Одессе около 1848 г. Инициалы «Т. С.» Марини надо понимать как «т. с.» (тайный советник).

3. Писаренко, Василий Захарович—был мелким чиновником секретной канцелярии Бахметева и Инзова, а позже (1823 г.) Воронцова; в том же 1823 г. Писаренко числился губернским секретарем; в начале 30-х годов в чине тит. сов. был секретарем Одесского института благородных девиц. В бытность Пушкина в Одессе Писаренко был архивариусом при дипломатической канцелярии, где числился и Пушкин. В его одесской квартире ночевал Пушкин, по воспоминаниям А. Скальковского, напечатанным в «Одесск. Вестн.» 1880 г. № 168 от 25. VII. Умер Писаренко в 50-х годах в Одессе в крайней нищете.

4. Пушкин выехал из Петербурга 6-го мая 1820 г.; подорожная помечена 5 мая 1820 г.

5. Пушкин был назначен в распоряжение генерала И. Н. Инзова, главного попечителя над колонистами в южной России, канцелярия которого была в Екатеринославе, куда П. и явился в середине мая 1820 г. За время путешествия П. с семейством генерала Раевского наместник Бессарабской области А. Н. Бахметев, находившийся в Кишиневе, испросил продолжительный отпуск, а должность его 15 июня 1820 г. поручена была временно Инзову, который и переехал из Екатеринослава в Кишинев, переведя с собой и Попечительный комитет о колонистах Южного края. Поэтому Пушкин после своего путешест-

вия по Кавказу и Крыму вернулся в сентябре этого же года уже прямо в г. Кишинев.

6. Воспоминания Л. С. Пушкина о брате еще раз напечатаны Л. Майковым в его кн. «Пушкин», Спб., 1899 г., стр. 4—12 с рукописи, найденной в бумагах П. В. Анненкова; текст этой рукописи исправнее публикации «Москвитянина».

7. Брат поэта Лев Серг. Пушкин явился на службу из заграничного путешествия 19. IX. 1851 г.; скончался в Одессе 19. VII. 1852 г

8. О том, что П. по прибытии в Керчь поторопился посетить Митридатову гробницу и следы Пантикопеи, видно из его письма к брату от 24. IX. 1820 г.

9. Броневский, Семен Михайлович (р. ок. 1763 г., ум. в 1830 г.)—градоначальник Феодосии (1810—1816), член Общества истории и древностей; он издал «Новейшие географические и исторические известия о Кавказе», М. 1823 г., две части; в 1802—4 гг. занимал должность правителя канцелярии главноком. на Кавказе кн. П. Д. Цицианова.

10. Раевский Н. Н. (старший)—см. 14 примеч. к № 10.

Генерал Раевский ехал в 1820 году на Кавказ с младшим сыном Ник. Ник. (другом Пушкина) и дочерьми Марией и Софией в сопровождении врача Е. П. Рудыковского, гувернантки-англичанки Матень и прислуги. Он выхлопотал больному П. отпуск и взял его с собою на Минеральные воды. Выехали они из Екатеринослава 4 июня, а 11-го приехали на Горячие воды. Около 1 августа Раевские и Пушкин двинулись обратно через Горячие воды, 8-го были в Темижбеке, 9-го в крепости Кавказской, 12 14-го в Тамани. Из Тамани на Керчь. 15-го были в Керчи. Отсюда опять в каретах в Феодосию,где были около 16—19; затем морем в Гурзуф, куда прибыли утром не раньше 18-го и не позднее 20 августа Здесь в это время жила жена Раевского—Софья Алексеевна с дочерьми Екатериной и Еленой. Жили Раевские в Гурзуфе в доме новороссийского генерал-губернатора герцога Ришелье. Из Гурзуфа Пушкин уехал 3—5 сентября.

11. Бахчисарай Пушкин посетил на пути из Гурзуфа в Кишинев, что видно из его письма к А. А. Дельвигу от середины декабря 1824 г. из Михайловского.

12. То, что стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца» написано не на самом месте фонтана и даже не в 1820 г., а в 1824 г., доказывается вескими соображениями, о которых см. во II т. Сочин. П. под ред. Венгерова. Спб. 1908, стр. 552—3.

13. Пушкин уехал из Гурзуфа 3—5 сентября 1820 г. вместе с генералом Ник. Ник. Раевским и его сыном Ник Ник. Из письма Пушкина к А. А. Дельвигу от середины декабря 1824 г. видно, что они ехали не прямым путем из Гурзуфа на Бахчисарай, а по тропам южного берега до Кикенеиза и отсюда перевалами по горной лестнице (которая у татар носит название «Шайтан—Мердвень») через Яйлу, затем снова спустились к морю, чтобы осмотреть Георгиевский монастырь, и отсюда в Бахчисарай и дальше в Симферополь.

14. Инзова звали Иван Никитич, а не Николаевич.

15. Горчаков, Владимир Петрович, см. вступ. зам. к № 10.

16. Бахметев, Алексей Николаевич, см. 97 примечание к № 10.

17. Крупенский, Матвей Егорович, см. 8 примечание к № 10.

18. Варфоломей, Егор Кириллович, см. 154 примечание к №10.

19. Бальш, Тодораки (Федор)—родом румын; почтенный старик, боярин; член Бессарабского Верховного Совета. Его жена, красавица Мариола, ревновала Пушкина; на этой почве произошло об'яснение Т. Бальша с Пушкиным и Пушкин дал последнему пощечину в то самое время, когда Бальш приехал просить извинения.

20. Пущин, Павел Сергеевич, см. 4 примечание к № 10.

21. Орлов, Михаил Федорович, см. 5 примечание к № 10.

22. Орлов, Федор Федорович, см. 13 примечание к № 10.

23. Давыдов, Александр Львович, см. 15 примечание к № 10. Давыдов, Василий Львович, см. 16 примечание к № 10.

24. Алексеев, Николай Степанович, см. 10 примечание к № 10.

25. Эльфрект, как здесь неверно назван, на самом деле—Эйхфельдт, Иван Иванович—статский советник, обергауптман, нумизмат; умер в 1827 г. или в 1828 г. Он был женат на Марье Егоровне, урожд. Мило, которая была значительно его моложе. Она была в связи с приятелем Пушкина Н. С. Алексеевым; ее называли еврейкой за сходство с Ревvекой из романа Вальтер Скотта «Айвенго»; ею увлекался Пушкин и написал ей в 1821 г. стих. «Ни блеск ума, ни стройность платья»; с ее именем соединяют стихи Пушкина «Христос воскрес, моя Ревvека» и упоминание об еврейке в начале «Гавриилиады», упоминается она и в переписке Пушкина с Алексеевым (письма от 30. X. 1826, I. XII. 1826 и 26. XII. 1830) См. еще 26 примечание к № 10.

26. Во время пребывания Пушкина в Кишиневе братьев Раевских Ал-дра Ник. (о нем см. 79 прим. к № 10) и Ник. Ник. (о нем см. 79 прим. к № 10) там действительно не было.

27. Во время пребывания П. в Кишиневе там были три брата Ипсиланти: князья Александр, Дмитрий и Николай; они тайно покинули Кишинев, прибыли в Молдавию, перейдя Прут 22. II. 1821 г. и подняли восстание греков против турок. Об них см. 18, 19, 24, 25 и 144 прим. к № 10.

28. Катакази, Константин Антонович, см. 23 прим. к № 10.

29. Россети—молдаванка, кишиневская жительница; фамилию Россети, распространенную в Бессарабии, не следует смешивать с фамилией французских эмигрантов Россет, живших в Одессе, из семьи которых происходила А. О. Смирнова.

30. Варфоломей, Пульхерия Егоровна, см. 158 прим. к № 10.

31. Прункул Кассуна, см. 153 примечание к № 10.

32. Эйхфельдт М. Е., см. 26 прим. к № 10 и 25 прим. к № 12.

33. Свиньин, Павел Петрович (1788—1839)—романист, историк, живописец, коллекционер, автор путешествий; в 1818—1823 гг. издавал журнал «Отечественные записки». Его изобразил Пушкин в одной из сказок «Детских книжек» под заглавием «Маленький лжец», а А. Е. Измайлов написал на него басню «Лгун». Об его приключениях во время служебной поездки в Молдавию рассказывал Пушкин Гоголю, и это дало последнему тему для «Ревизора».

34. Вельтман, Александр Фомич, см. 161 прим. к № 10. Его повесть «Странник» 3 части. М. 1831 г.

35. Измаил—город и бывшая турецкая крепость в южной части Бессарабии; присоединен к России в 1812 г.; в 1856 г. отошел к Молдавии, а с 1877 г. вновь перешел к России.

36 Новоселица—населенная местность Хотинского уезда, расположена при реках Пруте и Ракитной, в самой северной части Бессарабии, на границе русских владений.

37. Баратынский, Евгений Абрамович (1800—1844)—знаменитый поэт; послание к нему написано в 1822 г. «Баратынскому из Бессарабии».

38. Ода Державина (1743—1816) «На взятие Измаила» была написана вскоре после взятия города в 1790 г. Впервые была напечатана отдельно в Петербурге без обозначения места, времени и имени автора, под заглавием «Песнь лирическая Россу по взятии Измаила».

39. Публий Овидий Назон—знаменитый римский поэт; род. 43 г. до н. э.—скончался в 17 г. н. э. в Томах и погребен в окрестностях города. (Ныне Констанца; портовый город в Добрудже в Румынии на берегу Черного моря).

40. Стихотворение «Музыка Варфоломея» было еще раз как новость опубликовано в Московских Ведомостях 1887 г. № 39 и перепечатано в Русском Архиве 1887 г., VI, стр. 346.

41. Катакази К. А., см. 23 прим. к № 10.

42. Стамо Екатерина Захаровна, рожденная Ралли-Арборе. Пушкин познакомился с ней во время своего пребывания в Кишиневе в доме ее брата Константина Захаровича Ралли-Арборе и увлекся ею. Ее имя встречается в переписке Пушкина с Н. С. Алексеевым. Липранди говорит, что ей в то время было 22 года, а ее мужу более 50 лет. Е. З. Стамо ов-

довела до 1831 г. Ее сестра Мария (Мариола), 2 или 3 годами ее моложе, была подругой Пульхерицы Варфоломей и на балах в доме Варфоломеев Пушкин любил танцовать с Мариолой.

43. Стихотворение, называемое Зеленецким «О ты, прескучный город Кишинев», на самом деле начинается так: «Проклятый город Кишинев» и является первой, стихотворной половиной письма Пушкина к Ф. Ф. Вигелю, написанного из Одессы в ноябре 1823 г.

44. Пушкин проживал в Кишиневе с 21. IX. 1820 г. до начала июля 1823 г.; за это время он совершил поездки: 1) в Каменку и Киев с 14—24. XI. 1820 г. по начало III. 1821 г.; 2) в Одессу с конца IV. по последние числа V. 1821 г.; 3) по Бессарабии с И. П. Липранди к берегам Черного моря и Дунаю (посетил Бендеры, Каушаны, Паланку, Аккерман, Шабо, Татарбунар, Измаил, Голжат и Мово на Пруте) с 9 по 23 XII. 1821 г.; 4) в Каменку, Тульчин и Киев в ноябре 1822 г.; 5) в Одессу, где он представлялся гр. Воронцову, в конце мая—нач. июля 1823 г. Существует еще сомнительное указание П. И. Бартенева на поездку в Измаил весной и летом 1822 г.

45. Граф, затем св. кн. Воронцов, Михаил Семенович—см. 90 прим. к № 10.

46. Граф Ланжерон (Андро) Федорович (1763—1831), француз по происхождению, покинул Францию в разгар революции и с 1790 г. поступил на русскую службу; с 10. XI. 1815 херсонский военный губернатор и градоначальник Одессы, с 22. IX. 1822 г. по 7. V. 1823 г. Новороссийский генерал-губернатор, после сдачи должности М. С. Воронцову оставался в Одессе до половины 1824 г., где был знаком с Пушкиным; позже встречался с Пушкиным в Петербурге.

47. Сикар, Карл Яковлевич (1773—1830)—французский негоциант, приехавший в Одессу в 1804 г. и составивший себе здесь состояние благодаря покровительству Ришелье. Сикар был одно время французским консулом в Одессе, им написана брошюра о торговле в Одессе (Lettres sur Odessa, SPb. 1812).

Пушкин познакомился с Сикаром в Кишиневе в 1821 г., когда Сикар приезжал покупать себе имение в Бессарабии. В Одессе Пушкин любил бывать на изысканных обедах у Сикара, устраиваемых последним для немноголюдной и исключительно мужской компании.

48. Барон Рено, Иван (Rainaud, Yean)—родом француз, коммерции советник; в эпоху Ришелье был французским коммерческим агентом в Одессе и одно время—французским консулом (до 1812 г.); с его именем связано основание казино в Одессе. Титул барона Рено получил за службу в Одессе по ходатайству Ришелье. И. Рено принадлежала прекрасная дача вблизи Одессы на берегу моря, где летом 1823 г. жила Е. К. Воронцова, и Пушкин сюда часто ездил.

49. Герцог Ришелье (Арман-Эммануэль-Дюплесси) (1766—1822). В 1803 г. назначен ген.-губернатором г. Одессы и Новороссийского края; он один из первых эмигрировал в Россию после Вел. французской революции; в 1815 г. вернулся во Францию и получил портфель министра иностранных дел.

50. Тепляков, Виктор Григорьевич (1804—1842)—поэт, путешественник и археолог. Служил юнкером в Павлоградском гусарском полку; был арестован по подозрению в сношениях с декабристами и посажен в Петропавловскую крепость, где заболел и был выслан в г. Херсон. По выяснении его непричастности к делу декабристов был принят на службу в таганрогскую таможню. С 1828 по 1835 г. был чиновником особых поручений при гр. М. С. Воронцове. Он получил разрешение посетить Одессу на 8 дней в 1829 г., а поселился в ней окончательно с 1830 г., поступив в канцелярию гр. Воронцова. В 1834 г. уехал в Константинополь и Смирну.

51. В. В. Энгельгардту «Я ускользнул от Эскулапа», 1819 г.

52. Лейтон, Яков Иванович—лейб-медик Александра I, член имп. Медико-хирургической академии и Медицинского совета министерств Внутренних дел и Народного просвещения (Показан до 1843 г.).

53. Левшин, Алексей Ираклиевич (родился ок. 1799—умер в 1879 г.)—писатель, этнограф, историк. С 1820 г. состоял при председателе Оренбургской пограничной комиссии и занимался разбором архива киргизских дел; автор «Исторического и статистического обозрения уральских казаков», напечатанного в «Северном Архиве» 1823 г., и ряда других трудов о киргизах; с 1823 по 1826 г. занимал должность секретаря при гр. М. С. Воронцове; в 1831—1837 гг. был одесским градоначальником. Позже он служил по министерству Внутренних дел и принимал большое участие в деле освобождения крестьян. В Одессе Левшин играл видную роль: он был крупный чиновник, директор театра, председатель почти всех местных комитетов, попечитель Одесского института благородных девиц, основатель Одесской публичной библиотеки—первой в провинции, поддерживал местную прессу и энергично заботился о благосостоянии города. Его статьями по этнографии интересовался Пушкин и имя его встречается в переписке Пушкина с В. И. Туманским в 1827 г.

54. Раевский, Александр Николаевич, см. 79 прим. к № 10.

55. Раевский, Н. Н. (младший), см. 79 прим. к № 10.

56. Туманский, Василий Иванович (1800—1860)—поэт; на службу поступил летом 1823 г. в канцелярию гр. Воронцова в Одессе, а через полгода 17. XII. 1823 г. переведен в ведомство государств. коллегии иностр. дел; затем откомандирован к полномочному председателю диванов Молдавии и Валахии гр. Палену; позже замещал консула в Яссах и был вторым секретарем посольства в Константинополе; в 1839—1846 гг. помощн. статс-секретаря по департаменту экономии Государств. Совета.

57. Гунчинсон, вернее Гутчинсон (Hutchinson)—доктор; служил в детском госпитале в Лондоне, здесь познакомился с гр. М. С. Воронцовым и с ним приехал в Одессу в качестве его домашнего врача; пробыл здесь недолго и уже в 1824 г. покинул Россию. В конце 20-х гг. Гутчинсон сделался ревностным пастором одной из англиканских церквей.

58. Рубо и Дмитраки.

59. Отон (Autonne), Цезарь приехал в Одессу вместе с Ришелье и содержал здесь в 20-х годах гостиницу и ресторан на Дерибасовской улице. По воспоминаниям Липранди Пушкин жил первое время по приезде в Одессу в «клубном доме» Отона. Ресторан Отона долго был известен в Одессе; и здесь впоследствии обедал брат Пушкина—Лев Сергеевич и Н. В. Гоголь в 1848 г., 1850 и 1851 годах. Рассказ Отона о Пушкине и своем ресторане передан Б. М. Маркевичем в С.-Петербургских Ведомостях 1884 г. № 223 и перепечатан в Собрании сочинений Маркевича т. XI (1885 г. и 1912 г.).

60. Дом Фундуклея и дом Ромаре.

61. Дача Рено.

62. Бларамберг, Иван Павлович (1771—1831)—чиновник и археолог; служил первоначально на военной службе в Голландии; затем приехал в Россию и поступил на русскую службу; с 1808 г. прокурор коммерческого суда в Одессе; в 1812—1823 г. начальник Одесского таможенного округа. Выйдя в отставку из-за таможенных непорядков и злоупотреблений в конце 1823 г., Бларамберг начал серьезно заниматься археологией. Через год он был назначен вновь чиновником особых поручений при Воронцове. С 1825 г. директор музея в Одессе, а с 1826 г. и в Керчи. У него было четыре дочери. Старшая Наталья была замужем за испанским консулом в Одессе Del Castello, Елена, Зинаида (ей в 1824 г. было около 17 лет) и Елизавета. Во время пребывания Пушкина в Одессе две сестры Елена и Зинаида Бларамберг славились своей красотой и судя по воспоминаниям современников обе затронули сердце поэта; которую из двух имел в виду Зеленецкий, сказать трудно. Обе они упомянуты в приписываемом Пушкину экспромпте: «Вы перед всеми взяли верх».

63. Ризнич, Иван Степанович (родился в 1792 г.)—негоциант города Триеста, Одесский купец 1-ой гильдии, был сыном сербского купца, получил высшее образование в университетах в Падуе и Берлине и имел банкирскую контору в Вене, а затем переселился в Одессу, где занимался хлебными опера-

циями и был директором Одесского коммерческого банка. Пушкин с ним познакомился во время своего приезда в Одессу из Кишинева. В 1822 г. И. С. Ризнич уехал в Вену жениться и весной 1823 г. возвратился с молодой женой Амалией Ризнич (родилась около 1803 г.). По сообщению проф. Зеленецкого Амалия была дочерью венского банкира Риппа, полунемка, полуитальянка, с примесью, быть может, еврейской крови. По другому утверждению (Сречковича, со слов мужа Ризнич) она была итальянка, родом из Флоренции. Поселившись в Одессе с начала июля 1823 г, Пушкин познакомился с ними и увлекся женой негоцианта. В первых числах мая 1824 г. Амалия Ризнич с сыном Александром и мужем выехала лечиться в Австрию, Швейцарию и Италию. За границей она умерла в 1825 г., И. С. Ризнич вернулся один в Одессу еще в 1824 г. и после смерти Амалии Ризнич женился на П. А. Собанской, рожденной гр. Ржевусской. Впоследствии Ризнич служил в Киеве.

64. Кокошкин, Федор Федорович (1773—1838)—писатель, директор московских театров, председатель Общества любителей российской словесности.

65. «Иностранке» («На языке тебе невнятном») 1824 г. К кому написано это стихотворение, неизвестно; о существующих предположениях см. сочинения Пушкина под. ред. Венгерова, т. III, стр. 510—12.

66. См. ниже дополнительную заметку Зеленецкого № 13.

67. Рокотов, Иван Матвеевич (1782—1840)—богатый помещик, сосед Пушкина по Михайловскому; служил в 1 департаменте Сената, затем в коллегии иностранных дел; в 1805—1809 г. состоял при русском посольстве в Дрездене; вышел в отставку в чине коллежского советника и жил холостяком в своем имении Стехнове. Ему было предложено Псковским губернатором Б. А. Адеркасом по соглашению с губернским предводителем А. И. Львовым взять на себя надзор за сосланным поэтом, предписанный маркизом Паулуччи по указанию гр. К. В. Нессельроде, но Рокотов, ссылаясь на свое расстроенное здоровье, отказался от этой роли.

68. Дело о высылке Пушкина в Псковскую губернию напечатано в «Ведомостях одесск. градонач.» 1899 г., № 102—хранится до сих пор в бывшем архиве Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора (ныне Одесский исторический архив). Предписанный Пушкину маршрут из Одессы в Псков шел минуя Киев, так что он действительно проезжал через все указанные Зеленецким места (см. Русск. Старину 1887 г. Январь стр. 246—47 и почтовую карту Российской империи, приложенную к «Почтовому дорожнику», Спб. 1824 г.).

69. Из Кишинева и Одессы Пушкин в Крым и на Кавказ не ездил. О поездках его из Кишинева см. 39 прим. Из Одессы он ездил: 1) в конце января 1824 г. на три дня в Тирасполь, Бендеры и Каушаны; 2) во второй половине марта 1824 г. на две недели в Кишинев по приглашению Ф. Ф. Вигеля и жил на квартире Н. С. Алексеева; 3) после 23 и до 28—31 мая 1824 г. по предписанию Воронцова в Херсонский, Елисаветградский и Александрийский уезды для собирания сведений о саранче и 4) 24 июня 1824 г. вместе с Ф. Ф. Вигелем в гости на хутор Дальник близ Одессы к Тому. Из Одессы в Михайловское Пушкин выехал 30 июля 1824 г.

70. Надеждин, Николай Иванович (1804—1856)—ученый, критик и журналист. В 1832—35 г. профессор Московского университета. Основанный им журнал «Телескоп» был закрыт в 1836 г. за «Философическое письмо» Чаадаева, а сам Надеждин сослан в Устьсысольск. Его изобразил Пушкин в одной из сказок «Детских книжек» под заглавием «Исправленный забияка».

71. Александр Львович Давыдов см. 15 прим. к № 10.

72. В Крыму и Малороссии Пушкин был только во время своей ссылки на юг; в позднейших поездках на Кавказ в 1829 г. и в Уральск в 1833 г. его путь проходил восточнее и не затронул Малороссии.

73. В. И. Туманский описал Одессу в стихотворении под заглавием «Одесса», напечатанном впервые в альм. «Полярная звезда» 1824 г., стр. 240; перепечатано в альм. «Весенние цветы» 1835 г., стр. 27—28.

74. Али или Морали (от Maure ali)—капитан или иначе шкипер коммерческого судна. Во время пребывания Пушкина в Одессе ему было около тридцати пяти лет; происхождением полу-мавр и полу-негр (по словам гр. М. Д. Бутурлина); по слухам наживший себе состояние ремеслом пирата; высокий, сильный мужчина, ходивший в восточном костюме с пистолетами за поясом и железной палкой в руках; был приятелем Пушкина в Одессе.

75 Мак Адам (1756—1836)—английский инженер; изобретатель системы устройства дорог, получившей широкое применение; этой системе присвоено его имя; автор «Observations sur les routes» (Londres, 1822).

76. Брюлов, Карл Павлович (1799—1852)—знаменитый русский художник.

77. Кн. Вяземский, Петр Андреевич (1792—1878)—поэт и критик; друг Пушкина. Ему были устроены обеды у Отона в Ришельевской гостинице: 29 июня 1849 г., в день Петра и Павла, во время его проезда через Одессу в Константинополь и 18 августа 1850 г. на его обратом пути из Константинополя. Оба раза на этих обедах присутствовал К. П. Зеленецкий и написал после об этом два фельетона в газете Одесский вестник, 1849 г., № 55 и 1850 г. № 67.

78. Известны два торжественные обеда, устроенные Н. В. Гоголю в ресторане Отона, первый—30 апреля 1848 года, в день выхода Гоголя из одесского двухнедельного карантина и второй обед—в следующий приезд Гоголя в Одессу (24. X. 1850 г.—27. III. 1851 г), великим постом, за несколько дней до его от'езда

79. Щепкин, Михаил Семенович (1788—1863)—знаменитый артист Обед у Отона, надо думать, был в 1843 году во время пятимесячного пребывания Щепкина в Одессе.

80. Россини (1792—1868)—знаменитый итальянский композитор, автор опер «Севильский цирюльник» (1816), «Отелло», «Семирамида» (1823) и др.

81. Беллини, Винченцо (1801—1835)—итальянский композитор; автор известных опер («Ромео и Юлия», «Сомнамбула», «Норма», «Пуритане»), написанных уже после пребывания Пушкина в Одессе, а именно в 1830—1835 гг. Первая его опера написана в 1824 г., так что Зеленецкий ошибся. Пушкин в Одессе не мог его слышать.

82. Донизетти или Доницетти (Donizetti), Гаэтано (1797—1848)—известный итальянский композитор. Прославился с 1828 г., так что и его Пушкин не слышал в Одессе.

83. Верди, Джузеппе (1813—1901)—знаменитый итальянский композитор; первая его опера была поставлена в Милане в 1839 г.

84. Каталани, Аделина (родилась в 1801 г.)—певица, была невесткой знаменитой певицы Анжелики Каталани.

---

13. К. П. Зеленецкий. „Заметка о Пушкине“.

Заметка К. П. Зеленецкого впервые была напечатана в «Библиографических заметках», 1858 г., № 5, стлб. 137—138.

В статью: „Сведения о пребывании А. С. Пушкина в Кишиневе и Одессе“, помещенную в „Москвитянине“ 1854 г. (№ 9), по недостатку в то время официального источника, вкралась неточность. На основании устной передачи В. З. Писаренко, там сказано: „Раз в 1824 г. дали Пушкину в распоряжение два батальона солдат и послали с ними в Херсонский уезд истреблять саранчу. Вместо всякого официального донесения по этому предмету, он прислал стихи“ *. Стихи эти были известны в свое время всем в Одессе и долго потом переходили из уст в уста по преданию. Не знаем, где подлинник их, но устная передача довольно близка к нему. Командировка же действительно имела место в 1824 г., но при других обстоятельствах. Теперь, после немалого рытья на досуге в „делах о саранче“, хранящихся в здешнем генерал-губернаторском архиве и составляющих большие кипы, эти обстоятельства становятся несколько яснее [1]. Простившись с m-me Амалией Ризнич, * которая вместе с маленьким сыном своим Александром, слугою и двумя служанками, в первых числах мая 1824 года, отправлялась в Австрию, Италию и Швейцарию, Пушкин, недели через три потом, именно, 22 мая, получил от бывшего новороссийского генерал-губернатора и полномочного наместника Бессарабской области графа М. С. Воронцова, за № 7976, предписание следующего содержания: „Состоящему в штате моем, коллегии иностранных дел, г. коллежскому секретарю Пушкину. Поручаю вам отправиться в уезды Херсонский, Елисаветградский и Александрийский и, по прибытии в города Херсон, Елисаветград и Александрию, явиться в тамошние общие уездные присутствия и потребовать от них сведений: в каких местах саранча возродилась, в каком количестве, какие учинены распоряжения к истреблению оной и какие средства к тому употребляются. После сего имеете осмотреть важнейшие места, где саранча наиболее возродилась, и обозреть, с каким успехом действуют употребленные к истреблению оной средства и достаточны ли распоряжения, учиненные для того уездными присутствиями. О всем, что по сему вами найдено будет, рекомендую донести мне“ **. Что А. С. Пушкин действительно отправился

* Саранча
Летела, летела,
И села;
Сидела, сидела,
Все с'ела,
И вновь улетела.

* См. Русс. Вест. 1856 г. № 14. Свидетельство на право выезда за границу причисляющемуся в одесское первой гильдии купечество г-ну Ив. Ризнич с семейством выдано 30 апреля (1824) из одесского городского магистрата. (Дело о паспортных документах в канцелярии одесского градоначальника).

** Дело архива 1824 г. за № 1578; по 1-му отделению, дело о саранче за № 153.

в эту командировку, в том удостоверяют, как видно по делу, выданные ему на прогоны 400 р. ас. [2]. Заметим, что два другие чиновника отправлены были в разные другие места Новороссийского края по тому же делу о саранче, но уже в сопровождении солдатских отрядов, чтоб истреблять вредное насекомое. Долго ли Пушкин оставался в этой командировке—пока неизвестно, вероятно не более двух недель, а, быть может, и того менее [3]. Одессу навсегда оставил он 30 июля того же 1824 г.

К. Зеленецкий.

Одесса.
Января 31 дня, 1857.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Дело о саранче хранится в архиве Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора (ныне Одесский Исторический архив).

2. Расписка Пушкина в получении 400 рублей ассигнациями опубликована Г. Сербским в сборнике «Пушкин» Вып. I. Одесса 1925 г., стр. 49—55 и находится в настоящее время. в вышеназванном Одесском Историческом архиве.

3. О продолжительности командировки см. 69 прим. к № 12

14. М. П. Погодин. „Замечательные слова Ломоносова, Сумарокова и Пушкина“.

Известный историк, проф. Московского университета, близко знавший Пушкина, Мих. Петр. Погодин (1800—1875), так и не собрался за свою долгую жизнь написать воспоминания о знакомстве с Пушкиным. Кроме известного рассказа о чтении поэтом «Бориса Годунова» у Веневитиновых в 1826 г. («Русский Архив», 1865 г), Погодин напечатал несколько отдельных заметок мемуарного характера о Пушкине, одна из которых и перепечатывается нами. Впервые она была напечатана в «Москвитянине» 1855 г., № 4, февраль, кн. 2, стр. 146.

Какой-то знатный неуч хотел пошутить над происхождением и первыми занятиями Ломоносова, и спросил его с насмешкою: какая разница между лососем и лососиной? Такая же, отвечал Ломоносов, какая между дураком и дурачиной. (Слышал от графа Д. Н. Блудова [1]).

Сумароков[2], за столом у историка князя Михаила Михаиловича Щербатова[3], видно недовольный его обедом, сказал кому-то: хорошо, если б часть его Истории была короче, а блюда длиннее. (Слышал от князя Д. М. Щербатова [4]).

Пушкин не пропускал никогда в Одессе заутреню на Светлое воскресенье и звал всегда товарищей „услышать

голос русского народа“ (в ответ на христосованье священника: воистину воскресе). (Слышал от А. Н. Раевского [5]).

Кстати о Пушкине—расскажу анекдот, рассказанный мне Гоголем и известный еще прежде, кажется, от самого действовавшего лица. Около Одессы расположена была батарейная рота и расставлены были на поле пушки. Пушкин, гуляя за городом, подошел к ним и начал рассматривать внимательно одну за другою. Офицеру показались его наблюдения подозрительными, и он остановил его вопросом о его имени.—Пушкин, отвечал он.—Пушкин! воскликнул офицер. Ребята, пали!—и скомандовал торжественный залп. Весь лагерь встревожился. Сбежались офицеры и спрашивали причины такой необыкновенной пальбы.—В честь знаменитого гостя, отвечал офицер: вот, господа, Пушкин!—Пушкина молодежь подхватила под руки и повела с триумфом в свои шатры праздновать нечаянное посещение [6].

Офицер этот был Григоров, который после пошел в монахи и во время монашества познакомился со мною, приезжая из своей Оптиной пустыни в Москву для издания разных назидательных книг, что̂ он очень любил [7]. Мне доставил он много примечательных автографов и несколько рукописей. Кажется, сам он рассказал мне описанный случай, если не кто другой,—но я его знал уже, когда Гоголь, воротясь из последнего неконченного своего путешествия в Малороссию, повторил мне этот рассказ, по поводу внезапной смерти Григорова, от которого незадолго он получил письмо и не застал его в живых по приезде в Оптину пустынь.

М. П.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Гр. Блудов, Дмитрий Николаевич (1785—1864)—известный государственный деятель Николаевской эпохи.

2. Сумароков, Александр Петрович (1718—1777), известный писатель, драматург.

3. Кн. Щербатов, Михаил Михайлович (1733—1790)—известный историк, писатель и публицист.

4. Кн. Щербатов, Дмитрий Михайлович (1760—1839)—полковник, сын историографа М. М. Щербатова.

5. Раевский, А. Н. см. 79 прим. к № 10.

6. Этот случай о встрече Пушкина пушечной пальбой рассказан еще: Л. Арнольди «Мое знакомство с Гоголем» в «Русском Вестнике», 1862 г., т. XXXVII, стр. 89—90 (перепечат. в его статье «Пушечная пальба в честь А. С. Пушкина» в брош. «Петербугские тайны. Литературный сборник», Спб., 1872 г. стр. 17—18) и Ал. Ксюниным «Последние дни Л. Н. Толстого в монастыре» в «Новом Времени» 1910 г. № 12466, от 24/XI, стр. 3, столб. 7. У Льва Арнольди в обоих случаях передается рассказ, слышанный от Н. В. Гоголя; при чем в издании 1872 г. не указано, что это рассказ Гоголя. Арнольди по ошибке называет офицера (впоследствии монаха) Григорьевым. Ксюнин передает кратко рассказ монаха Оптиной пустыни отца Эраста о встрече Пушкина пушечной пальбой артиллерийским офицером Григоровым (в монашестве отец Порфирий).

7. Григоров, Петр Александрович, в монашестве отец Порфирий (1804—1850)—происходил из елецких дворян; подпоручик конной артиллерии; в Оптину пустынь поступил в 1834 г., постригся в 1850 г.; издатель писем задонского затворника Георгия и ряда других книг.

---

15. М. Н. Лонгинов. „Пушкин в Одессе (1824)“.

Автор заметки «Пушкин в Одессе» («Библиографические записки», 1859, т. II, № 18, стб. 553—555)—известный историк литературы и библиограф Мих. Ник. Лонгинов (1823—1875), который может быть причислен к числу первых по времени пушкинистов. Воспитанник Царскосельского лицея. Лонгинов в своих занятиях немало уделял внимания Пушкину. Записанные им рассказы помимо фактов, известных и из других источников, как командировка на саранчу, заключают в себе и неизвестные подробности, как заем денег Пушкиным у Лонгинова.

Родной мой дядя Никанор Михайлович Лонгинов служил в Одессе при графе (впоследствии князе) М. С. Воронцове [1]—в то время, когда Пушкин тоже находился там на службе[2]. Сообщаю здесь кое-что из его рассказов.

Пушкин носил тяжелую железную палку. Дядя спросил у него однажды: „для чего это, Александр Сергеевич, носишь ты такую тяжелую дубину?“. Пушкин отвечал: „Для того, чтоб рука была тверже; если придется стреляться, чтоб не дрогнула“.

По некоторым соображениям главный начальник командировал Пушкина собрать сведения о саранче. Пушкин сначала обиделся или поленился, и просто хотел отказаться от поездки, но его уговорили не делать напрасного скандала, и он отправился.

Поездка его была непродолжительна, он возвратился чуть ли не через неделю и явился к графу Воровцову в его кабинет. Разговор был самый лаконический; Пушкин отвечал на вопросы графа только повторением последних слов его; например: „Ты сам саранчу видел?“—Видел.—„Что ж ее много“?—„Много“ и т. п.

Кажется, после этого Пушкин не желал оставаться больше при графе. Но перевести его куда-нибудь, уволить в отпуск или в отставку было невозможно без особых распоряжений из Петербурга, потому что Пушкин находился в Одессе по высочайшему повелению. Представление о Пушкине было отправлено в Петербург.

Разрешение не замедлилось получением. В нем заключалось приказание: Пушкину отправиться в деревню своих родителей под их надзор и ответственность и ехать туда прямо, никуда не заезжая и нигде не останавливаясь, в чем и взять с него подписку, а если он ее не захочет дать, то отправить его с курьером. Пушкин, разумеется, дал подписку, собрался в дорогу скоро и сдержал данное слово [3].

Между тем финансы поэта были очень расстроены, а выехать без денег трудно. Некоторые приятели одолжили ему в займы, кто сколько мог. В числе их и дядя мой дал ему 50 или 100 рублей ассигнациями. Пушкин уехал к общему огорчению одесской молодежи и особенно дам.

Через несколько времени дядя получил от него прелюбезное письмо, в котором Пушкин просил между прочим сообщить: сколько именно он ему должен? Он забыл в дорожных хлопотах настоящую сумму. Дядя отвечал ему на предложенный вопрос. Вскоре получил он второе письмо, в

котором Пушкин благодарил его за одолжение; деньги были приложены к письму.

Письма эти не сохранились у дяди: одесские дамы тотчас выпросили их у него и разделили между собою по клочкам; всякой хотелось иметь хоть строку, написанную рукой поэта.

О командировке Пушкина см. в Библ. Зап. 1858 г., № 5, столб. 139, статью г. Зеленецкого. Из ней видно, что предписание Пушкину было дано 22 мая 1824г., а Одессу он окончательно оставил 30 июля того же года.

М. Лонгинов.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Лонгинов, Никанор Михайлович, брат известного секретаря императрицы Елизаветы Алексеевны, в 1823 г. был назначен в канцелярию гр. Воронцова, где числился начальником I отд. канцелярии в чине коллежского советника; позже в 1834 г. был гражданским губернатором в Екатеринославе.

2. Пушкин переехал на службу в Одессу в самом начале июля (до 4) 1823 г. и выехал 30 июля 1824 г.

3. 28 марта 1824 г. и вторично 2 мая 1824 г. гр. М. С. Воронцов писал гр. К. В. Нессельроде о необходимости удалить Пушкина из Одессы. Высочайшее повеление об удалении П. от службы состоялось 8 июля 1824 г., а 11 июля было послано графом К. В. Нессельроде письмо к гр. М. С. Воронцову о высылке П. из Одессы в Псков; 29 июля 1824 г. с П. была взята расписка, что он обязуется ехать безостановочно по предписанному маршруту в Псков, а 30 июля П. выехал из Одессы, получив 389 руб. 4 коп. прогонных денет и 150 рублей недополученного жалованья. Расписка в получении этих денег сохранилась и снимок с нее дан у Н. А. Гастфрейнда («Пушкин. Документы Государств. и С.-Петербургск. Главн. Архивов Минист. иностр. дел». Спб. 1900 г., стр. 2—6).

---

16. С. А. Соболевский. „Квартира Пушкина в Москве“.

По совершенно случайному поводу приятель Пушкина Сергей Александрович Соболевский (1803—1870) в виде письма к М. П. Погодину дал интересный отрывок из своих воспоминаний о поэте. Погодин, публикуя это письмо в своей газете («Русский», 1867, лист 7 и 8 от 3 апреля, стр. 111—112) сделал с своей стороны не менее интересные добавления.

... Заезжайте в кабак!!—Я вчера там был, но ни вина ни меда не пил. Вот в чем дело.

Мы ехали с Лонгиновым через Собачью площадку; сравнявшись с углом ее—я показал товарищу дом Ренкевича (ныне Левенталя), в котором жил я, а у меня Пушкин[1]. Сравнялись с прорубленною мною дверью на переулок—видим на ней вывеску: *продажа вина и проч.*—Sic transit gloria mundi!!![2] Стой кучер! Вылезли из возка, и пошли туда. Дом совершенно не изменился в расположении: вот моя спальня, мой кабинет, та общая гостиная, в которую мы сходились из своих половин, и где заседал Алексадр Сергеевич в самоедском ергаке. Вот где стояла кровать его; вот где так нежно возился и няньчился он с маленькими датскими щенятами. Вот где он выронил (к счастию—что не в кабинете императора) свое стихотворение

на 14 декабря, что с час времени так его беспокоило, пока оно не нашлось!!![3] Вот где собирались Веневитинов,[4] Киреевский[5], Шевырев[6], Рожалин[7], Мицкевич, Баратынский, вы, я ..и другие мужи, вот где болталось, смеялось, вралось и говорилось умно!!!

Кабатчик, принявший нас с почтением (должным таким посетителям, которые вылезли из экипажа)—очень был удивлен нашему хождению по комнатам заведения. На вопрос мой: слыхал ли он о Пушкине? он сказал утвердительно, но что-то заикаясь.

В другой стране, у бусурманов, и на дверях сделали бы надпись: здесь жил Пушкин!—и в углу бы написали: здесь спал Пушкин!—и так далее.

С. С.

Помню, помню живо этот знаменитый уголок, где жил Пушкин в 1826 и 1827 году, помню его письменный стол, между двумя окнами, над которым висел портрет Жуковского, с надписью: *ученику победителю от побежденного учителя*[8]. Помню диван в другой комнате, где, за вкусным завтраком (хозяин был мастер этого дела), начал он читать мою Русую косу, первую повесть, написанную и помещенную в Северных цветах 24 года[9], и дойдя до места, в начале, где один молодой человек выдумал новость другому, любителю словесности, чтоб вызвать его из задумчивости: „Жуковский перевел байронову Мазепу“, воскликнул с восторгом: „Как! Жуковский перевел Мазепу!“ Там переписал я ему его Мазепу[10], поэму, которая после получила имя Полтавы. Там, при мне, получил он письмо от ген. Бенкендорфа[11] с разрешением напечатать некоторые

стихотворения и отложить другие. В этом письме упоминались песни о Стеньке Разине. Пушкин отдал его мне, и оно у меня цело[12]. Туда привез я ему с почты Бориса Годунова[13]. Однажды пришли мы к нему рано с Шевыревым за стихотворением для Московского Вестника[14], чтоб застать его дома, а он еще не возвращался с прогульной ночи,—и приехал при нас. Помню, как нам было неловко, в каком странном положении мы очутились из области поэзии в области прозы. Всё это и многое другое надо бы мне было записать, но где же взять времени? Меня ждет еще Гоголь, ждет Иннокентий[15], ждет Шевырев; надо еще описать нашествие на Московский университет двадесяти язык...[16] и мало ли что, кроме Истории, которой впрочем уже напечатано около сорока листов[17].

М. П.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Дом Ренкевич, затем Левенталя сохранился в Москве до настоящего времени. По «Всей Москве» 1916 г. принадлежал А. Т. Обухову (№ 2/12. 71/66). Это угловой одноэтажный деревянный оштукатуренный дом; стоит он на самом углу Борисоглебского переулка и Собачьей площадки (на противоположной стороне от него Кречетниковский пер.); теперешний его № 12. Во внешнем виде он утратил прежний облик жилого дома-флигеля: окна переделаны в широкие квадратные витрины, проделано много дверей на улицу для отдельных торговых помещений. Изменился и внутренний вид: переделаны и сняты прежние перегородки комнат, частично уничтожены полы и накаты (например, в керосиновой лавке).

Пушкин жил в этом доме в квартире С. А. Соболевского во время своего приезда в Москву из Михайловского 19 декабря 1826 г. до 20 мая 1827 г.

2. Так проходит слава мира.

3. Речь идет об окончании «Пророка». Об этом см. «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым». М. 1925 г., стр. 91—94.

4. Веневитинов, Дмитрий Владимирович (1805—1827)—поэт.

5. Киреевский, Иван Васильевич (1806—1856)—писатель, критик, один из основателей славянофильства.

6. Шевырев, Степан Петрович (1806—1864)—историк русской словесности, критик и поэт; профессор Московского университета.

7. Рожалин, Николай Матвеевич (1805—1834)—писатель, знаток греческой, латинской и немецкой литературы; служил преподавателем в семьях П. С. Кайсарова и кн. З. А. Волконской; был членом кружка С. Е. Раича и «О—ва любомудрия».

8. В. А. Жуковский подарил свой портрет Пушкину со следующей надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, когда он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820 г., марта 26, великая пятница». В настоящее время хранится в Публичной библиотеке СССР им. Ленина.

9. Повесть М. П. Погодина «Русая коса» напечатана в альманахе «Северные цветы на 1824 г.»

10. Этим именем называли современники «Полтаву» в то время; так кн. Вяземский писал А. И. Тургеневу 14/XI. 1828 г. «Пушкин, сказывают, написал поэму «Мазепа» в трех песнях, кончающуюся Полтавской битвой». Погодин несомненно здесь путает. Переписал он не «Мазепу», а «Бориса Годунова».

11. Гр. Бенкендорф, Александр Христофорович (1783—1844)—шеф жандармов, командующий импер. главной квартирой и главный начальник III отделения собств. е. величества канцелярии.

12. Письмо Пушкина к А. Х. Бенкендорфу с упоминанием о стихотворениях о Стеньке Разине было написано 20. VII. 1827 г., а ответ Бенкендорфа с отказом разрешить их напечатать

от 22. VIII. 1827 г. Но получить его Пушкин в Москве, на квартире Соболевского, не мог, так как оно было адресовано Бенкендорфом в Петербург и пришло, когда Пушкин выехал из Петербурга в Михайловское; туда писал ему П. А. Плетнев 27 августа 1827 г., препровождая его в копии. Подлинник письма Бенкендорфа мог быть переслан Пушкину в Михайловское или получен им в Петербурге по приезде из Михайловского. На квартире же Соболевского в Москве Пушкиным было действительно получено несколько писем от Бенкендорфа в конце 1826 и начале 1827 г., одно из которых возможно и было получено при Погодине, и таким образом Погодин смешал только письма.

13. Сцена из «Бориса Годунова» посылалась в Петербург на разрешение для помещения в «Московском Вестнике».

14. Журнал «Московский Вестник» издавался М. П. Погодиным в 1827—30 гг. Пушкин принимал в нем участие и поместил ряд отдельных стихотворений и отрывков.

15. Иннокентий, в мире Иван Алексеевич Борисов (1800—1857)—знаменитый русский богослов и церковный оратор; ректор Киевской духовной академии, архиепископ херсонский и таврический.

16. Подразумеваются мрачные годы университетской жизни—1848—1854, когда гр. Уварова сменил кн. Ширинский-Шихматов, и в университете появилось новое начальство: Голохвастов и Шпейер. В это время увеличивается плата за обучение (с 28 р. 57 к. до 50 руб. в год); вводятся новые военные науки, маршировка и т. п. Все это вызвало сильное сокращение числа студентов—с 1250 человек в 1847 г. до 328 ч. в 1852 г.

17. Здесь подразумевается второй том «Историко-критических отрывков». М. 1867 г.

---

17. Н. А. Лейкин. „Из Москвы".

Рассказ камердинера Пушкина записан известным писателем Ник. Алдр. Лейкиным (1841—1906). Из статьи Лейкина («Петербургская газета», 1880, № 111 от 8 июня, стр. 2) нами опущена первая бóльшая часть, представляющая собою описание открытия памятника Пушкину в Москве 6 июня 1880 г.

День открытия памятника Пушкину.

. . . .

Скажу несколько слов о том старичке, о котором было телеграфировано читателям [1]. Мы его встретили в Думе. Это камердинер Никифор Емельянович Федоров, старик лет 85-ти. Он только что отыскался в четверг и явился в Думу. Личность поистине интересная и может служить своими рассказами для пополнения биографии Пушкина многими деталями. На вид Никифор Федоров еще очень бодр, держится прямо и даже умеренно сед. Он помнит всех писателей, составлявших в то время Пушкинский кружок, называет их поимянно. Передам рассказ словами самого старичка.

— „Вот уж подлинно труженик-то был Александр Сергеевич! Бывало, как бы поздно домой ни вернулся и сейчас писать. Сядет это у себя в кабинетике за столик, а мне: „иди, Никеша, спать": Никешой звал. И до утра всё сидит.

Смерть любил по ночам писать. Станешь это ему говорить, что мол вредно, а он: „не твое дело". Встанешь это ночью, заглянешь в кабинет, а он сидит пишет и устами бормочет, а то так перо возьмет в руки и ходит, и опять бормочет. Утром заснет и тогда уж долго спит. Почти 2 года я у него выжил. Поступил к нему в 31-м г. к холостому в Москве, при мне он и сватался к Гончаровой, при мне и женился [2]. Потом переехали в Петербург, а оттуда в Царское Село. Лимонад очень любил. Бывало как ночью писать—сейчас ему лимонад на ночь и ставишь. А вина много не любил. Пил так, то-есть средственно, но чтоб ошибаться—ни боже мой, никогда. И не отпустил-бы он меня от себя никогда, да господа меня потребовали. Крепостной я человек был г. Засецкого. Жалели очень меня, выкупить хотели. Тысячу рублев ассигнациями они за меня барину-то сулили, да не отдал. Я и на свадьбе у них был. Князь Юсупов [3] их в посаженных-то отцах благословляли. Это от Гончаровой значит. То есть вот так их помню—как будто сейчас перед глазами".

Старика внимательно слушала целая толпа. В настоящее время он проживает в Москве у сына, который служит музыкантом в театре.

На празднике находятся два сына, две дочери и внук Пушкина. Сын, командир нарвского гусарского полка, поражает своим сходством с гениальным отцом. Из дочерей Пушкина младшая еще и посейчас красавица; говорят, она вылитая мать. Внук—высокий, худощавый флотский офицер [4]. Разумеется, дети Пушкина ничего не помнят о своем отце, так как умер он, оставив их совсем маленькими.

Н. Лейкин.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Эта телеграмма была напечатана в «Петербургской газете» 1880 г № 110, пятница 6-го июня, стр. 2, в отделе: «телеграммы Петерб. Газеты». Подписана эта телеграмма псевдонимом Оса Приводим целиком то место из нее, где говорится про камердинера Пушкина:

«Москва, 5 июня, среда. Пушкинские празднества открываются чрезвычайно оживленно . . . .

— Сейчас состоялся в зале городской думы прием депутации. Председательствовал принц Ольденбургский. По правую сторону его сидел генерал-губернатор князь Долгоруков, по левую—сенатор Корнилов и академик Грот. Далее две дочери Пушкина и два сына. Они были предметом общего внимания. Отыскался в Москве старичек, который долгое время был камердинером Пушкина. Дума хочет выдать ему щедрое пособие Все относятся к нему благосклонно. Старичек много рассказывал новых фактов о Жуковском и Карамзине. Он—бывший крепостной Засецких. . .»

Упоминаемые в телеграмме:

Принц Ольденбургский, Петр Георгиевич (1812—1881)—с 1860 г. управлял ведомством императрицы Марии; создатель и попечитель многих благотворительных учреждений.

Долгоруков, Владимир Андреевич, (1810—1891)—с 1865 г. московский генерал-губернатор.

Корнилов, Иван Петрович (1811—1901)—член совета министра народного просвещения; был известен, как ревностный собиратель старо-русских и славянских рукописей и книг.

Грот, Яков Карлович (1812—1893)—академик; один из первых пушкинистов.

Дети Пушкина: 1) Мария Александровна (1832—1919) в замужестве Гартунг (с 1860 г.). Похоронена в Донском монастыре с ошибочной надписью на памятнике «Мария Викторовна»; 2) Александр Александрович (1833—1914)—командир 13 гусарского Нарвского полка. Умер в имении Останкино

Каширского уезда (ст. Богатищево, Рязано-Уральской жел. дор.); 3) Григорий Александрович (1835—1905)—служил на военной службе, затем в министерстве внутренних дел, с 1875 г. был почетным мировым судьею по Опочецкому у. Псковской губ. Погребен в имении жены «Маркутьи» под Вильною; 4) Наталья Александровна (1836—1913); вышла в первый раз за М. Л. Дубельта (1853 г.) и во второй раз (1868 г. в Лондоне) за принца Николая Вильгельма Нассауского и получила имя графини Меренберг. Умерла в Канне.

2. Пушкин сделал первое предложение Наталье Николаевне Гончаровой в конце апреля 1829 г. (через гр. Фед. Ив. Толстого), затем вторично писал об этом матери невесты Нат. Иван. Гончаровой письмо в начале апреля 1830 г., а 6 апреля 1830 г. сделал формальное предложение; обручение было 6 мая 1830 г, а свадьба 18 февраля 1831 г. в Москве.

Из Москвы он уехал с женой в Петербург около середины мая 1831 г. и в Петербурге находился с 18 по 25 мая 1831 г., когда переехал в Царское Село.

3. Кн. Юсупов, Николай Борисович (1750—1831)—был при Екатерине II посланником в Турине, при Павле I сенатором и министром уделов, при Александре I членом государственного совета. Ему посвящено стих. Пушкина «К вельможе».

4. Дуббельт, Леонтий Михайлович (1855—1894)—капитан 2-го ранга; внук Пушкина, сын его дочери Натальи Александровны.

---

18. А. А. Кононов. „Из записок".

Напечатанные в «Библиографических записках» 1859 г., т. II, № 10 (стб. 305—312) воспоминания принадлежат Александру Акинфовичу Кононову, автору ряда очерков мемуарного характера.

(Посвящается П. В. Анненкову) [1].

. . . Меня отдали в пансион в Москве (1817 г.); Василий Степанович Кряжев [2], известный по своим переводам и учебным книгам, был его содержателем. После (1818 г.) перевели меня в другое заведение; в этом последнем часто видал я князя Александра Александровича Шаховского [3], родственника моего наставника, у которого я жил и который состоял на службе при университете. Вместе со мною воспитывались два родных племянника князя. Толстый, лысый мужчина, в мешковатом черном фраке—вот каким представился мне известный русский драматург; рябоватое лицо, орлиный нос, проницательный взгляд—всё это вместе делало физиономию его замечательною: кто раз его видел, верно узнал бы и через двадцать лет. С первого взгляда Шаховской казался холодным, даже отталкивающим от себя; но нельзя было не полюбить его, узнавши короче. Сначала я как будто его боялся; частые свидания с ним то в пансионе, то у его родителя, старика [4], всегда лежавшего в постели, которого я по его приказанию звал дедушкою, потому что было дальнее родство между нашими семействами,—свидания эти сблизили нас, и я не только перестал его бояться, но стал находить его очень любезным и привязался к нему.

Вскоре потом узнал я Мерзлякова [5], которому отец мой поручил давать мне уроки русской словесности. Небольшой ростом, полный, с одутловатым лицом, редковолосый и небрежный в туалете—таким увидел я Алексея Федоровича. Скромный, даже застенчивый в обществе, Мерзляков на кафедре являлся во всей силе своего дарования; его красноречие увлекало слушателей и готовило в юношах людей, полезных для государства. Он был всегда добрый и благотворительный человек, хотя собственные его обстоятельства были и не в блестящем положении.

В Москве (1829 г.), познакомившись с В. Л. Пушкиным [6], я почти ежедневно бывал у него. Опишу Василия Львовича, каким узнал его. Старик, чут движущийся от подагры, его мучившей, небольшой ростом, с открытой физиономией, с седыми, немногими оставшимися еще на голове волосами, очень веселый балагур—вот что видел я в нем при первом свидании. При дальнейшем знакомстве я нашел в нем любезного, доброго, откровенного и почтенного человека; не гения, каким был его племянник, даже не без предрассудков, но человека, каких немного, человека, о котором всегда буду вспоминать с уважением и признательностью. Он дал мне списать своего *Буянова* *), хотя

* „Опасный сосед", известная сатира В. Л. Пушкина; героем воспеваемых здесь подвигов выведен Буянов. Стихотворение это имело несколько изданий.

я знал его уже на память; сам читал мне своего *Юродивого*, напечатанного—помнится—в „Московском Вестнике“ *) У него была огромная библиотека, но худо размещенная по тесноте дома; книги на полках шкапов стояли в три ряда, так что с большим трудом можно было отыскать чего желаешь.

У Василья Львовича встречал я многих литераторов: Ивана Ивановича Дмитриева[8], высокого, худощавого, в седом парике, в сером фраке с звездою; Алексея Федоровича Малиновского[9], известного по его археологическим трудам; князя Петра Ивановича Шаликова[10], добродушнейшего человека... Еще в детстве видал я князя у друга его Бориса Карловича Бланка[11], также некогда литератора, проживавшего то в Москве, то в деревне: выезд Бланка из столицы подал повод, кажется—князю Вяземскому, написать шуточные стихи, в которых Шаликов говорит при расставаньи с своим приятелем:

Прощай, прощай, о Бланк драгой,
Единственный читатель мой! [12]

Однажды мы сидели в кабинете Василья Львовича: он, Михайло Александрович Салтыков[13], Шаликов и я; отворились двери, вошел новый гость, черты лица которого два

первое литографированное оттиснуто в Мюнхене в 1815 г., второе напечатано в Лейпциге, в типографии Брокгауза, в 1855 г., in 8 стр. 10, с предисловием С. Д. Полторацкого [7]; третье в 1859 г. появилось в Берлине, печатано в типогр. К. Шультце, в миниатюрном формате.

* Пиеса эта под заглавием: „Элегия“ напечатана в Москов. Вестнике 1827 года, часть II, стр 14—16; в смирдинское издание „Стихотворений В. Л. Пушкина“ она не вошла.

года тому назад (при встрече в театре) так врезались мне в память и еще более утвердились в ней портретом Кипренского: это был А. С. Пушкин. Поэт обнял дядю, подал руку Салтыкову и Шаликову; Василий Львович назвал ему меня, мы раскланялись. Все сели; начался разговор. Александр Сергеевич рассказывал всё, что я после читал в статье его: „Поездка в Арзрум“ [14]. Между тем князь Шаликов присел к столу и писал: „недавно был день вашего рождения, Александр Сергеевич, [15]—сказал он поэту.—Я подумал, как никто не воспел такого знаменитого дня и написал вот что“. Он подал бумагу Пушкину; тот прочитал, пожал руку автору и положил записку в карман, не делая нас участниками в высказанных ему похвалах. Последнее мое свидание с А. С. Пушкиным было у М. А. Салтыкова. Тут много говорил он о Турчаниновой, которая тогда удивляла всех своим глазным магнитизмом; он сказывал, что она готовит о том сочинение, но кажется—оно не являлось в свет [16].

Раз как-то сказал я Василью Львовичу, что еду к князю А. А. Шаховскому; он просил меня передать князю его почтение. Когда я вошел к Шаховскому в гостиную, хозяин обедал, хотя уже был седьмой час вечера; возле него сидел на креслах полный мужчина, приятной наружности, с Анною на шее. Князь, как всегда, обрадовался мне, расспрашивал о родных, вспоминал старых знакомых, и отнесся к своему гостю, говоря, что хотя я много его моложе, но напоминаю ему прошлое, ибо деревня моя в виду той, где он сам родился и провел свое детство; он даже поручил мне узнать, не продадут ли того имения: „хотелось бы и умереть там, где родился!“ Разговор длился; коснулись

литературы, и я очень удивился, услышав от князя (который писал тогда что-то новое, и для того понадобились ему справки с русской историей), что история, написанная Карамзиным, очень плоха, что в ней не нашел он нужных ему сведений. Гость улыбнулся и сказал: „а до него у нас вовсе не было истории“. Гость это был Михаил Николаевич Загоскин [17].—Когда я передал князю поручение В. Л. Пушкина, он промолчал, как будто не слыхал, что я говорю. После Салтыков об'яснил мне, что он терпеть не мог Василия Львовича за выходку против комедии его: „Новый Стерн“ *) [18]; а Василий Львович рассказал, за что Шаховской не любил Карамзина: когда знаменитый историограф издавал журнал [19], князь послал ему стихи; тот их не напечатал, и самолюбие автора было оскорблено.

В. Л. Пушкин скончался в 1830 году. Давно больной, он хотя не ощущал особенных страданий, но ходить уже не мог; лежа в своем кабинете на диване и перелистывая столь знакомого ему Беранже [20], вдруг тяжело вздохнул— и его не стало.

(Литературная полемика Шаховского и его противников подробно об'яснена г. Лонгиновым в Современнике 1856 года, №№ 7 и 11.)

В 1830 году мне предстояло знакомство более продолжительное с человеком, весьма замечательным. Начальником губернии нашей был тогда Николай Иванович Хмельницкий [21], через которого возвращена была мне с разными условиями, из ценсуры моя комедия [22]. Я знал Хмельницкого только по переписке по этому делу и как драматического писателя. В уездном городе Дорогобуже была ярмарка, и здесь я с ним познакомился: он был тогда лет сорока, приятной наружности, казался застенчивым, не любил больших обществ, зато бывал очень любезен в небольшом кружке, по сердцу; о своих литературных занятиях не любил говорить, но охотно и увлекательно говорил о литературе вообще. Всякий раз, приезжая в Смоленск, я посещал Хмельницкого, и всегда ожидал меня самый радушный прием. Однажды на имянинах одного общего нашего знакомого А. Ф. Гернгросса, в деревне [23], мы провели вместе целый день. Под вечер, войдя в боковую комнату, я нашел его в ней одного стоящим перед картиною, которую он внимательно рассматривал. Картина изображала Сивиллу: с восторженным видом держит прорицательница открытую книгу и, кажется, готовится начать свои предвещания. „Какое впечатление делает на вас эта картина?“ спросил меня Николай Иванович. Я не знаток в живописи, отвечал я; но вижу, что картина хороша; сильного впечатления однако она не производит на меня. „Тоже самое и со мною; не довольно быть только хорошим живописцем, не довольно уметь верно и отчетливо изображать избранный предмет, надо уметь дать ему трогательность: эта же женщина, еслиб мы видели ее с младенцем на руках или окруженную семейством, с выражением волнений сердца, заставила бы нас чувствовать; а тут мы холодны и равнодушны, потому что предмет взят не из природы—он неестественен“...

* В „Опасном соседе“ есть следующие стихи:

Две *гостьи* дюжие смеялись, рассуждали
И „Стерна Нового“ как диво величали;
Прямой талант везде защитников найдет!

Хмельницкий думал завести в Смоленске библиотеку *; начиная приводить мысль свою в исполнение, он отнесся ко всем литераторам, с просьбою прислать изданные ими сочинения. Такое же отношение было послано и к Пушкину. Нумер на письме и официальный тон не понравились поэту; ему приятнее была бы простая приятельская записка, и он отвечал [24]: „Я бы за честь себе поставил препроводить сочинения мои в смоленскую библиотеку, но вследствие условий, заключенных с петербургскими книгопродавцами, у меня не осталось ни единого экземпляра, а дороговизна книг не позволяет мне и думать о покупке книг. С глубочайшим почтением и проч.“ Затем следовала приписка: „Дав официальный ответ на официальное письмо ваше, позвольте поблагодарить вас за ваше воспоминание и попросить у вас прощения не за себя, а за моих книгопродавцев, не высылающих вам, вопреки моему наказу, ежегодной моей дани. Она будет вам доставлена, вам, любимому моему поэту; но не ссорьте меня с смоленским губернатором, которого впрочем я столько же уважаю, сколько вас люблю. Весь ваш“ **.

В 1837 году Хмельницкий был переведен губернатором в Архангельск, и я не видался с ним более.

Проживая в деревне, я встретился еще с Сергеем Николаевичем Глинкою[25], приезжавшим в нашу сторону посетить своих родных. Я видал его и прежде, но не был знаком с ним; тут мы сошлись и полюбили друг друга. Сергей Николаевич был среднего роста, смуглой, с замечательной

* Дело это не состоялось.

** См. Отечест. Записки 1855 г., № 6, стр. 68—в отделе критики.

физиономией и восторженным взглядом. Он постоянно носил один костюм, не изменяя ни цвета, ни покроя: синий или серый фрак и мягкую круглую шляпу. Благо общественное было для него важнее всего, и он по праву мог повторить известный стих:

Et je suis citoyen avant que d'être père [26].

Он имел много случаев приобрести что-нибудь, и никогда ничего у него не было. Следующее обстоятельство показывает всю чистоту души его, никогда себе не изменявшей. После смерти отца Сергея Николаевича, небольшое оставшееся имение досталось ему вместе с несколькими братьями и сестрой; когда дошло до раздела, он отдал свою часть сестре, а сам определился домашним учителем к какому-то помещику Харьковской губернии. Выданные ему от правительства в 1812 году на расходы 100.000 руб. он, по окончании Отечественной войны, возвратил в целости[27]; нуждаясь в деньгах, он заложил вещи своей жены, но ни копейки не истратил для себя из вверенной ему суммы.

Не могу не рассказать еще двух случаев из жизни Сергея Николаевича. В 1818 году гвардия была в Москве; Глинка ехал на извозчике; навстречу шла команда, которую вел молодой офицер с обнаженною шпагою в руке. Это было у Иверских ворот, где всегда людно и тесно. Офицер прежде кричал на извозчика, а потом ударил его шпагою и так неосторожно, что попал в лицо и оцарапал до крови. Глинка соскочил с дрожек, обошел и у задней шеренги расспросил: кто этот офицер и какого полка? Вслед затем он отправился прямо к дивизионному командиру, об'яснил происшествие и прибавил, что если завтра же обиженный

не будет удовлетворен, то он подаст всеподданнейшую жалобу государю. Генерал тотчас послал за офицером. „Виноват, я точно это сделал, сказал офицер, выслушав начальника; но что угодно г. Глинке?“—Чтобы вы в присутствии генерала и при мне попросили прощения у этого извозчика. За что вы его ударили? какое имели на то право? Вы—офицер, он—извозчик, оба полезны по-своему и один другого заменить не можете!—„Но я не знаю этого извозчика“.—Он здесь со мною,—отвечал Глинка. Тогда позвали извозчика; „извини, братец, мою горячность!“ сказал офицер и дал ему 25 р.

В другой раз в Смоленске, под‘ехав на извозчике к одному знакомому дому, Глинка слез с дрожек, снял с себя сюртук, который был надет поверх фрака, положил на экипаж и пошел по лестнице. Когда он вышел из дому, ни сюртука, ни извозчика не было. Он отправился в полицию, чтобы об‘явить о пропаже. „Извольте, говорят ему, взять в казначействе гербовой лист в 50 к., и мы напишем об‘явление“.—Как, у меня украли, да я еще и деньги должен платить? возразил Глинка и прямо отсюда пошел на биржу, где стоят извозчики; посмотрел—вора не было. „Послушайте, братцы, сказал он им; вот что со мною случилось, вот приметы вашего товарища, найдите мой сюртук; я живу там-то, зовут меня Сергей Николаевич Глинка“.—Знаем, знаем, батюшка! закричали извозчики. На другой день сюртук был найден и вор приведен. Глинка сделал приличное наставление виновному, надел сюртук и отправился в полицию. „Извольте видеть, сказал он с довольным видом: полтины не платил, просьбы не писал, а сюртук на мне; а я не полицмейстер!“

После того он скоро уехал из нашей стороны, но иногда писал ко мне. Последнее его письмо оканчивалось этими стихами:

Да охраняет провиденье
Любовь и дружбу твоих дней,
В моей судьбе мне утешенье
Счастливый быт моих друзей.

Под конец жизни Сергей Николаевич ослеп и умер в преклонных летах.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Анненков, Павел Васильевич (1812—1887)—писатель и критик; известный издатель сочинений Пушкина и его биограф.

2. Кряжев, Василий Степанович (1771—1832)—переводчик и составитель учебников и детских книг; в начале XIX в. имел типографию совместно с Меем.

3. Кн. Шаховской, Александр Александрович (1777—1846)—известный драматург; родился в имении своего отца кн. Александра Ивановича Ш.—сельце «Беззаботах» Елецкого уезда Смоленскои губ., умер в Москве и похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря. Ш. был членом «Беседы любителей русского слова»; его многочисленные пьесы пользовались выдающимся, но непрочным успехом в свое время, а их литературная пародийность и высмеивание нового сантиментально-романтического направления вызывали жаркие споры и полемику со стороны литературных противников, «арзамасцев».

4. Кн. Шаховской, Александр Иванович—камергер польского короля Станислава; отец драматурга.

5. Мерзляков, А. Ф. см. 9 прим. к № 5.

6. Пушкин В. Л. см. 6 прим. к № 5.

7. Полторацкий, Сергей Дмитриевич (1803—1884)—известный библиограф; учился в Ришельевском училище, затем окончил школу колонновожатых и был недолго на военной службе.

8. Дм триев, Иван Иванович—см. 18 прим. к № 5.

9. Ма иновский, Алексей Федорович (1762—1840)—писатель, историк-археограф; сенатор, начальник Московского архива коллегии иностранных дел.

10. Кн. Шаликов, Петр Иванович (1767—1852)—поэт, писатель и переводчик; редактор Московских Ведомостей и издатель ряда журналов. У современников Ш. не пользовался уважением и подвергался постоянным насмешкам.

11. Бланк, Борис Карлович, см. 15 прим. к № 5.

12. Кн. Вяземский, Петр Андреевич, см. 77 прим. к № 11; его стихи на кн. Шаликова и Бланка—«Выход Вздыхалова» напечатаны в полном собр. соч. кн. П. А. Вяземского, Спб. 1880 г., т. III, стр. 275.

13. Салтыков, Михаил Александрович, (1767—1851)—сенатор; в Екатерининскую эпоху был на военной службе, в Александровскую эпоху в коллегии иностранных дел, затем попечитель Казанского учебного округа, в Николаевскую эпоху занимает ряд попечительных должностей. С. был близок с Пушкиным и Дельвигом; состоял членом «Арзамаса». Дочь его Софья Мих. была в первом браке за А. А. Дельвигом.

14. Пушкин вернулся с Кавказа в Москву в сентябре (до 21) 1829 г., а в С.-Петербург до 10 ноября этого же года. «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» напечатано в Современнике, Спб. 1836 г. том I, стр. 17—84, отрывок из него появился раньше в Литературной газете 1830 г. т. I, № 8, от 5 февраля, стр. 57—59, под заглавием «Военная грузинская дорога (извлечено из путевых записок А. Пушкина)».

15. День рождения Пушкина—26 мая 1799 г.

16. Турчанинова, Анна Александровна—писательница и поэтесса. Сочинение ее о «магнетизме» напечатано не было.

17. Загоскин, Михаил Николаевич (1789—1852)—известный писатель; автор многочисленных комедий, теперь забытых, и многих исторических романов, имевших в свое время шумный успех; директор Московских театров и Оружейной палаты.

18. Комедия А. Шаховского «Новый Стерн» (1805 г.), в которой он высмеивал сторонников сентиментализма и поклонников Карамзина, вызвала много полемического шума.

19. Н. М. Карамзин издавал: ж. «Московский журнал» в 1791—1792 гг.; сборник «Аглая» М. в 1794—1795 гг.; сборник «Аониды» М. в 1796 г., 1797 г. и 1799 г; сборник «Пантеон иностранной словесности» М. 1798 г. и журнал «Вестник Европы» с 1802 по 1804 г.; и редактировал приложение к Московск. Ведомостям—«Детское чтение» в 1785—1789 гг.

20. Беранже (Béranger), Пьер-Жан (1780—1857)—знаменитый французский поэт, автор многочисленных песен.

21. Хмельницкий, Николай Иванович (1789—1845)—драматический писатель, переводчик Мольера; служил на военной, а затем на гражданской службе, с 1829 г. смоленский губернатор, с 1837 г. архангельский; с 1838 г. по 1843 г. был заключен в Петропавловскую крепость по обвинению в растрате.

22. Комедия Александра Акинфовича Кононова нам неизвестна.

23. Гернгросс, Александр Федорович; его имение Жуково находилось в Смоленском уезде, в 15 километрах от Смоленска. (Сообщено А. М. Фокиным).

24. Письмо Пушкина к Хмельницкому написано 6 марта 1831 г.

25. Глинка С. Н. см. 3 прим. к № 5.

26. Я прежде гражданин, а уж потом отец.

27. В биографии С. Н. Глинки, составленной Сивковым в Русск. биографическом словаре, М. 1916 г., правительственная ассигновка указана в сумме 300.000 рублей.

---

19. В. Науменков. „По поводу двух эпиграмм Пушкина на Ф. Булгарина“.

Сообщение известного ученого Мих. Алдр. Максимовича (1804—1873) о соавторстве Пушкина в эпиграмме Баратынского, приводимое в заметке В. Науменкова «По поводу двух эпиграмм Пушкина на Ф. Булгарина» [1] («Вестник Европы», 1887 г, кн. 5, стр. 408—410), весьма любопытно. Это не единственный случай совместного авторства с Баратынским. В 1827 г. Пушкин с ним сочинил эпиграмму на кн. Шаликова «Князь Шаликов газетчик наш печальный».

Бесспорно,—не составляет ничего существенного для главного дела вопрос: правильно или неправильно приписываются совсем сравнительно ничтожные, и по об'ему, и по содержанию, произведения такому писателю, слава которого сложилась на основании многих капитальных его творений, но музе которого, как известно, не чуждо было творчество и в другой области поэзии, к которой относятся эти литературные мелочи. Хотя всё это и так, однако уже одно имя великого поэта требует самого тщательного исследования, до мелочей, всего, что относится к нему. В виду появившихся уже и появляющихся чуть не с каждым

днем новых изданий полного собрания сочинений Пушкина, а также в виду некоторых новых данных, имеющихся у меня под руками, считаю уместным вновь затронуть вопрос о двух мелких произведениях, приписывавшихся нашему великому поэту и дававших не раз повод сомневаться в том, кто был истинный автор их.

В „Деннице“, альманахе на 1831 г., издававшемся М. Максимовичем[2] в Москве, были помещены две эпиграммы, пущенные по адресу Булгарина. Одна из них:

Не то беда, Авдей Флюгарин,
Что родом ты не русский барин,
Что на Парнассе ты цыган,
Что в свете ты Видок[3] Фиглярин:
Беда, что скучен твой роман[4].

Другая:

Поверьте мне—Фиглярин моралист
Нам говорит преумиленным слогом:
„Не должно красть, кто на руку нечист,
Перед людьми грешит и перед богом;
Не надобно в суде кривить душой;
Не хорошо живиться клеветой,
Временщику подслуживаться—низко;
Честь, братцы, честь дороже нам всего!“
Ну что-ж? бог с ним! Все это к правде близко,
А *кажется*, и ново для него.

Обе эти эпиграммы приписывались, почти безусловно, Пушкину; по крайней мере в прежних изданиях его сочинений они постоянно помещались, при чем—в некоторых—с оговорками. Так, в издании 1857 г. при второй из них в примечании было сказано, что она приписывается и Баратынскому, но всего вероятнее, что мысль эпиграммы

принадлежит обоим авторам (т. 7-й, стр. 107); в издании 1880 г. под редакцией г. Ефремова, сказано почти то же, а именно, что обе они приписываются и Баратынскому, но, может быть, написаны сообща (т. 2, стр. 439). Просматривая теперь новые издания, мы в одних встречаемся с ними, как, например, в издании В. Комарова, под редакцией г. Ефремова (т. 2, стр. 324), в других — нет, напр., в издании „Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым“, под редакцией г. Морозова; причем в этом последнем сказано: „Баратынского же, а не Пушкина следует считать и автором эпиграмм: „Не то беда, Авдей Флюгарин“ и „Поверьте мне—Фиглярин моралист“ (т. 2-й стр. 91-я) Обращаемся, наконец, к “Puschkinan‘e известного нашего труженика по библиографии—там находим обе эти эпиграммы в числе сочинений Пушкина (стр. 114-я, №№ 1838 и 1839).

Разбирая теперь рукописи покойного М. А. Максимовича, я нашел листок с библиографическими заметками писанный его рукою в конце 1857 года; этот листок дает возможность точно разрешить указанное сомнение, так как Максимович там положительно определяет, кто авторы этих эпиграмм, и приводит некоторые частности, не оставляющие никаких дальнейших сомнений. Привожу подлинные слова г. Максимовича из этих заметок:

„На 107-й странице седьмого тома сочинений Пушкина (говорится об издании г. Анненкова 1855—57 гг.) помещены две эпиграммы, которые были напечатаны в „Деннице“ на 1831 год. К одной из них сделано примечание, что она „приписывается и Баратынскому, но всего вероятнее, что

мысль эпиграммы принадлежит обоим авторам“. Как издатель „Денницы“, я скажу с достоверностью, что Пушкину принадлежит только одна из тех двух эпиграмм („Не то беда, Авдей Флюгарин“). Другая подлежит исключению из сочинений Пушкина: ее сочинил Баратынский еще до приезда Пушкина в Москву и написал ее мне своеручно в таком виде:

„Поверьте мне—Фиглярин моралист и т. д.“.

Последний же стих читался так:

„А *может быть*, и ново для него“.

Пушкин, по приезде в Москву, любовался этою эпиграммою; рукою властною он зачеркнул в последнем стихе: *может быть*, и написал: *кажется*. С этою переменой и напечатан в „Деннице“ последний стих:

„А *кажется*, и ново для него“.

Вот всё, что принадлежит Пушкину в эпиграмме Баратынского!“

В. Науменко.

Киев.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Булгарин, Фаддей Венедиктович (1789—1859)—журналист, писатель-романист; поляк по происхождению. Б. издавал ряд журналов и газету Северную Пчелу, пользовавшуюся необыкновенным успехом. Своим участием в негласном надзоре и рядом доносов Б. приобрел у современников и потомства позорную репутацию тайного агента.

2. Максимович, Михаил Александрович (1804—1873)—выдающийся ботаник, зоолог, историк и филолог. Профессор Московского и ректор Киевского университетов.

3. Видок (Vidocq, François—Eugène), (1775—1858)—авантюрист, сыщик и начальник парижской сыскной полиции. В 1828 г. появились его мемуары („Mémoires de Vidocq" 1828,4 vol.) рисующие автора, как личность низкую.

4. Среди многочисленных эпиграмм современников на Булгарина Пушкину принадлежат две целиком написанные им без чьего-либо сотрудничества, это, появившаяся в феврале 1830 г. «Не то беда, что ты поляк»—и, быстро распространившаяся в рукописи и напечатанная самим Булгариным в ж. «Сын Отечества и Северный Архив» 1830 г. т. XI, № XVII, стр. 303 с устранением самой соли эпиграммы: «Видок Фиглярин» было заменено словами «Фаддей Булгарин» и с присоединением лицемерной публикации: «В Москве ходит по рукам и пришла сюда для раздачи любопытствующим эпиграмма одного известного поэта. Желая угодить нашим противникам и читателям и сберечь сие драгоценное произведение от искажения при переписке, печатаем оное». Хитрость Булгарина имела успех; он сам рассказывал, что когда Бенкендорф обратил внимание Николая I на эту публикацию, то тот на ней написал: «Благородное мщение».

На вторую эпиграмму Пушкина («Не то беда, Авдей Флюгарин»), написанную в конце июля 1831 г., Булгарин отвечал статьей: «Второе письмо из Карлова на Каменный остров», напечатанной в № 94 Северной Пчелы от 7 августа 1831 г., полной насмешек над «аристократизмом» Пушкина и сотрудников «Литературной Газеты» Дельвига.

---

20. Н. А. Б. . . . . „Воспоминание о Пушкине".

Кто такой «Б . . . . , Н. А.», автор «Воспоминания о Пушкине», напечатанного в газете «Весть», (1864 г. № 45 от 8 ноября, стр. 4—5) нам неизвестно. Конечно воспроизведение им слов Пушкина через тридцать лет, вероятно, весьма и весьма приблизительно. В конечном счете достоверна, надо думать, только лишь тема разговора.

Я был очень молод и готовился ко вступлению в университет, когда познакомился с Пушкиным случайно, хотя он был мне сродни. Однажды, вечером, сидел я у кн. О . . . . . .[1]—Пришел Пушкин. Хозяин обратил его внимание на меня, сказав, что печатаются первые мои словесные опыты;—что они переводные; но что я стараюсь избегать употребления иностранных слов, заменяя их—с грехом пополам—русскими. Пушкин похвалил меня; но прибавил, что, в подобном стремлении, надо быть очень осторожным. Помолчав немного, он продолжал так:

„Да! . . . притязания Шишкова были во многом смешны; но и во многом он был прав. Требовать отмены всех иностранных выражений — в особенности заимствованных из древних

языков, вкоренившихся у нас, сделавшихся принадлежностью нашей мысли, просто—глупость. Но не менее глупо употреблять иностранные выражения, когда у нас есть свои собственные. Впрочем, на это существуют правила. Вот как я их понимаю:

„Всё, что мы ни выговариваем, выражает: или имя собственное, или название предметов, или понятия.

Имена собственные следует переводить как можно звукоподражательнее. На это чрезвычайно способен наш язык.

Названия предметов могут быть, иногда, удержаны и иностранные. Как скоро, при введении в употребление нового предмета, не прибрано тотчас для него приличного названия—употребляйте чужестранное; употребляйте его до той поры, пока у кого-нибудь с языка не сорвется счастливое выражение, которое без натяжки, само собою, войдет в общее употребление.

Что же касается до понятий... О!.. это совсем иное дело,—Понятия суть принадлежность разума. Кто выражает какое-либо понятие иностранным словом, тот—или свидетельствует о собственном своем невежестве... тогда не смей браться за перо;—или порочит разум своего народа, доказывая, что этот разум не только не был в состоянии выразить общечеловеческую принадлежность, но и не был в силах подготовить это выражение. Это уже слишком обидно!"

Такое умное суждение знаменитого нашего писателя врезалось в моей памяти. С удовольствием передаю его читателю.

Н. А. Б...........

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Кн. Одоевский, Владимир Федорович (1803—1869)—известный писатель, общественный деятель и музыкальный критик; служил в ведомстве иностр. исповеданий, с 1846 г. помощник директора имп. публичной библиотеки и директор Румянцевского музея, с 1861 г. сенатор в Москве.

---

21. Н. Ежов. „У современницы Пушкина".

Вдова друга Пушкина П. В. Нащокина, Вера Алдр. Нащокина, скончавшаяся 17 ноября 1900 г., была последней свидетельницей жизни поэта, пережив всех лиц, близко знавших Пушкина.

Впервые записывал рассказы ее о Пушкине в 1851 г. П. И. Бартенев. Записи эти опубликованы нами в 1925 г. в книге: «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах». Затем, почти через пятьдесят лет, в 1898 г. Родионов записал рассказы Веры Александровны о Пушкине и Гоголе, опубликовав их в «Новом Времени». Перепечатаны они Л. П. Гроссманом. в книге: «Письма женщин к Пушкину» М. 1928.

Запись Ежова («Новое время», 1899, № 8343 от 21 мая) по сравнению с названными публикациями заключает в себе несколько новых подробностей.

В 1835 году, 20 января, А. С. Пушкин писал своему закадычному другу Павлу Воиновичу Нащокину[1] следующее:

„Жена кланяется сердечно твоей Вере Александровне[2]; она у m-me Sichler заказала ей шляпу, которая сегодня же и отправляется в Москву. Жена[3] говорит, что comme m-me Нащокин est brune et qu'elle a un beau teint[4], то выбрала она для

нее шляпу такого-то цвета, а не другого. Впрочем, это дело дамское".

С тех пор прошло,—легко сказать,—64 года. Сколько жизней за этот долгий период времени успело народиться и окончиться, сколько старых деятелей и дел отжило и сколько новых образовалось! Между тем та дама,—брюнетка с прекрасным цветом лица,—которой жена Пушкина в 1835 году посылала шляпу, жива до сих дней и, заброшенная, забытая, живет близ Москвы в селе Всехсвятском, в маленьком домишке крестьянина Полякова, в стороне не только от „большого света", но и вообще от света, в темном и унылом закоулке. Дом-дача выходит окнами к забору; в теплые дни выходит на крылечко маленькая, худощавая старушка и, греясь на солнце, смотрит на свой узенький переулок... Это Вера Александровна Нащокина, жена друга Пушкина и сама друг великого поэта...

Осенью прошлого года в „Нов. Вр." были напечатаны „Воспоминания В. А. Нащокиной о Пушкине и Гоголе". В этих воспоминаниях, присланных в редакцию и составленных со слов В. А. другим лицом, заключалось чрезвычайно много интересных эпизодов из жизни Пушкина и Гоголя, а также было приведено достаточно сведений о Павле Воиновиче Нащокине, о его жене и об отношениях к ним Пушкина и Гоголя, в особенности первого. В виду того, что на этих днях должно состояться всероссийское торжество —юбилей Пушкина, я счел не лишним побывать у В. А. Нащокиной. Я еще раньше слышал, что В. А. живет одиноко, бедно; но то, что я увидел, превосходило мои ожидания. Бывшая аристократка, красавица, в доме которой перебывало

множество знаменитых „людей сороковых годов“, та женщина, с которой Пушкин находил интерес разговаривать по целым часам и которую Гоголь считал своим добрым ангелом, доканчивает дни в убогой даче, где, по случаю крайней бедности, В. А. приходится жить и зимой. Вся эта дача имеет две комнаты, кухню и террасу; одну комнату занимает В. А. с своей компаньонкой, а другую комнату сдает какому-то многосемейному бедняку. Обстановка жилища В. А. более чем скромная: ветхие стулья, простой стол, железная с длинной трубой печка, которую всю зиму беспрерывно топят коксом (иначе в комнате образуется стужа), большое старое кресло; на этом кресле всё время сидит В. А. (ходит она мало, ноги ее болят, и не мудрено—простудиться в таком жилье возможно в любой холодный день). Никаких самых обычных признаков достатка вы не найдете. На комоде стоит зеркальце в кисейных бантиках,—единственный след кокетливой женщины. На дворе я заметил двух мосек, при чем одна из них по имени „Тузик“, встретила меня громким лаем.

— Вам кого угодно?—спросила простоволосая женщина, выглянувшая из дверей дачи, когда я подходил к террасе.

— Вера Александровна Нащокина дома?

— Дома-с.

Я подал карточку.

— Да пожалуйте, оне в комнате...

Я передал мою карточку, и затем вошел, нагибаясь под карнизом двери. Я еще дорогой, когда ехал на извозчике, повторял слова Пушкина:

„Comme m-me Нащокин est brune et qu'elle a un beau teint, то и выбрала она для нее шляпу такого то цвета, а не другого“... Но ведь это было в 1835 году. Это время отделено от нынешнего более чем полустолетием.

В. А. Нащокина — тоненькая, очень худощавая старушка, хотя на ее прекрасном лице нет тяжелых морщин; преклонные годы положили на него отпечаток, но сразу видно, что эта женщина была замечательной красавицей; ее светлые глаза светлы и теперь, профиль изящен, улыбка крайне симпатична, голос слаб, дрожащ, но приятен. Когда В. А. говорит, ее лицо слегка дрожит. Во всей ее старческой и тщедушной фигурке, в каждом жесте что-то необыкновенно милое и врожденно благородное. Когда она узнала, что цель моего визита—поговорить о Пушкине, она вздрогнула, как птица, лицо задрожало и затряслись ее бледные, высохшие, как тонкие палочки, руки...

— Ах, вы представить себе не можете, как я и мой муж любили Пушкина. Это был наш друг в полном смысле этого слова... Я могу рассказать вам много, много...

Она стала повторять всё то, о чем уже было напечатано в „Нов. Врем.“ Я напомнил ей о статье и спросил, читала ли она эту статью и довольна ли пересказом ее слов о Пушкине и Гоголе?[5]

— И да и нет,—отвечала В. А.—Видите ли, тот мой знакомый, который записал и напечатал мои рассказы о Пушкине и Гоголе, не совсем точно исполнил мое желание...

— А вы что же собственно желали?

— Во первых, мне неприятно, что моя особа выставлена как бы на первый план, а великий Пушкин и Гоголь—как

бы на втором... Между тем про меня можно бы сказать вскользь, если уже совсем нельзя обойти молчанием мою маленькую особу.

Между прочим, г-жа Нащокина исправила несколько ошибок, замеченных ею в „Воспоминаниях“ о Пушкине:

— Совсем неверно, что Пушкина похоронили во фраке моего мужа. Правда, в этом фраке Александр Сергеевич венчался, и фрак стал у него называться: „Нащокинским“. Бывало, скажет лакею: человек, подай-ка мне Нащокинский фрак! Потом есть ошибки и про Гоголя... А главное тон не такой, какой бы я хотела...

Я перевел разговор опять на Пушкина и старался узнать что либо новое, недоговоренное Верой Александровной. Но вспоминать приходилось слишком экспромптом и разговор держался в рамках общих правил.

— Ах, Пушкин, Пушкин!—твердила В. А., волнуясь.— Какой это был весельчак, добряк и острослов! Он говорил тенором, очень быстро, каламбурил и по-русски, и по-французски; он мужа любил больше чем кого-либо, а выходит теперь так, что о Нащокине совсем забыли, отодвинули его на задний план. Пушкин говорил: „я у вас, как дома, как в родной семье!“ Меня он любил как брат и друг, шутил со мной, читал мне свои новые стихотворения, целовал мои руки, а в особенности играл со мной в карты... Как он звонко хохотал! Я сейчас слышу его смех...

— А вы были в хороших отношениях с Натальей Николаевной?—спросил я.

— С женой Пушкина? О, да! Хотя близко с ней я никогда не могла сойтись... Это была светская дама, а я всю

жизнь и всю любовь отдала моему мужу. Я прожила с моим Павлом Воиновичем 18 лет, и мы ни разу косого вида не показали друг другу. Павел Воинович был чудесный человек.

Затем говоря о жене Пушкина, В. А. созналась, что это была жена добрая, но легкомысленная.

— Ветер, ветер!—повторяла В. А. и даже прибавила так:—право, она какая-то, казалось мне, бесчувственная. Пушкин ее любил безумно...

— Скажите,—спросил я,—посещает ли вас здесь кто нибудь?

— Во Всехсвятском? Никто и никогда. Все мои близкие, родные, хорошие знакомые примерли, я всех пережила... Мне даже как-то совестно от этого!

— А видаетесь ли вы с детьми Пушкина?

— Увы, ничего о них не знаю, да и им, вероятно, мало дела до меня. Раз, после торжества открытия памятника Пушкина на Тверском бульваре, я встретила одного из сыновей Пушкина. Я сильно была взволнована, когда меня познакомили с сыном моего незабвенного друга, но его молчаливость меня несколько сдержала. Я спросила: „ну что, как вам нравится памятник вашего отца?“ — „Ничего, так себе“ ответил А. А.[6] и заговорил с другой дамой о каком то бале. С тех пор я никого не видала и не вижу из родни Пушкина...

Словом, бедная В. А. Нащокина жила весьма плохо, но самое тяжелое в ее доле было, конечно, полное забвение: все забыли друга Пушкина, все покинули красавицу Нащокину, которая могла считаться в былое время образцом

доброй жены и гостеприимной хозяйки. Впрочем, комиссия по устройству праздника в честь Пушкина в Москве вспомнила, что на свете, и именно в Москве существует историческая, пушкинская женщина; ректор Московского университета Д. Н. Зернов[7] прислал ей приглашение на торжество 100-летия со дня рождения Пушкина. Это, разумеется, хорошо сделано, но надо надеяться, что комиссия не одним этим билетом выкажет внимание к единственной современнице Пушкина из ближайшего к нему круга.

В заключение этой заметки я даю адрес г-жи Нащокиной: „Москва, за Тверской заставой, село Всехсвятское д. Полякова“. Делаю это для тех, кто, быть может, и знает, и помнит В. А. Нащокину, и хотел бы ее навестить, но до сих пор не знал ее местожительства.

Н. Ежов.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Нащокин, Павел Воинович (1800—1854)—друг Пушкина товарищ по Петербургскому университетск. благородному пансиону брата Пушкина—Льва Сергеевича и С. А. Соболевского. Нащокин недолго служил в Измайловском полку и в 1824 г. вышел в отставку; переехал из Петербурга в Москву и жил здесь нигде не служа.

2. Нащокина, Вера Александровна, урожденная Нарская; в 1834 г. вышла замуж за П. В. Нащокина, умерла в глубокой старости в Москве.

3. Пушкина, Наталья Николаевна, урожденная Гончарова (1812—1863)—жена Пушкина с 1831 г.; вторично вышла в 1844 г. за Петра Петровича Ланского (1799—1877).

4. Так как Нащокина брюнетка и имеет хороший цвет лица.

5. «Воспоминания о П. и Гоголе» (Рассказы В. А. Нащокиной записаны И. Р.) Новое Время (иллюстрир. прилож.) 1898 г., №№ 8115, 8122 и 8129.

6. Пушкин, Александр Александрович, см. примеч. к № 17.

7. Зернов, Дмитрий Николаевич (1843—1917) анатом, профессор Московского университета.

---

22. Я. П. Полонский. „Кое что об А. С. Пушкине“.

Воспоминания поэта Я. П. Полонского (1820—1898) были напечатаны в ж. «Cosmopolis» 1898, т. IX, № 3—mars, стр. 199—202.

Опубликованные нами в «Голосе минувшего» 1917, № 11—12, записи Я. П. Полонского в его дневнике рассказов А. И. Смирновой содержательнее этих старческих воспоминаний, но и последние заслуживают внимания, заключая в себе записи слышанного от брата поэта, Льва Сергеевича Пушкина.

Не пора ли мне записать кое-что из того, что я слышал об Пушкине, от брата его, Льва Сергеевича[1] и от других близких его знакомых? Не знаю, справедливо ли мое замечание, что расцвет женской красоты идет рука об руку с расцветом выдающихся поэтических талантов. Во времена Пушкина при русском дворе было не мало красавиц. Все они, в особенности А. И. Россети[2], имели много поклонников и все они, как фрейлины императрицы Александры Федоровны[3], должны были вести себя безукоризненно, под угрозой быть удаленными от двора. Ничего нет мудреного, что император Николай I желал, чтобы Пушкина[4], блистающая молодостью и красотой, появлялась на придворных вечерах и балах. Однажды, заметив ее отсутствие, он спросил, какая тому причина? Ему сказали, что, так как муж ее

не имеет права посещать эти вечера, то, понятно, он не пускает и жену свою. И вот, чтобы сделать возможным присутствие Пушкиной вместе с мужем, государь решил дать ему звание камер-юнкера. Некоторые из противников Пушкина распускали слух, и даже печатали, что Пушкин интригами и лестью добился этого звания. Но вот что рассказал мне брат его Лев Сергеевич, которого чуть не каждую неделю посещал я в Одессе, польщенный его дружеским ко мне расположением.—„Брат мой“, говорил он, „впервые услыхал о своем камер-юнкерстве на бале у графа Алексея Федоровича Орлова[5]. Это взбесило его до такой степени, что друзья его должны были отвести его в кабинет графа и там всячески успокоивать. Не нахожу удобным повторить здесь всего того, что говорил, с пеной у рта, разгневанный поэт, по поводу его назначения“...

С.-Петербургский гражданский губернатор Н. М. Смирнов[6], к которому в дом поступил я в качестве воспитателя его единственного сына, рассказывал мне, что Пушкин тотчас после этого заперся у себя в доме и ни за что не хотел ехать во дворец. „Я всячески“, говорил Смирнов, „доказывал ему всю неприличность его поведения“.

— „Не упрашивайте“, отвечал Пушкин, „у меня и такого мундира нет“. Я через его камердинера добыл мерку с его платья, сам заказал ему камер-юнкерский мундир и, когда он был готов, привез его Пушкину. Наконец, не без труда, уговорил я его надеть этот мундир и повез его во дворец, так как ему следовало представиться государю[7]“. В то время Смирнов еще был молод, очень богат и, если не ошибаюсь, был уже женихом Александры Иосифовны

Россети. А. И. была одной из поклонниц поэта Пушкина и Смирнов от всей души полюбил его, стал одним из ближайших его приятелей.

Всем известно, как тогдашнее высшее общество считало звание поэта и вообще писателя несовместным с высоким положением в свете. Пушкин это знал и, как я слышал, досадовал, когда при выходе с придворного бала, слышал крик жандармов: „Карету сочинителя Пушкина“. Врагов у него было много: его послание к Уварову[8], к Булгарину[9], где с такой меткостью указал он на происхождение нашей новейшей аристократии[10], его самобытность, независимость его мнений и милостивое внимание к нему государя, вероятно, не мало раздражали их. Граф Бенкендорф[11] в особенности его не жаловал. Кто не знает, как долго держал он под ферулой драму Пушкина „Борис Годунов“, просмотренную самим государем, и задерживал ее появление в печати[12].

О дуэли Пушкина писали многие,—тут я не скажу ничего нового. Скажу только, что в Одессе в моих руках была тетрадка, где были вписаны все анонимные письма перед дуэлью, полученные Пушкиным. Тетрадку эту взял у меня некто молодой Бибиков, родной брат моей ученицы, которая впоследствии вышла замуж за статс-секретаря Танеева[13]. Но когда я пришел за тетрадкой, то застал несчастного молодого человека уже помешанным. В помешательстве он повторял фразу: „Общество Рогоносцев“, и явно был уже жертвой своих галлюцинаций. Так и не мог вернуть я этой тетради.« В этих записках был очевидный умысел раздражать Пушкина. В них говорилось, что он избран почетным

членом в „Общество Рогоносцев“. Тут же было переписано и письмо Пушкина к Бенкендорфу, в котором поэт признается о своем безвыходном положении и прямо намекает ему, что иначе не может кончиться, как дуэлью с Геккерном[14]. Что же сделала полиция для предупреждения этого великого для нас несчастья?—Ничего.—Было ли доложено об этом государю, который так любил Пушкина, что мог бы, так или иначе, спасти его? Точно враждебные Пушкину силы брали верх и наталкивали его на этот поединок. Пусть г. Вл. Соловьев осуждает его с высшей, богословской точки зрения[15], но Пушкин был воспитан в известных понятиях о чести и не мог поступить иначе. Какова была семейная жизнь Пушкина,—мне неизвестно. Известно только, что Пушкин был ревнив и страстно любил жену свою, что нисколько, однако, не мешало ему иногда скучать в ее присутствии. Она его не понимала и, конечно, светские успехи его ставила выше литературных. Раз А. И. Смирнова посетила его на даче,—в то время, как он писал свои сказки. По ее словам Пушкин любил писать карандашем, лежа на диване, и каждый исписанный им лист опускать на пол. Раз у ней зашла речь с Пушкиным об его стихотворении „Под‘езжая под Ижоры“...—„Мне это стихотворение не нравится“, сказала ему Смирнова, „оно выступает, как бы подбоченившись“. Пушкину это понравилось и он много смеялся. Когда затем Смирнова сошла вниз к жене его, Наталья Николаевна сказала ей: „Вот какая ты счастливая—я тебе завидую. Когда ты приходишь к моему мужу, он весел и смеется, а при мне зевает“.

Записки А. И. Смирновой, появившиеся в Северном Вестнике и с таким любопытством прочтенные публикой, по моему мнению рисуют Пушкина именно таким, каким он был[16]. Раз Жуковский сказал одной из своих приятельниц: „какой удивительный человек этот Пушкин; когда он говорит—с ним невольно соглашаешься, хотя бы и был другого мнения“. Думать, что Смирнова сочиняет разговоры ее гостей, а в их числе и Пушкина, значит не знать ее удивительной памяти. Говорили, что Тургенев в повести своей „Рудин“ изобразил ее в лице г-жи Ласунской. Кажется, он и сам был того же мнения, но если это и так, то Тургенев взял одну только ее внешнюю сторону как, например, курение пахитос. Несомненно, что А. И. Смирнова с такой же деликатностью, без всякого гнева и попреков, отделалась бы от всякого неприятного ей человека, как Ласунская от Рудина. Но если бы г-жа Смирнова была действительно чем-то в роде Ласунской, Тургенев не приезжал бы к ней читать свои последние повести. При мне читал он ей „Муму“ и „Постоялый двор“, а Писемский[17] не приезжал бы к ней читать отрывки из своего романа „Взбаломученное море“. Ласунская в пожилые годы не выучилась бы читать и понимать по-гречески, чтобы самой в подлиннике прочесть Иоанна Златоуста[18] и других отцов церкви, писавших по-гречески. Я не раз имел удовольствие по целым часам с ней беседовать по утрам и слышать ее рассказы о Жуковском, Пушкине, Гоголе и Лермонтове и о временах, предшествовавших воцарению императора Николая I.

Лев Сергеевич Пушкин превосходно читал стихи и представлял мне, как читал их покойный брат его Александр Сергеевич. Из этого я заключил, что Пушкин стихи свои читал как бы на распев, как бы желая передать своему слушателю всю музыкальность их. В тогдашнем поэтическом кружке на новую звучную рифму смотрели, как на счастливое открытие и не раз забегали к Пушкину, чтобы сообщить ему, например, такую рифму: „*тень ивы*“—“*те нивы*“. Лев Сергеевич так же, как и брат его, отвергал, что некоторые порнографические стихотворения, приписываемые Пушкину, принадлежат перу его. Подозреваю, что некоторые из них были сочинены самим Львом Сергеевичем. Мне это подсказывает его послание к писательнице Ган[19] (матери известной спиритки Блавацкой),[20]—несколько нескромное послание, написанное ей как бы в досаде за неудачное за ней ухаживание.

Я. Полонский.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Пушкин, Лев Сергеевич, см. 6 прим. к № 1 и пр. 6—7 к № 12.

2. Смирнова, Александра Осиповна (1809—1882) урожденная Россет (или Россети); дочь французского эмигранта Осипа Ивановича Р. (Joseph de Rosset), начальника одесского портового карантина. По окончании Екатерининского института была назначена фрейлиной императрицы Марии Федоровны, а в 1828 г. имп. Александры Федоровны, в каковой должности оставалась до 1832 г., когда вышла замуж за камер-юнкера Н. М. Смирнова.

3. Александра Федоровна (1898—1860)—русская императрица; дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III, с 1817 г.

супруга императора Николая I. Ее учителем русского языка был Жуковский.

4. Пушкина, Наталья Николаевна, см. 3 прим. к № 21.

5. Орлов, Алексей Федорович, см. 55 примеч. к № 10.

6. Смирнов, Николай Михайлович (1807—1870)—камер-юнкер, впоследствии калужский (1845—51 гг.) и петербургский (1855—61 гг.) губернатор; служил сначала по министр. иностр. дел, потом мин. внутр. дел, затем после губернаторства был назначен сенатором в Москве.

7. 1 января 1834 г. Пушкин записал в своем дневнике: «1 января третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы NN танцовала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau... Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством? Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным—а по мне, хоть в камер-пажи, только б не заставляли меня учиться французским вокабулам и арифметике».

8. Гр. Уваров, Сергей Семенович (1786—1855)—министр народного просвещения и президент Академии Наук. Под посланием к нему Пушкина Полонский разумеет «На выздоровление Лукулла» (1835 г.).

9. Булгарин, Ф. В. см. 1 примеч. к № 19.

10. Под посланием к Ф. В. Булгарину Полонский разумеет «Моя родословная».

11. Гр. Бенкендорф, А. Х. см. 11 примеч. к № 16.

12. «Борис Годунов» был начат в конце 1824 г. и закончен осенью 1825 г; напечатан же был в 1831 году, а до этого появлялись лишь небольшие отрывки.

13. Бибиков, Александр Васильевич, его сестра Анна Васильевна (1827—1903) была замужем за Танеевым, Сергеем Александровичем (1821—1889)—статс-секретарем; с 1866—1882 г. управляющим 1 отделением собственной е. и. в. канцелярии. Такие тетрадки копий писем, связанных с дуэлью Пушкина, известны в Пушкинской литературе; одну из таких тетрадок-копий, принадлежавшую П. А. Вяземскому, опубликовал

М. А. Цявловской в книге Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского «Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина», П. 1924 г.

14. Это письмо к Бенкендорфу от 21. XI. 1836 г. см. в переписке Пушкина под ред. В. Саитова, Спб. 1911 г., т. III, № 1106.

15. Соловьев, Владимир Сергеевич (1853—1900)—знаменитый философ и публицист; здесь подразумевается его статья «Судьба Пушкина» Спб. 1898; перепечатана в собрании сочинений, т. VIII, Спб. 1903 г.

16. В настоящее время надо считать совершенно доказанным, что напечатанные в Северном Вестнике в 1893—95 гг. «Записки А. О. Смирновой» есть продукт свободного творчества ее дочери Ольги Николаевны Смирновой. См. об этом статью Л. В. Крестовой в книге: А. О. Смирнова «Записки, дневник, воспоминания, письма». М. 1929 г.

17. Писемский, Алексей Феофилактович (1820—1881)—известный писатель; его роман «Взбаломученное море» напечатан в 1863 г. в Русском Вестнике.

18. Иоанн Златоуст (род. ок. 344, ум. в 407 г.)—духовный писатель; крупнейший из отцов Восточной церкви.

19. Ган, Елена Андреевна (1814—1842)—талантливая русская писательница; ее сочинения изданы в 1843 и 1905 гг.

20. Блавацкая, Елена Петровна (1831—1891)—писательница и путешественница; ею было основано Теософское общество.

23. Н. И. Иваницкий. „Письмо в редакцию“.

Автор перепечатываемых (из «Отечественных записок» 1853, февраль, отд. VII, стр. 119—121) воспоминаний Николай Иванович Иваницкий (1816—1858), в 1853—1858 гг. директор Псковской гимназии, был одним из известных педагогов своего времени.

В его воспоминаниях, написанных в 1843 г., и в дневнике, который Н. И. Иваницкий вел в 1843—1848 гг., (напечатаны в VIII вып. «Щукинского сборника» и перепечатаны в «Пушкин и его современники», в. XIII), имеются интересные записи о Пушкине.

„М. Г. А. А.[1] В 10-м № „Современника“ 1852 г. напечатана статья Г. В. Г—ского[2], под названием: „Заметки для биографии Гоголя“. В ней, между прочим, сказано вот что: „Какого мнения о своих лекциях был сам Гоголь — не знаем; но вот факт, доказывающий, что он неслишком доверял себе в этом отношении. Говорят, что Гоголь просил Пушкина и Жуковского приехать когда-нибудь к нему на лекцию. Оба поэта, очень долго собиравшиеся воспользоваться его приглашением, наконец условились, уведомили об этом предварительно Гоголя и в назначенное время отправились в университет. Поэты нашли полную аудиторию студентов, но Гоголя еще не было; они решились его

дожидаться, но прождали напрасно, потому что Гоголь вовсе не явился. Такой же маневр был употреблен Гоголем и в день, назначеный для испытания студентов по его предмету, с тою только разницею, что за ним послали, но оказалось, что он вовсе уехал из города“.

Поставляю себе в обязанность сказать, что автор „Заметок“ впал здесь в ошибку. Я учился в здешнем университете, сам слушал Гоголя, и вот что могу сказать вам о его лекциях.

Гоголь читал историю Средних веков для студентов 2-го курса филологического отделения. Начал он в сентябре 1834, а кончил в конце 1835 года[3]. На первую лекцию он явился в сопровождении инспектора студентов[4]. Это было в 2 часа. Гоголь вошел в аудиторию, раскланялся с нами и, в ожидании ректора, начал о чем-то говорить с инспектором, стоя у окна. Заметно было, что он находился в тревожном состоянии духа: вертел в руках шляпу, мял перчатку и как-то недоверчиво посматривал на нас. Наконец подошел к кафедре и, оборотясь к нам, начал об'яснять, о чем намерен он читать сегодня лекцию. В продолжении этой коротенькой речи, он постепенно всходил по ступеням кафедры: сперва встал на первую ступеньку, потом на вторую, потом на третью. Ясно, что он не доверял сам себе и хотел сначала попробовать, как-то он будет читать? Мне кажется, однакож, что волнение его происходило не от недостатка присутствия духа, а просто от слабости нервов, потому что в то время, как лицо его неприятно бледнело и принимало болезненное выражение, мысль, высказываемая им, развивалась совершенно логически и в самых блестящих

формах. К концу речи Гоголь стоял уж на самой верхней ступеньке кафедры и заметно одушевился. Вот в эту-то минуту ему и начать бы лекцию, но вдруг вошел ректор [5]... Гоголь должен был оставить на минуту свой пост, который занял так ловко и даже, можно сказать, незаметно для самого себя. Ректор сказал ему несколько приветствий, поздоровался со студентами и занял приготовленное для него кресло. Настала совершенная тишина. Гоголь опять впал в прежнее тревожное состояние: опять лицо его побледнело и приняло болезненное выражение. Но медлить уже было нельзя: он вошел на кафедру и лекция началась...

Не знаю, прошло ли и пять минут, как уж Гоголь овладел совершенно вниманием слушателей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории. Впрочем, вся эта лекция из слова в слово напечатана в „Арабесках", кажется, под названием: *О характере истории Средних веков*. Ясно, что и в этом случае, недоверяя сам себе, Гоголь выучил наизусть предварительно написанную лекцию, и хотя во время чтения одушевился и говорил совершенно свободно, но уж не мог оторваться от затверженных фраз, и потому не прибавил к ним ни одного слова.

Лекция продолжалась три четверти часа. Когда Гоголь вышел из аудитории, мы окружили его в сборной зале и просили, чтоб он дал нам эту лекцию в рукописи. Гоголь сказал, что она у него набросана только вчерне, но что современем он обработает ее и даст нам; а потом прибавил: „На первый раз я старался, господа, показать вам только

главный характер истории Средних веков; в следующий же раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для этого анатомическим ножом [6]".

Мы с нетерпением ждали следующей лекции. Гоголь приехал довольно поздно и начал ее фразой: „Азия была всегда каким-то народо-вержущим вулканом [7]". Потом поговорил немного о великом переселении народов, но так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили сами себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию. Наконец, указав нам на кое-какие курсы, где мы можем прочесть об этом предмете, он раскланялся и уехал. Вся лекция продолжалась 20 минут. Следующая лекция была в том же роде, так что мы совершенно наконец охладели к Гоголю, и аудитория его все больше и больше пустела [8].

Но вот однажды—это было в октябре—ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уж знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь. Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру, и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в „Арабесках [9]". Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию, и

потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем то с Гоголем, но я слышал одно только слово: „увлекательно“...

Все следующие лекции Гоголя были очень сухи и скучны: ни одно событие, ни одно лицо историческое не вызвало его на беседу живую и одушевленную... Какими-то сонными глазами смотрел он на прошедшие века и отжившие племена. Без сомнения, ему самому было скучно, и он видел, что скучно и его слушателям. Бывало, приедет, поговорит с полчаса с кафедры, уедет, да уж и не показывается целую неделю, а иногда и две. Потом опять приедет, и опять та же история. Так прошло время до мая.

Наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный черным платком: не знаю уж, зубы у него болели, что ли. Вопросы предлагал бывший ректор И. П. Ш[10]. Гоголь сидел в стороне и ни во что не вступался. Мы слышали уж тогда, что он оставляет университет и едет на Кавказ. После экзамена мы окружили его и из‘явили сожаление, что должны расстаться с ним. Гоголь отвечал, что здоровье его расстроено и что он должен переменить климат. „Теперь я еду на Кавказ: мне хочется застать там еще свежую зелень; но я надеюсь, господа, что мы когда-нибудь еще встретимся“.

Поездка эта, однакож, не состоялась, не знаю почему[11].

Вот всё, что я счел нужным сообщить вам, м. г., о лекциях Гоголя, и желал бы, чтоб вы потрудились поправить ошибку автора „Заметок для биографии Гоголя“.

Примите и проч. Николай Иваницкий.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Краевский, Андрей Александрович (1810—1889)—писатель, журналист, редактор и издатель ряда газет и журналов; в 1838 г. приобрел у Свиньина журнал «Отечественные Записки», который издавал до 1884 г.

2. Гаевский, Виктор Павлович (1826—1888)—писатель-литературовед, знаток Пушкинской эпохи; присяжный поверенный; основатель Литературного фонда и его председатель.

3. Гоголь был назначен 24 июля 1834 г. ад‘юнктом в Петербургский университет по кафедре всеобщей истории, а уволен от должности профессора 1 января 1836 г. Начал он лекции курсом по истории Средних веков, а затем (во втором полугодии 1834—35 акад. учебн. года) читал курс древней истории.

4. Инспектором студентов Петербургского университета в 1834 г. был Филиппов.

5. Шульгин, Иван Петрович (1795—1869)—с 1833 г. профессор, а с 1834 г. ректор Петербургского университета; член Академии Наук. Службу начал в 1816 г. воспитателем и преподавателем младших классов Царскосельского лицея.

6. Вступительная лекция Гоголя, прочитанная им в сентябре 1834 г., напечатана впервые в «Журн. Мин. народн. просвещения» за сентябрь 1834 г.; черновик этой лекции найден в рукописях Дашкова и напечатан Михайловым в «Историческ. Вестнике» (1902, 3). В «Арабесках» эта лекция напечатана под заглавием «О Средних веках» и была здесь несколько переработана.

7. Эта фраза есть в статье Гоголя, напечатанной в «Арабесках» под заглавием «О движении народов в конце V века». В том, что эта статья являлась лекцией, убеждает то, что ее мы находим в необработанном виде в рукописных набросках лекций по истории Средних веков, напечатанных впервые

Тихонравовым в VI томе 10-го издания сочинений Гоголя под заглавием «Выдержки из лекций по истории Средних веков».

8. О том, что лекции Гоголя были неинтересны, есть еще указания Васильева, в Русской Беседе 1856 г. т. III, и И. С. Тургенева, в третьей главе его литературных и житейских воспоминаний; Васильев даже утверждает, что и первую лекцию Гоголь читал плохо.

9. Лекция, прочитанная при Пушкине, напечатана в «Арабесках» под заглавием «Аль-Мамун», а черновой текст ее имеется в записной книжке № 2.

10. Шульгин, И. П.

11. Летом 1835 г. Гоголь ездил в Крым и на Кавказе действительно не был; а в следующее лето 1836 г. он уехал за границу.

---

24. М. М. Михайлов. „Несколько слов о месте кончины и дуэли А. С. Пушкина“.

О М. М. Михайлове, авторе этой заметки, напечатанной в «Петербургском листке» 1880, № 97 от 22 мая (стр. 1—2), мы не имеем сведений.

Всеобщее стремление к собранию в настоящую минуту возможных подробностей о незабвенном поэте нашем А. С. Пушкине, а в особенности дельная заметка профессора Александровского лицея Никольского, помещенная на этих днях в газетах [1], о малоизвестности дома, где Пушкин провел последние годы своей жизни, и о совершенной неизвестности места, где он был убит, побуждают меня внести и мою лепту в сокровищницу дорогих воспоминаний и сделать не бесполезные, может быть, указания. Года за три до своей кончины Александр Сергеевич занял нижний этаж в доме статс-дамы княгини Волконской [2], ныне принадлежащий князю Петру Дмитриевичу Волконскому [3], на Мойке, № 10. Второй этаж занимал сенатор Федор Петрович Лубяновский [4]. Посещая его довольно часто, я неоднократно встречался с Пушкиным то на канаве, [5] то у под‘езда под воротами и каждый раз болезненно сжималось мое, тогда еще юное сердце при мысли, что я не имею повода отдать простой поклон этому

дивному человеку!... Однако же, счастливая случайность готовила мне некоторую отраду. Однажды, в первых числах января 1837 года, я занимал тогда должность цензора в почтамте, вошел я в газетную экспедицию за получением моей ежедневной порции периодических изданий, преимущественно английских; начальник экспедиции, добрейший мой приятель Гавриил Петрович Кругликов [6], и ныне еще здравствующий, а тогда известный своими шутливо-остроумными альманахами, завидя мой приход, поспешил ко мне со словами: „идите дальше, здесь Пушкин“. Он стоял прислонясь к столу, в руках его была русская газета огромного, небывалого у нас размера (не припомню ее названия, но мне памятно, что просуществовала не долго). Кругликов назвал меня, Александр Сергеевич подал мне руку, потом, развернув газету во всю ширину, сказал: „какова простыня!“—Для нас бесполезная, возразил я, это хорошо в Англии, где многочисленные об‘явления и рекламы выгодны редакциям. „Весьма справедливое замечание“, произнес Пушкин, сверкнув на меня своим взором. Увы! Для меня первым и последним;—роковая минута уже близилась. На следующий день кончины Александра Сергеевича я решился очень рано утром войти к нему; вход был со двора, как и теперь остался; в прихожей никого; то же самое в довольно обширной зале—окнами на канаву; направо в небольшой комнате—покойный на столе, в черном сюртуке; возле него один-одинехонек полковник Данзас [7]. „Вы здесь, Константин Карлович“, сказал я ему.—„Нет! отвечал он с неизменно присущим ему юмором, я не здесь, я на гауптвахте“. Известно, что немедленно после злощастного поединка Данзас

был арестован, с разрешением не покидать покойного друга до погребения. Не знаю, в означенной ли именно комнате скончался наш поэт, но это, вероятно, известно занимающему ныне квартиру графу Бенкендорфу [8]. Во весь остаток жизни моей не прощу себе, что, сблизясь впоследствии с К. К. Данзасом, проводя с ним нередко длинные зимние вечера, прогуливаясь летом в загородных местах, разговаривая неоднократно о Пушкине, мне не пришло на мысль расспросить его о месте поединка. На Черной речке, на комендантской даче,—этого мало. Но не следует покидать надежды добраться до верного сведения. Жив еще один из братьев Константина Данзаса, тайный советник Карл Карлович Данзас [9]; есть племянники, дети покойного Бориса [10] Карловича, пусть скажут, что им известно. Еще указание: секундант Данзас был в дружеских отношениях с петербургским старожилом, переселившимся, однако же, за границу,—это любознательный и любезный, многим известный Александр Львович Невахович [11]. Не избавит ли он нас от стыда не знать, где закатилось наше красное солнышко?

М. М. Михайлов.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Никольский, Владимир Васильевич (1836—1883)—писатель, профессор русской словесности в Александровском лицее и в СПБ-ой духовной академии; его трудами создан пушкинский музей и библиотека в лицее.

2. Пушкин нанимал квартиру в доме кн. Софии Григорьевны Волконской (1786—1868), жены кн. Петра Михайловича Волконского (1776—1858), с 1826 г. министра двора; с 1842 г.

канцлера империи. Сохранилась подлинная копия пушкинского контракта, подписанная доверенным лицом кн. С. Г. Волконской—Львом Алексеевичем Перовским. (Находится в Москве в Театральном музее им. А. А. Бахрушина). Дом этот сохранился до настоящего времени, и теперь квартира Пушкина обращена в музей, находящийся в ведении Пушкинского дома.

3. Кн. Волконский, Петр Дмитриевич (родился в 1845 г.)—внук С. Г. Волконской.

4. Лубяновский, Федор Петрович (1777—1869)—сенатор; переводчик и автор путешествий и воспоминаний.

5. Здесь и ниже «канавой» автор называет Мойку.

6. Кругликов, Гавриил Петрович, издатель «Невского Зрителя» (1820—21 гг.) и сотрудник литературных прибавлений к Русскому Инвалиду 30-х годов; им издан «Альбом балагура». Спб. 1861 г.

7. Данзас, Константин Карлович (1801—1870)—полковник, затем генерал-майор в отставке; товарищ Пушкина по лицею и его секундант в последней дуэли с Дантесом.

8. На стр. 2, столб. 1—2 этого же № газеты помещена следующая заметка: «Чуть-чуть мы не забыли дом, где прощался наш поэт со своими друзьями, со всем миром, приняв напутственное благословение от жены нашего историографа Карамзина.

Он жил на Мойке, у Певческого моста, в доме Волконской. В квартире покойного Пушкина в настоящее время живет граф Бенкендорф.

Какое странное совпадение обстоятельств и имен!

. . . . . . ныне потомок Бенкендорфа, граф Бенкендорф—занимает ту самую квартиру, где почил навеки наш поэт.

. . . . . . в Rue Richelieu надпись на одном доме говорит, что в нем умер Мольер . . . .

Наша Дума только вчера пришла к этой мысли и решила поставить доску на доме, где скончался наш поэт».

И на этой же странице в стлб. 3, в отд. хроники в сообщении: «Заседание Думы» приводится это постановление с.-петерб.

городской Думы: «б) на доме № 10 у Певческого моста (бывшем княгини Волконской), где умер А. С. Пушкин, укрепить доску с соответствующими надписями . . . . » (Прим. ред.).

9. Данзас, Карл Карлович.

10. Данзас, Борис Карлович (1799—1868)—сенатор, действительный тайный советник; служил в Московском губернском правлении; был арестован по делу декабристов, но скоро выпущен; вновь поступил на службу в Сенат. Его дети: Сергей (1838—1881); Аделаида (родилась в 1839 г.) замужем за В. А. Тимирязевым; Ольга (1840—1879) замужем за Андр. Ив. Тимирязевым; Дмитрий (1842—1875); Татьяна (1844—1919) замужем за Л. П. Семечкиным.

11. Невахович, Александр Львович (умер в 1880 г.)—сын писателя и драматурга; секретарь, а затем начальник репертуарной части императорских театров; писал стихи (печат. в Северной Пчеле) и переводил французские фарсы.

---

25. Облачкин. „Воспоминание о Пушкине“.

Об авторе «Воспоминание о Пушкине», напечатанного в «Северной Пчеле» 1864 г. № 49 от 19 февраля (стр. 161), некоем Облачкине, мы не располагаем никакими сведениями.

Если, действительно, всё было так, как он рассказывает, то мы имеем в этом рассказе лишнее свидетельство о благожелательном отношении Пушкина к начинающим писателям.

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне, теперь их нет,
Они прошли, иль изменились,
Мир вам, тревоги прошлых лет.

Онегин. А. Пушкин.

С 14 лет я стал писать стихи, и не шутя воображал себя поэтом. Благодаря такому очаровательному обольщению, я то и дело беспокоил известных литераторов и поэтов того времени наивными, детскими просьбами, чтоб они прочли мои стихи и решили: поэт я или нет..

Многие из тех, к которым я обращался, принимали меня очень благосклонно и с участием советовали мне учиться, любить поэзию более всего в мире и никогда не изменять своему призванию. Некоторые, впрочем, весьма немногие, не удостоили меня чести допустить до своей особы... Сериозно же никто не обратил на меня своего внимания и не помог моему горю, а горе мое было великое. В семье, с которой суждено мне было жить, смотрели на мою страсть к литературе очень сурово, враждебно относились к моим наклонностям и непременно хотели повернуть всего меня по-своему, стараясь всеми средствами убить во мне страсть к поэзии и сделать из меня купца, чиновника, ремесленника, словом, кого бы то ни было, только бы я бросил писать стихи и не читал бы беспрестанно книги. Несмотря ни на какие нападки, я, при совершенном безденежьи, умел доставать книги, и, презирая брань, шум и крики, продолжал писать стихи. Я только и думал о литературе, поэзии, журналистике, философии и очень часто задавал себе такие вопросы, мучимый различными идеями, которых конечно нельзя мне было доверить никому из окружающих меня. Словом, кроме литературы я знать ничего не хотел, а мои родные знать не хотели литературы и за мою любовь к искусству беспрестанно меня раздражали и огорчали, доводя до отчаяния. А знаете ли что из этого вышло? Вышло то, что я по их милости, если не сделался поэтом, литератором, зато также не сделался чиновником, купцом, ремесленником, а просто за-просто стал праздным, лишним человеком на свете.

Скучно и грустно проходили год за годом моей жизни, здоровье мое с самых ранних лет стало расстраиваться, уныние и тоска сначала изредка овладевали мною, а после постепенно развили во мне меланхолию, и характер мой стал устанавливаться не совсем в хорошую сторону: я сделался нетерпелив, раздражителен, желчен, порою чувствовал

апатию ко всему на свете и не только самый труд, но одна мысль о труде была для меня ненавистна. Очень часто я желал умереть, чтоб только не заниматься тем, к чему я чувствовал непреодолимое отвращение. Любовь к поэзии и литературе, хотя никогда во мне не угасала, но беспрерывные огорчения в течении многих лет убили во мне впечатлительность и непостижимую легкость выражать стихами мысль и чувства.

Весь преданный мысли, как бы выдти из такого положения, напряженного, неестественного по моей страстной натуре, я решил обратиться к Пушкину, и в один прекрасный день пришел к великому поэту. Когда я входил в переднюю, из кабинета его вышел повар в белом колпаке, переднике и куртке. Я отдал ему тетрадь моих стихов для передачи Александру Сергеевичу, и за ответом хотел зайти через неделю. Набросив на себя шинель, я поспешно вышел на улицу; но не успел пройти и сорока шагов от дому, где жил Пушкин, как тот же самый повар остановил меня.

— „Пожалуйте к барину, он вас покорнейше просит“.

— „Очень благодарен, неужели же он успел что-нибудь прочесть в моей тетради?“

— „Да-с, он заглянул в нее“.

Едва вошел я опять в переднюю, тотчас услышал голос Пушкина. Он вскрикнул: Василий, это ты?

— „Точно так, я“ отвечал повар.

— „А г. Облачкин?“

— „Здесь“.

— „Пожалуйте сюда, пожалуйте“, звал меня Пушкин, и голос его был до того радушен и до того симпатичен, что

я весь затрепетал от радости, и никогда не забуду этой счастливой для меня минуты. При входе в кабинет, меня обуял какой-то страх из невыразимого чувства удивления, робости и замешательства, и непостижимого уважения, близкого к благоговению... Кабинет Пушкина состоял из большой узкой комнаты. Посреди стоял огромный стол простого дерева, оставлявший с двух концов место для прохода, заваленный бумагами, письменными принадлежностями и книгами, а сам поэт сидел в уголку в покойном кресле На Пушкине был старенький, дешевый халат, какими обыкновенно торгуют бухарцы в разноску. Вся стена была уставлена полками с книгами, а вокруг кабинета были расставлены простые, плетеные стулья. Кабинет был просторный, светлый, чистый, но в нем ничего не было затейливого, замысловатого, роскошного, во всем безыскусственная простота и ничего поражающего, кроме самого хозяина, поражавшего каждого, кому посчастливилось видеть его оригинальное, арабского типа лицо, до невероятности подвижное и всегда оживленное выражением гениального ума и глубокого чувства. Я поклонился Пушкину, помнится очень неловко, совершенно растерялся, сконфузился, хотя он обратился ко мне весьма ласково, просто, голос его был изумительно симпатичен, улыбка добродушна, глаза выражали участие... К чему я оробел перед таким человеком, к которому должно чувствовать только любовь и уважение? Я был тогда мальчик, но очень хорошо понимал, что мои стихи в руках славного поэта и что он по всей вероятности прочел несколько строк—и хотя слегка познакомился с моей музой.

Согласитесь, надо было быть слишком самоуверенным, чтобы не сконфузиться, когда перед вами глаз на глаз великий поэт, только лишь получивший от вас первые опыты ваших стихотворений? Пушкин расспросил меня, где я учусь, что делаю, имею ли состояние, и к какому роду жизни желал бы я себя приготовить.

Когда я об'яснил ему свое несчастие, тогда он мне посоветовал написать просьбу и изложить мое положение, сколько мне лет, где воспитываюсь, и наконец попросить чего я желаю,—только смотрите, промолвил он очень серьезно, напишите просьбу прозой, а не стихами. Я невольно улыбнулся. Пушкин заметил мою улыбку и захохотал во весь голос, беспечно, с неподражаемой веселостью: „Я вам сделал это замечание на счет просьбы затем, что когда-то деловую бумагу на гербовом листе я написал стихами[1] и ее не приняли в присутственном месте. Молод был, очень молод, так же как и вы теперь молоды, очень молоды и пишете стихи, так пожалуй по привычке вместо прозы напишете стихами, и уж тогда делать нечего, второй раз придется вам писать просьбу прозой, а писать просьбы дело очень скучное и неприятное. Да и временем нужно дорожить. Впрочем, это в сторону, напишите просьбу, да поскорее приходите ко мне, а я за вас буду хлопотать“. Я поклонился ему и поблагодарил за участие в моей судьбе и вдруг ни с того ни с сего, точно кто-нибудь вместо меня проговорил: „Александр Сергеевич, вы мои стихи напечатаете в вашем Современнике“?

— „Напечатаю, напечатаю. Приходите же ко мне, непременно с просьбой, и чем скорее тем лучше“.

— „Благодарю вас. Мое почтение“.

— „Прощайте. Приходите утром, до десяти часов я всегда дома“.

— „Почту за великое счастье. Мое почтение“.

Когда я с просьбою в кармане и надеждою в сердце пришел к Александру Сергеевичу, то, к величайшему моему огорчению, он был болен и не мог меня принять, а через несколько дней разнеслась молва в Петербурге, молва страшная, что Пушкин ранен смертельно. Дня через три или четыре я посетил труп поэта и перед гробом его заливался горячими слезами, молясь богу о упокоении души его. В течение всей моей жизни только один Пушкин, с первой встречи со мною, принял в судьбе моей живое искреннее участие, и желал мне помочь делом, а не словами. Судьба распорядилась иначе и с тех пор я прожил много лет на свете и никому нет до меня дела. Один великий поэт за три недели до своей кончины хотел было выдвинуть меня из среды, в которой я постепенно терял мои лучшие, полные энергии силы.

Один удар лишил Россию великого поэта в самую блистательную пору его жизни, когда громадный талант Пушкина вполне окреп и выработался опытами жизни и изучения великих писателей; этот же самый удар быть может разрушил навсегда мою лучшую будущность...

Взволнованный, печальный, как человек долго невидавший божьего света, и когда на одно мгновение забилось радостию мое сердце, и надежда показала мне на одну секунду прекрасную жизнь и лучшую будущность—и вдруг этот свет в один момент угас и опять еще страшнее вокруг

меня образовалась тьма и несчастие,—лишь только я пришел домой от гроба Пушкина, тотчас же написал стихи на смерть поэта. Я знаю, что стихи слабы, хотя и написаны искренно, под влиянием глубокой горести, вполне овладевшей моей душою. Стихи написаны на 15-м году моей жизни. Я совершенно согласен с мнением, что в литературном деле лета автора не могут иметь никакого значения, но должно согласиться с тем, что на 15-м году менее нежели немногие могли писать хорошие стихи.

На смерть Пушкина.

Друзья, я видел труп холодный
Певца возвышенных речей,
И слышал я в толпе народной
Язык коварства и страстей!
Один бесмысленно взирает
На труп великого певца,
Другой безумец осуждает
И говорит: Она! Она
Всему вина.

Я думал: о язык коварный,
Ты никого не пощадишь,
О человек неблагодарный,
Не знаешь ты, пред кем стоишь.
Зачем пришел? Иль прах священный
Ты хочешь злобой помрачить?
С душою низкой и надменной,
Земным коварством уязвить
Нельзя певца.

Он умер. Что же в этом мире
Ужели мало он страдал,
Когда на сладкозвучной лире
Святую правду величал?

И так колено преклоните,
Оставьте дерзкие слова,
И бога вышнего молите:
Поэт пред ним: его душа
На небесах.

Я знаю, с мыслию спокойной
Оставил он ничтожный мир.
Поэт бессмертия достойный
Довольно славного свершил.
И будут чтить талант прекрасный.
Все люди с сердцем и душой,
И жребий вспомянув несчастный,
Оплачут горестной слезой
Певца любви.

Облачкин.

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Вероятно, Пушкин вспоминал тут свой доклад гр. М. С. Воронцову о саранче.

26. М. А. Коркунов „Письмо к издателю“.

Автор письма о последних днях жизни Пушкина («Московские Ведомости» 1837 г. № 12 от 10 февраля, стр. 79) Михаил Андреевич Коркунов (1806—1858) по окончании пензенской семинарии и философского факультета Московского университета (в 1828 г.) был преподавателем в этом университете и в университетском благородном пансионе. Оставив службу в Москве ‾ января 1837 г., Коркунов переехал в Петербург, где служил в Археографической Комиссии. С 1847 г. он ад‘юнкт Академии Наук по II отделению, а с 1851 г. экстраординарны академик и заведующий делами этого отделения.

Коркунов составил себе имя как крупный знаток русской дипломатики, издавши большое количество древних памятников. Из писем его к М. П. Погодину видно, что он вращался в литературных кругах, чем и об‘ясняется большая осведомленность его в обстоятельствах, сопровождавших смерть Пушкина.

С.-Петербург, 4-го февраля 1837.

На левом берегу Мойки, близ нового Певчевского моста, перед домом княгини Волконской [1], в три последние дня января месяца, с утра до ночи, останавливались экипажи; туда приходили со всех концов Петербурга: в этом доме жил Александр Сергеевич Пушкин; здесь написал он свои

последние сочинения, обдумывал и готовил новые, и здесь 29-го числа (в 2 часа и 45 минут пополудни), после двудневных страданий, скончался среди семейства и друзей, его оплакивающих. Твердость духа, многострадальное терпение, живейшее чувство заботливости о ближних ни на минуту не ослабевали в предсмертные часы, столь торжественные, столь важные в жизни человека. С благоговением совершив последние обязанности христианина, умирающий с трогательною, живою любовию прощался с супругою, с детьми, с ближними и друзьями; несколько раз перед кончиною говоря о преданности и благодарности своей к Монарху; жалел не о жизни, а о трудах, им начатых и не оконченных, о том, что не может более посвятить дней своих славе царствования Государя, ему благодельствовавшего, и славе отечества.

С месяц тому, Пушкин разговаривал со мной о русской истории; его светлые об‘яснения древней Песни о полку Игореве, если не сохранились в бумагах, невозвратимая потеря для науки [2]; вообще в последние годы жизни своей, с тех пор, как он вознамерился описать царствование и деяния Великого Петра, в нем развернулась сильная любовь к историческим занятиям и исследованиям отечественной истории. Зная его как знаменитого поэта, нельзя не жалеть, что вероятно лишились в нем и будущего историка *.

Отпевание тела его происходило в церкви Спаса в Конюшенной, 1-го февраля в 11 часов утра. Первые сановники государства, министры, сенаторы, генералы, иностран-

---

* Московские литераторы всею полнотою души и сердца разделяют скорбные чувствования литераторов петербургских. К. Ш. [3].

ные посланники, знаменитые литераторы присутствовали в церкви; все с горестью и слезами смотрели на Пушкина во гробе; во гробе увидите и вы его в картинах Бруни [4] и Орлова [5]. Перед церковью, для отдания последнего долга любимому писателю, стеклись во множестве люди всякого звания. Трогательно было видеть вынос гроба из церкви: И. А. Крылов, В. А. Жуковский, князь П. А. Вяземский и другие литераторы и друзья покойного несли гроб 37-летнего поэта!..

По собственному желанию Пушкина, тело его отвезено для погребения в монастырь Святые Горы, Псковской губернии, Опочковского уезда; там похоронены мать его и предки ее, Аннибалы [6]. Сей монастырь находится в близком расстоянии от деревни Похта, где он провел многие деятельные дни жизни своей, где написал Бориса Годунова и другие лучшие из своих произведений.

М. Коркунов.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Волконская, С. Г. и ее дом—см. 2 прим. к № 24.

2. В бумагах Пушкина оказалась начатая статья его о «Слове о полку Игореве», впервые напечатанная Анненковым.

3. Кн. Шаликов, П. И.—см. 10 прим. к № 18.

4. Бруни, Федор Антонович (1800—1875)—известный художник; им был снят портрет с мертвого Пушкина в день смерти вечером 29 января 1837 г. (по другим сведениям утром на другой день 30. I. 1837 г.). Оригинал был препровожден к отцу поэта Сергею Львовичу П.

5. Орлов, Пимен Никитич (1812—63)—живописец и академик. Портрет его с мертвого Пушкина неизвестен; спутал ли

здесь автор имя художника с действительно писавшим портрет с мертвого Пушкина—Козловым, или портрет Орлова затерян—неизвестно.

6. В Святогорском монастыре были погребены Осип Абрамович Ганнибал; его жена Марья Алексеевна Г.,бабушка поэта; Надежда Осиповна Пушкина—мать поэта. Позднее там же был похоронен и Сергей Львович Пушкин, отец поэта.

---

27. М. Н. Лонгинов. „Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина“.

Воспоминания М. Н. Лонгинова о дуэли и смерти Пушкина написаны в виде рецензии на книгу А. Аммосова «Последние дни жизни и кончина А. С. Пушкина». Изд. Я. А. Исакова, Спб. 1863. Рецензия Лонгинова была напечатана в «Современной летописи», воскресных прибавлениях к «Московским ведомостям», 1863, № 18, май (стр. 12—13).

Вышедшая недавно книжка, носящая это заглавие, чрезвычайно любопытна, особенно для большинства публики, которой были известны обстоятельства, подавшие повод к несчастному поединку Пушкина, и самые подробности дуэли, только по неверным и противоречащим друг другу слухам и рассказам. Теперь, когда прошло слишком четверть столетия со времени этого плачевного события, и число его современников беспрестанно редеет, предания верные и нелицеприятные теряются с каждым днем. Таким образом они могли бы обратиться в скором времени в какую-нибудь легенду, представляющую дело в ложном, во многих отношениях, свете. Поэтому нельзя не порадоваться, что теперь напечатан г. Амосовым свод достоверных рас-

сказов о ходе всего этого дела, основанный преимущественно на свидетельствах почтенного нашего друга Константина Карловича Данзаса [1], товарища Пушкина по лицею и секунданта его на роковом поединке с Дантесом-Геккерном [2]. К тексту приложены все те документы, касающиеся этого дела, которые могли быть в настоящее время обнародованы. Вся первая часть рассказа, до получения Пушкиным смертельной раны, составляет совершенную новость в печати, а следующие затем сведения пополняют известия, напечатанные доселе о последних днях раненого Пушкина и составленные В. А. Жуковским (*Современник*, 1837, т. 5. стр. I—XVIII и *Сочинения Пушкина*, 1838, т. 8, стр. 311—324), И. Т. Спасским [3] (*Библиографические записки*, 1859, № 18, стр. 555—559), П. В. Анненковым [4] (*Сочинения Пушкина* 1885, т. I, стр. 426—432) и В. И. Далем [5] (*Московская Медицинская Газета*, 1860 № 49). Весьма желательно, чтобы напечатано было также длинное письмо о кончине Пушкина, написанное 5-го февраля 1837 года к А. Я. Булгакову [6] князем П. А. Вяземским [7], который почти безотлучно находился при умиравшем поэте в горестные дни 27, 28 и 29 января. Сохранился также текст анонимных писем, присланных Пушкину и некоторым его близким знакомым, в начале ноября 1836 года (см. стр. 9 разбираемой брошюры) и бывших начальным поводом к неизбежной с тех пор развязке кровавой драмы. Но текст этот неудобен пока для напечатания.

Кстати об этих анонимных письмах, которые были все одинакового содержания, писаны одним и тем же почерком, на совершенно одинаковой бумаге и одними и теми же чернилами. В сочинении и рассылке их молва обвиняла

несколько лиц, но неопределенно и глухо. Сам Пушкин (Приложение I, стр. 44) приписывал их в ноябре 1836 г отцу Дантеса, голландскому посланнику барону Геккерну, и многие разделяли это мнение, основывая его на разных догадках о причинах, побудивших к такому поступку этого дипломата, который впрочем действительно ненавидел Пушкина. Составитель разбираемой нами брошюры, упомянув о подозрении на Геккерна[8], произнесенном самим Пушкиным (стр. 9), к сожалению прошел далее относительно других лиц, и не только заподазривает, но прямо обвиняет двух наших соотечественников, бывших тогда очень молодыми людьми, а теперь навсегда оставивших Россию (стр. 9 и 10)[9]. Нельзя не заметить, что произнести такое тяжкое обвинение против людей, называя их по имени, можно только тогда, когда вина фактически и непреложно доказана, особенно если к тому же люди эти находятся в отсутствии. Мы слышали по этому же поводу другие имена, но конечно никогда не решимся не только напечатать их, но и назвать их где-либо, кроме разве самой интимной беседы, и во всяком случае без положительных доказательств не поверим никаким обвинениям, против кого бы то ни было. Держась такого правила, мы естественным образом не можем не пожалеть, когда видим совершенно противоположное явление. Автор говорит, что один из этих господ „признался, что записки были писаны на его бумаге, но только не им“, а жившим тогда с ним товарищем (стр. 9). Печатая такое известие, необходимо по крайней мере назвать также и того, кто слышал это признание и передал о нем автору[10].

Кроме этого замечания, не в пользу брошюры можно разве только упомянуть о том, что французский текст некоторых фраз и писем обезображен не только опечатками, но и такими ошибками, которых, конечно, не могли сделать: ни француз д'Аршиак[11], ни посланник Геккерн, ни сам Пушкин, отлично владевший французским языком.

Читатели сами познакомятся с любопытным содержанием вышедшей брошюры, а потому мы и не будем делать из нее выписок; лучше сообщим им кое-какие подробности о печальном событии и выскажем некоторые мысли, пришедшие нам на память по прочтении брошюры.

У Пушкина была книга, в которую он записывал наскоро анекдоты, разные заметки о городских новостях и пр. Многие видели эту книгу и были, без сомнения, поражены странною случайностью. Под каким-то числом, помнится 1833 года в книге этой записано Пушкиным короткое известие: „Сегодня приехали сюда два француза: Дантес и д'Аршиак“[12]. Подобных заметок там не встречается и непонятно, как пришло в мысль Пушкину записать подобную мало-интересную новость. По странной случайности, внимание его обратилось за несколько лет до поединка на прибытие в Петербург, приехавших туда вместе, двух иностранцев, из которых один был второстепенный чиновник посольства, а другой безвестный искатель фортуны, и из которых одному суждено было убить его, а другому быть свидетелем этого ужасного события.

Известно, что Пушкину еще смолоду предсказала гадальщица Кирхгоф, что он погибнет от белого человека. По непонятной игре случая Дантес был вполне „белым чело-

веком“, физически и даже политически: он был блондин, кавалергард (следовательно ходил в белом мундире) и легитимист (цвет кокарды, служащей отличием этой партии, белый).

П. В. Анненков говорит (*Соч. Пушкина*, 1855 г., т. 1, стр. 427), что в день поединка свидетели везли противников на место дуэли чрез место публичного гулянья, останавливались, роняли нарочно оружие и пр., надеясь еще, что общество вступится в дело и помешает дуэли, но что все было тщетно. Я был в это время очень молод и сам был тяжко болен, едва возвращенный к жизни стараниями незабвенного Н. Ф. Арендта [13]. Поэтому от меня скрывали в течение двух дней несчастье, случившееся с Пушкиным, боясь огорчить меня и повредить моему выздоровлению. Но, узнав наконец дело, я по горячим следам слышал много подробностей о происшедшем, которые пополнялись впоследствии новыми доставленными известиями. Неоднократно слышанный мною от покойной графини А. К. Воронцовой-Дашковой [14] рассказ об этом роковом дне остался, между прочим, жив в моей памяти. Эта прелестная и любезная женщина, слишком рано покинувшая свет, которого была истинным украшением, не могла никогда вспоминать без горести о том, как она встретила Пушкина, едущего на острова с Данзазом и направляющихся туда же, Дантеса с д'Аршиаком. Она думала, как бы предупредить несчастие, в котором не сомневалась после такой встречи, и не знала как быть. К кому обратиться? Куда послать, чтоб остановить поединок? Приехав домой, она в отчаянии говорила, что с Пушкиным непременно произошло несчастие, и предчувствие

девятнадцатилетнего женского сердца не было обманом. Вот новое доказательство до какой степени в петербургском обществе предвидели ужасную катастрофу: при первом признаке ее приближения уже можно было догадываться о том, что произойдет.

Домашний доктор Пушкина, покойный И. Т. Спасский, лечил в то время и меня, будучи нашим домовым медиком. Он тогда же подарил мне составленное им рукописное описание кончины Пушкина, послужившее отчасти материалом для известного письма Жуковского и напечатанное мною в *Библиографических Записках* 1859 года [15]. Очень помню, что Спасский в то же время привез мне только что вышедшее тогда миниатюрное издание „Онегина“ [16] и с чувством перечитывал конец шестой его главы. Тут же Спасский сказал мне, что раненый Пушкин как-то заметил ему, что цифра 6 для него несчастна. Горе его началось в 1836 году, когда ему исполнилось 36 лет, а жене его 24 $(2+4=6)$; 6-я глава „Онегина“ заключала в себе как бы предчувствие о собственной кончине поэта и пр. Стало-быть печальная параллель между ним и Ленским приходила на мысль самому умирающему Пушкину.

Не многим, вероятно, известны обстоятельства выноса и отпевания тела Пушкина. Вечером 31 января, на последней панихиде, бывшей в доме Пушкина, условлено было, что тело вынесут на другое утро в Адмиралтейскую церковь и будут там отпевать его. Все были приглашены туда. Вдруг, часу в третьем ночи, прислано было через графа Бенкендорфа [17] повеление, чтобы тело было перенесено из дому немедленно же и притом не в Адмиралтейскую, а в

Конюшенную церковь. Это и было исполнено сейчас же, в присутствии немногих друзей семейства, проводивших последнюю ночь при теле поэта, и в сопровождении присланной нарочно на место многочисленной жандармской команды. Утром многие приглашенные на отпевание и желавшие отдать последний долг Пушкину являлись в Адмиралтейство, с удивлением находили двери церкви запертыми и не могли найти никого для об'яснения такого обстоятельства. В это время происходило отпевание в Конюшенной церкви; куда приезжавших пускали по билетам, а затем тело Пушкина было поставлено в склеп Конюшенной церкви и в ту же ночь повезено оттуда в Святогорский монастырь в сопровождении А. И. Тургенева [18].

В вышедшей брошюре есть об'яснение некоторых обстоятельств, о которых существуют только намеки в прежних статьях о смерти Пушкина, в которых до 1855 года не упоминалось о поединке, как будто бы его вовсе и не было так, например, читатели узнают из нее, что Арендт привозил раненому Пушкину записку от покойного императора Николая, и познакомятся с содержанием этого любопытного автографа, который, впрочем, не сохранился, потому что Арендт должен был отвезти его обратно (стр. 31), получив от государя приказание, чтобы по прочтении эта записка была ему возвращена и таким образом убедительные просьбы Пушкина о том, чтоб она была ему оставлена, не могли быть исполнены Арендтом.

Не менее любопытны известия о последствиях дуэли для участников в ней. Данзасу было отказано по высочайшему повелению в разрешении провожать тело его друга

до места его погребения в Псковской губернии, так как „Государь сделал всё от него зависевшее, дозволив подсудимому остаться до погребальной церемонии при теле его друга, а дальнейшее снисхождение было бы нарушением закона“ (стр. 68). Барон Дантес-Геккерн в марте 1837 года разжалован был в солдаты, с лишением дворянства, причем высочайше повелено „выслать его за границу, отобрав офицерские патенты“. Прибавим к этому, что ныне он состоит сенатором Французской империи. Нам не известна судьба г. виконта д'Аршиака, который, в виде сатисфакции, как служивший при французском посольстве, был тогда выслан в отечество по распоряжению своего правительства.

Нельзя не пожелать, чтобы к новому изданию брошюры, которое, вероятно, скоро понадобится, присоединены были все упомянутые выше документы, не вошедшие в нынешнее, а также напечатаны были новые материалы, какие найдутся, с прибавлением стихов Лермонтова, Губера, Глинки [19] и пр., словом, чтоб это издание, исправленное и дополненное, сделалось полным поминальником о печальнейшем событии, ознаменовавшем историю нашей литературы.

Москва.
10 мая 1863.

Михаил Лонгинов.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Данзас, Константин Карлович—см. 7 прим. к № 24.

2. Барон Дантес - Геккерен, Егор Осипович (d'Anthès, Georges-Charles) (1812—1895)—родом эльзасец; покинул Францию из-за отказа служить Июльской монархии и прибыл в

Россию 8 октября 1833 г.; был принят корнетом в Кавалергардский полк; будучи усыновлен нидерландским посланником бароном Геккереном, получил разрешение присоединить (1836 г.) к своей фамилии—Геккерен. После убийства на дуэли Пушкина был выслан из России и жил во Франции, где сделал блестящую карьеру государственного и промышленно-финансового деятеля.

3. Спасский, Иван Тимофеевич (1795—1861)—доктор медицины, профессор, домашний врач Пушкина.

4. Анненков, П. В., см. 1 прим. к № 18.

5. Даль, Владимир Иванович, (1801—1872)—известный лексикограф и писатель; знаток русской этнографии.

6. Булгаков, Александр Яковлевич, (1781—1863)—в 1802—9 гг. служил при посольстве в Неаполе; с 1812 г. служил чиновником для дипломатической переписки по секретной части при Ростопчине и его преемнике; с 1832 г. московский почт-директор, с 1856 г. сенатор. Булгаков получил печальную известность, как перлюстратор писем (в частности и Пушкина) во время своей службы на почте.

7. Кн. Вяземский, П. А., см. 77 прим. № 11. Его письмо к А. Я. Булгакову от 5 февраля 1837 г. напечатано в Русской Старине 1875 г., № 9, стр. 92—96 и 1879 г., № 6, стр. 243—255.

8. Барон Геккерен-де-Беферваард, Якоб-Теодор (1791—1884)—родом голландец; нидерландский поверенный в делах (с 1823 г.) и посланник (с 1826 г.) в Петербурге; впоследствии был посланником в Вене; приемный отец барона Дантеса.

9. Кн. Гагарин, Иван Сергеевич, (1814—1882)—писатель; служил недолго дипломатом; в 1843 г. покинул Россию и поселился в Париже, где перешел в католичество; поддерживал сношения с Герценом. Кн. Долгоруков, Петр Владимирович, (1818—1868)—генеолог и публицист; в 1859 г. эмигрировал за границу; был близок с Герценом.

10. По современным слухам авторами анонимных писем к Пушкину и его знакомым считали: посланника барона

Геккерена, кн. П. В. Долгорукова, кн, И. С. Гагарина и гр. С. С. Уварова. В настоящее время автором анонимного диплома можно считать кн. П. В. Долгорукова.

11. Барон, виконт д'Аршиак (d'Archiac) (родился в 1811 г., умер в 1848 г. или 1851 г.)—атташе при французском посольстве в Петербурге; 2 февраля 1837 г. принужден был уехать из России во Францию из-за участия секундантом в пушкинской дуэли. Биографические сведения о нем очень кратки; известно, что он приходился двоюродным братом Жоржу Дантесу-Геккерену. По словам В. А. Соллогуба д'Аршиак погиб трагической смертью во время охоты.

12. Не совсем верно. У Пушкина в дневнике записано 26 января 1834 г. следующее: «Барон д'Антес и Маркиз-де-Пина, два Шуана,—будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет».

13. Арендт, Николай Федорович, (1785—1859)—лейб-медик Николая I; доктор медицины и хирургии, тайный советник.

14. Гр. Воронцова-Дашкова, Александра Кирилловна (1817—1856)—рожденная Нарышкина; в первом браке за Иваном Илларионовичем Воронцовым Дашковым (1790—1854), членом государственного совета; во втором браке за французским бароном де-Поальи (de Poilly).

15. Спасский, И. Т. «Последние дни А. С. Пушкина». Библиограф. Записки, 1859, № 18, стлб. 555—559.

16. Это второе издание полного «Евгения Онегина», Спб. 1837 г., вышло в свет в январе этого года.

17. Бенкендорф, А. Х., см. 11 прим. к № 16.

18. Тургенев, Александр Иванович (1784—1845)—директор департамента духовных дел, затем статс-секретарь государственного совета; оставив службу, провел большую часть времени в странствиях по Европе; друг Пушкина.

19. М. Ю. Лермонтов «Смерть поэта» (Погиб поэт—невольник чести) 28 января 1837 г.; впервые напечатано в Библиографических записках 1858 г., № 20, стлб. 635—636. Губер, Эдуард Иванович (1814—1847)—поэт, переводчик и критик; автор

известного перевода «Фауста» Гете. Им написано 30 января 1837 г. стихотворение «На смерть Пушкина» (Я видел гроб его печальный); напечатано впервые в Московск. ведом. 1857 г. № 136 и в Сочинениях Губера Спб. 1859 г., т. I, стр. 201—203. Глинка, Федор Николаевич (1786—1880)—поэт, публицист и археолог. Им написано: «Воспоминания о пиитической жизни Пушкина» (Я помню—в детские он лета). М. 1837 г., стр. 3—14 и в Библиотеке для чтения 1837 г., т. XXI, стр. 85—91.

---

28. К. Н. Полевой „Александр Сергеевич Пушкин“.

По указанию Г. Н. Геннади («Список биографических сведений о Пушкине» в кн.: «Приложения к сочинениям А. С. Пушкина, изданным Я. А. Исаковым». Спб., 1860, стр. 160) некролог Пушкина в «Живописном Обозрении» (1837, ч. III, лист 10-й, стр. 77—80) написан редактором этого журнала, братом известного критика, Ксен. Н. Полевым (1801—1867).

Свидетель всей литературной деятельности поэта, Полевой хорошо изобразил, как он выражается, «торжественный путь на поэтической арене» Пушкина. Статья дает ясное представление о том, чем он был для современников.

При жизни Пушкина не всегда будучи в числе его друзей, Полевой воздает здесь должное Пушкину и как поэту и как человеку. В этом отношении очень интересны последние абзацы статьи.

В 1820 году, в русской словесности блеснуло явление новое, неожиданное, прекрасное: *Руслан и Людмила* [1]. Неизвестное публике имя было написано в заглавии этой поэмы. Но публика бывает всегда беспристрастна к первым блестящим опытам незнакомых ей писателей, и несмотря на немногие возгласы приверженцев старины, она сделалась сильною покровительницею молодого поэта. Чтобы понять впечатление, произведенное *Русланом и Людмилой*, надобно

вспомнить тогдашнее состояние нашей литературы. Только что начинали распадаться цепи так называемой классической словесности, то есть правил французского литературного кодекса, сделавшихся законом от времени и давности лет. Жуковский был почти единственным представителем новых требований и новой школы писателей, убежденных, что есть на свете поэзия и не во французских стихах. Звучный, гармонический его стих стал образцом для всех, кто воображал себя поэтом. Но воображать и быть действительно, не одно и то же. Эта простая мысль никогда не приходит в ум подражателей, и оттого они всегда принимают форму за идею. Поэзия Жуковского, тоскующая о неземном, неразгаданном мире сделалась предметом общего подражания. *Туманная даль*, как говорили современные критики, явилась под пером всех наших стихотворцев, и наконец стала отличительным характером всех стихов. Господа пишущие твердили о том, чего не было в их душе, и стихи их были только звуками, отголоском без мысли и чувства; наконец они сделались утомительны, тягостны, нетерпимы... В это время явился Пушкин со своим *Русланом и Людмилой*. Много молодого, недочувствованного, ветреного в этой небольшой поэме; но зато, какая роскошь картин, какая прелесть выражения и оригинальность, не в прямом смысле этого слова, но в отношении к тогдашней русской поэзии! Самый стих, избранный Пушкиным для первого его большого опыта, не мог не обратить на себя внимания: он краток, сообразен с юною пылкостью предмета, и для современников звучал освобождением от длинных, тягучих стихов тогдашнего поколения писателей, посреди которых было только две звезды— Жуковский и Батюшков [2]: для таких версификаторов хорош всякий размер, как доказал это после и сам Пушкин. Но первый опыт его показывает мастера своего дела в избрании самого размера стихов. Он именно должен был начать четырех-стопным ямбом.

Имя Пушкина загремело и в великолепных палатах, и в скромных домиках уездных городов, и в глуши отдаленных деревень. Все хотели знать, кто этот новый, сладкозвучный, пламенный поэт, который с первого шагу обогнал других почтенных поэтов, еще до рождения его *подвизавшихся на поприще российской словесности*. Всегда любопытно знать *особу* того, кто ослепляет нас необыкновенным подвигом, и мы любим видеть портрет славного писателя, знать его отношения, его домашнюю жизнь... Рассказ о самом Пушкине еще более подстрекнул внимание публики: это был юноша, едва вышедший из Царско-Сельского лицея [3], остроумный, блестящий в обществе, и уже странствовавший на берегах Прута и Дуная, вблизи могилы Овидия... [4]. Жадная к новым впечатлениям юность сбирала все мимолетные, отдельные стихотворения, писанные Пушкиным в это время, и в каждом из них находила блеск поэтический и какую-нибудь новую мысль, выраженную превосходно. Молодой поэт сделался первым любимцем читающей публики, и она с нетерпеливым ожиданием следила каждый его шаг. Надобно признаться, что мелкие стихотворения Пушкина *этого времени*, едва ли будут долговечны; вероятно, он и сам после не дорожил ими; но они восхищали современников, переписывались, перечитывались, твердились наизусть... 1822 й год был новым торжеством поэта: явился его *Кавказский*

пленник! [5] Неслыханный успех встретил эту повесть сердца, хотя в ней уже отзывался холод Байроновой души, незаметный тогдашним читателям... Их восхищали поэтические картины Кавказа, новость предмета, но всего больше несравненные, неподражаемые стихи Пушкина. В самом деле это музыка слов! И какая прелесть, какая отчетливость в каждом слове, в каждом переливе звуков и мыслей... *Бахчисарайский фонтан* [6], решительное подражание Байрону, только подражание Пушкина, великого поэта, был принят с новым восторгом, и утвердил славу его. Не место здесь входить в рассмотрение каждой поэмы Пушкина: мы хотим только показать отношения его к современникам и напомнить о его торжественном пути на поэтической арене. Соперников у него не было. Он один всевластно господствовал в поэзии, потому что Жуковский писал во всё это время очень мало, а никто другой не мог думать и не думал соперничать с ним. Удивительно ли, что каждая новая поэма его возбуждала новый восторг, хотя, естественно, каждая имела свои красоты и свои недостатки.

Между тем Пушкин безвыездно жил в своей деревне, около Пскова, и это удаление от света делало его еще больше занимательным для публики. В 1826 году он приехал в Москву. Надобно было видеть участие и внимание всех при появлении его в обществе!.. Когда в первый раз Пушкин был в театре, публика глядела не на сцену, а на своего любимца-поэта[7]. Тогда уже была напечатана первая глава *Онегина*; по приезде в Москву Пушкин напечатал и вторую[8]. Это прелестное произведение, где вполне выразил себя наш поэт, где видна вся умственная жизнь его, все

мысли и впечатления, была апогеем его славы. Ни одно из его созданий, ни прежде, ни после, не возбуждало такого восторга. Критики не могли оценить *Онегина* потому что он являлся отрывками; но публика вернее поняла его чувством и признала первым, лучшим произведением Пушкина. Маленькая поэма *Цыганы* [9] была издана в это же время, в Москве... Надобно ли напоминать читателям нашим о красотах этого бриллианта в светлом венце Пушкина?.. Другие сочинения его прекрасны, блестящи, нередко усладительны для души, но *Цыганы*, с первого стиха до последнего высокая мысль, выраженная самым поэтическим языком, до какого только достигал Пушкин, этот волшебник в стихотворстве. Между тем он рассыпал свои золотые стихи в некоторых журналах и альманахах. Переселившись в Петербург, он собрал мелкие свои стихотворения, которые умножились потом еще несколькими томами. *Онегина* его вышло еще две или три главы[10]. В 1829 году явилась *Полтава*... Сколько заслуг, сколько превосходных творений исчислили мы, и это еще далеко не всё. Поэту казалось, что он еще не выразил себя. Постигаете ли вы это беспокойство высокой души, которая никогда не бывает довольна ни собой, ни современниками? Она как будто страшится быть непонятою, и еще больше, страшится высказать себя вполне, не в настоящем свете. Пушкин чувствовал это поэтическое беспокойство, и несколько лет хранил в портфеле своем творение важное, превосходное, на котором повидимому он основывал много надежд. Мы говорим о *Борисе Годунове* [11]. Указывая на этот труд, давно оконченный, он сказал одному из своих друзей: „Вот сто тысяч банковыми

ассигнациями для настоящего, и диплом мой на будущее". Он ошибался, драма его, при великих своих достоинствах, была только усилием блестящего дарования в чуждом для него роде сочинений. Пушкин не был рожден для драмы. Он превосходен в частностях своего *Годунова*, но в целом не производит им почти никакого сильного впечатления. И подивитесь верному чувству публики: именно это было первое сочинение Пушкина, принятое с некоторою холодностью. Многие не хотят признавать суда странного существа, называемого публикой; но насмешка Шанфора[12] и эпиграммы Пушкина показывают только мгновенные вспышки оскорбленного дарования. Существует он, суд неподкупный, неумолимый, и публика является в нем часто неблагодарною, ветреною, однако всегда верною истине, если исключить немногие ошибки ее, зависевшие от частных обстоятельств. Да и не верьте, пожалуйста, когда писатель говорит вам, что он пишет не для публики, когда в негодовании восклицает он:

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья,
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья.

Поэт не может не писать, а писать значит передавать другим свои чувства. Обвинительный типографский станок всего лучше говорит против этих господ, которые уверяют, что пишут не для публики, и... печатают свои восторженные песни и рассказы. Но защищая публику, мы называли ее и неблагодарною. В самом деле, в ней есть какое-то странное чувство покоренного раба: она обожает, унижается,

но только до времени, и между тем скучает своим игом, потому что удивление и самая любовь также иго. Есть конец и восторгу и благоговению ее: это испытали Гете и В. Гюго, испытал и наш Пушкин. Удивление к нему заменилось, после *Бориса Годунова*, невозможностью не удивляться ему... только. Он хотел доказать гибкость своего дарования, и начал писать прозою; но проза его не отличалась такою прелестью, особенностью как стихи, и *Повести Белкина*[13] опять не заслужили общего одобрения. *Пиковая дама*[14], изданная после, правда, имела большой успех; но это едва ли не единственное замечательное сочинение Пушкина в прозе. Нам известно еще несколько безыменных статей его, напечатанных в разных журналах. Все они обличают быстрый, поэтический ум, но, вообще, проза не составила бы славы Пушкина, как *История Пугачевского бунта*[15] не показывала в нем историка. Одно, в чем остался он верен самому себе, это бессмертные стихи его, потому что в самом слабом из своих стихотворений он неподражаем. Он хотел еще заняться, как сказывают, одним важным историческим сочинением; издавал с 1836 года журнал[16], где помещено несколько его сочинений в стихах и прозе... и вдруг роковая весть поразила всю Россию: Пушкин умер! Сначала не хотели верить этому и даже не верили, читая в газетах оффициальное известие о смерти его... Так любила Россия своего поэта, так сжилась она с ним...

Пушкин был великий поэт, бессмертный своими заслугами русской словесности. Он много лет оставался нашим *народным* поэтом, потому что в поэзии народ не большинство *всех*, а та часть *избранных*, для которых

существует поэзия. Пушкин был поэтом не простонародья, у которого могут быть свои любимцы, но поэт образованной части общества. Ни одно чувство, ни одна мысль современная не были чужды ему, и он все выражал их с тою увлекательностью, которая покоряла каждого, без различия литературных партий. Заслуга его языку неизмерима...

Кто не знал Пушкина лично, для тех скажем, что отличительным характером его в большом обществе была задумчивость, или какая-то тихая грусть, которую даже трудно выразить. Он казался при этом стесненным, попавшим не на свое место. Зато в искреннем, небольшом кругу, с людьми по сердцу, не было человека разговорчивее, любезнее, остроумнее. Тут он любил и посмеяться и похохотать, глядел на жизнь только с веселой стороны, и с необыкновенною ловкостью умел открывать смешное. Одушевленный разговор его был красноречивою импровизациею, потому что он обыкновенно увлекал всех, овладевал разговором, и это всегда кончалось тем, что другие смолкали невольно, а говорил он. Если бы записан был хоть один такой разговор Пушкина, похожий на рассуждение, перед ним показались бы бледны профессорские речи Вильмена и Гизо[17].

Вообще Пушкин обладал необычайными умственными способностями. Уже во время славы своей, он выучился, живя в деревне, латинскому языку, которого почти не знал вышедши из лицея. Потом, в Петербурге, изучил он английский язык в несколько месяцев, так что мог читать поэтов[18]. Французский знал он в совершенстве. „Только с немецким не могу я сладить!“ сказал он однажды. „Выучусь ему, и опять всё забуду: это случалось уж не раз“. Он страстно любил искусства и имел в них оригинальный взгляд. Тем особенно был занимателен и разговор его, что он обо всем судил умно, блестяще и чрезвычайно оригинально.

Пушкин родился 1799 года, мая 26-го, в С.-Петербурге; скончался там же, не достигши и 38 лет...

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Поэма «Руслан и Людмила» вышла в свет между 23. VII и 14. VIII 1820 г. в Спб.

2. Батюшков, Константин Николаевич (1787—1855)—известный поэт.

3. Пушкин окончил Царскосельский лицей 9 июня 1817 г.; из Петербурга был выслан 6 мая 1820 г. и на юге находился до 30 июля 1824 г., когда был выслан в Михайловское, куда прибыл 9 августа 1824 г.

4. Реки Прут и Дунай были границами Бессарабии и вместе с тем пределами русских владений. Здесь же подразумевается пребывание Пушкина в ссылке на юге России. Овидий—см. 39 прим. к № 12.

5. «Кавказский пленник» вышел в свет в последних числах августа или 1—2 сентября 1822 г. в Спб.

6. «Бахчисарайский фонтан» вышел в свет 10 марта 1824 г., в Москве.

7. Пушкин приехал в Москву 8 сентября 1826 года. Пушкин был в первый раз по приезде в Большом театре 12 сентября 1826 г. с С. А. Соболевским на представлении комедии кн. А. А. Шаховского «Аристофан»; в театре он разговаривал с М. П. Погодиным, который и отметил это в своем дневнике (П. и его современники, вып. XIX—XX, стр. 75).

8. I глава «Евг. Онегина» вышла в свет 15. II. 1825 г., в Спб.; II глава вышла около 20 октября 1826 г. в Москве.

9. «Цыганы» вышли в свет 15 мая 1827 г. в Москве. Это второе издание стихотворений вышло в Спб. в 1829 г.—части I и II; III—в 1832 г. и IV—в 1835 г.

10. Дальнейшие главы «Евг. Онегина» печатались: II—в 1827 г.; IV—VI—в 1828 г.; VII—в 1830 г. и VIII—в 1832 г. Полностью «Ев. Онегин» вышел при жизни Пушкина два раза—1833 и 1837 гг.

11. «Борис Годунов» напечатан в Спб. в 1831 г.

12. Шамфор (Chamfort) (1741—1794)—французский писатель; его славу составили не только сочинения, но и различные заметки и афоризмы.

13. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» вышли в свет в 1831 г. после 22 октября в Спб.

14. «Пиковая дама» напечатана впервые в Библиотеке для чтения 1834 г., т. II, отд. I (кн. третья), стр. 107—140.

15. Две части «Истории Пугачевского бунта» вышли в свет около 28 декабря 1834 г. в Спб.

16. Пушкин издавал журн. «Современник»; I том вышел в Спб. 11-го апреля 1836 г.; всего Пушкиным издано четыре тома.

17. Вильмен (Uillemain), Абель-Франсуа (1790—1870)—французский политический деятель (сторонник Гизо), писатель и профессор.

Гизо (Guizot), Франсуа-Пьер-Гильом (1787—1874)—знаменитый французский историк и государственный деятель.

18. Пушкин знал в детстве английский язык очень мало, в лицее его он не изучал и позже до 1828 года не мог самостоятельно читать по-английски, и только в этом году он изучил его настолько, что стал свободно читать. На юге и в Михайловском Пушкин читал Байрона, Шекспира и других английских писателей во французском переводе. О степени знания Пушкиным латинского языка сказать трудно. Есть основания предполагать, что латинских авторов он читал во французском переводе.

---

29. С. Л. Пушкин „Замечания на так называемую биографию Александра Сергеевича Пушкина, помещенную в „Портретной и биографической галлерее". *)

Воспоминания Сергея Львовича Пушкина (Отечественные записки, 1841 г., Т. XV, стр. I—IV особого приложения) о своем гениальном сыне, которого он пережил на одиннадцать с лишним лет (род. 23 мая 1770 г., ум. 29 июля 1848 г.), поражают своей скудостью. В «Замечаниях» Сергей Львович, обиженный тем, что умалили знатность рода его жены и размеры состояния его отца, больше занят опровержением этих сведений, чем сообщениями о своем сыне. К нему С Л. Пушкин не только никогда не питал нежных чувств, но подолгу относился резко враждебно, считая, что поэт своим поведением компрометирует его.

---

*) Без сомнения все, кому дорога память нашего великого поэта, с удивлением читали странную статью напечатанную в „Портретной и биографической галлерее словесности, художеств и искусств в России"—под названием *Пушкин*, о которой мы говорили уже во 2 й книге „Отеч Записок" сего года (Биб. хрон. стр. 76) [1]. В этой статье нельзя не заметить такого направления, которое довольно ясно выразилось в некоторых журналах, а именно желание возвысить на счет великого поэта некоторые современные *не*знаменитости, или при удобном случае напоминать о них забывчивой публике Автор статьи о Пушкине, необ'явивший своего имени [2], ошибаясь на каждом шагу в изложении, так сказать, материальных обстоятельств жизни поэта, не усомнился однакоже описывать тайные побуждения и чувства А. С. Пушкина, как будто человек ему близкий,

Прочитав в „Портретной и биографической галлерее“, биографию моего сына, почитаю необходимым заметить вкравшиеся в нее ошибки и неизлишним пополнить и пояснить некоторые сведения, в ней заключающиеся.

1) Александр Пушкин родился не в Петербурге, а в Москве, в 1799 году мая 26; скончался в Петербурге не 26 января, а 29, 1837.

2) Я никогда не был псковским помещиком и, благодаря предкам моим, никогда не был бедным помещиком. Отец мой имел более 3000 душ, из которых я получил 1000 в Нижегородской губернии: это имение и теперь за мною [4].—Отец мой жил постоянно в Москве большим открытым домом и имел родственные и дружеские связи с знатнейшими фамилиями Российской империи. Псковское имение принадлежало покойной жене моей, урожденной Ганнибал [5]. Тесть мой [6] был псковской помещик, но не бедный, а имел хорошее, независимое состояние. Благодарю г. биографа покойного сына моего: он называет меня *человеком почтенным и всеми уважаемым*. Не осмеливаюсь

коротко знавший все его задушевные помышления. Такая смелость может невольно ввести в заблуждение не только потомство, но и современников, в особенности же иностранцев, тщательно собирающих все подробности о жизни Пушкина. Мы слышали, что друзья покойного готовили протестацию против статьи названного биографа, но. как кажется, помещаемые здесь замечания, предупредили это намерение. Мы надеемся, что благородный отзыв почтенного отца нашего поэта положит конец дальнейшим опытам—распространять превратное о нем понятие. Этот отзыв останется навсегда драгоценным документом для истории Пушкина, столь тесно соединенной с историею всей нашей литературы. При виде таких явлений, что удивительного, если мы почитаем святым долгом вести постоянную борьбу против подобного направления, и будем вести ее, пока в нас достанет сил, и публика будет нас поддерживать. Нет славы в такой битве, но, смеем думать, есть польза.

Ред. [3].

принять всё это безотговорочно; но я был любим некоторыми, и этого, по моему образу мыслей, достаточно.

3) Дед жены моей, Абраам Петрович Ганнибал, никогда не был *комнатным служителем*, как пишет г. биограф: он привезен был в Россию младенцем, и потом послан был преобразователем отечества, Великим Петром, в чужие краи, и особенно во Францию, для усовершенствования в инженерной науке [7]. Там вступил он в службу и возвратился в Санктпетербург капитаном. А. П. Ганнибал служил при Екатерине I, Анне Ивановне, Елисавете Петровне, которая осыпала его милостями, скончался уже в царствование Екатерины II-й, наградившей его значительными поместьями в Псковской и Петербургской губерниях. Сын его Иван Абраамович [8], служил генерал-лейтенантом, находился в морском чесменском сражении под начальством графа Алексея Григорьевича Орлова [9], получил тогда же орден св. Георгия третьей степени, при самом его учреждении, и св. Анны. Он основал и устроил Херсонь и награжден был орденом св. Александра Невского и св. Владимира первой степени, находясь уже уволенным от службы.

4) Александр Пушкин помещен в Царскосельский лицей *по совету и содействию не Александра Николаевича* Тургенева, а Александра Ивановича Тургенева, [10] коего имя довольно известно и на поприще гражданском и в кругу нашего литературного мира.

5) Биограф утверждает, что в лицее А. Пушкин *читал мало*. Совсем напротив! Он там изучил чтением всех лучших современных и прежних писателей, как иностранных, так и русских.—В зрелом возрасте, прибавляет биограф,

он выучился по английски. Опять ошибка. Вступив в лицей, он уже этот язык знал, как знают все дети, с которыми дома говорят на этом языке.—Еще ошибка, будто А. Пушкин после учился по-польски. Он не учился этому языку, а мог его понимать столько, сколько все русские понимают другие славянские наречия. Справедливее бы прибавить, что он выучился в зрелом возрасте по-испански [11]. Г. биограф ошибается и в том, будто незабвенный наш Державин благодарил сына моего за читанное им сочинение „Безверие". Сын мой на 15 году своего возраста, на первом экзамене в императорском лицее, читал не *Безверие* [12], а *Воспоминание о Царском селе* [13], в присутствии Г. Р. Державина,—пьесу впоследствии напечатанную в „Образцовых сочинениях". Бессмертный певец бессмертной Екатерины благодарил тогда моего сына и благословил его поэтом. *Безверие* он читал при выпуске своем на последнем экзамене, и, к сожалению России, Державина уже не было в здешнем мире. Я не забуду, что за обедом, на который я был приглашен графом А. К. Разумовским [14], бывшим тогда министром просвещения, граф, отдавая справедливость молодому таланту, сказал мне: „Я бы желал однако же образовать сына вашего к прозе". *Оставьте его поэтом* отвечал ему за меня Державин с жаром, вдохновенный духом пророчества.

6) Ни я, ни кто другой из близких моему сыну никогда не слыхивал от него французского эпитета, приданного в биографии русскому книгопродавцу [15], бывшему *будто бы* главным его корреспондентом *, эпитета, который

*) Libraire gentilhomme [16].

впрочем и не имеет смысла: так он сочинен не впопад и наскоро.

7) *Слава Библиотеки для Чтения возбудила в нем желание основать свой собственный журнал*—говорит г. биограф. Если это не насмешка, то трудно отыскать настоящее значение сего выражения. Дело в том, что Александр Пушкин, не желая более участвовать, хотя совершенно посторонним и независимым содействием в журналах, коих не одобрял ни по содержанию, ни по направлению оных, решился издавать свой журнал, в коем он и прочие литераторы, одинаково с ним судившие о литературе, могли бы печатать свои труды. *При своих довольно стесненных обстоятельствах* (слова биографа)... Он вовсе не полагал больших надежд на успех этого издания; он был слишком беспечен, слишком поэт в душе и в действиях своих для замышления подобной спекуляции.

8) Обращаясь к характеру и литературной жизни покойного моего сына, скажу, что г. биограф во многом ошибается: иногда кажется мне, что ему неизвестны многие его творения, особливо из числа последних. Я никогда не соглашусь с ним (да и многие вместе со мною) в том, что талант его пред кончиною начинал упадать. *Медный всадник*, *Капитанская дочка* и другие творения доказывают противное.

9) *Капитанская дочка* была напечатана не в одной из первых книжек „Современника", а напротив в последней из изданных им.

10. *Пушкин завидовал некоторым новым талантам!* (слова биографа). Не как отец, а как беспристрастный

любитель русской словесности, смею спросить: кому из молодых писателей Александр Пушкин мог завидовать? Он не только был совершенно чужд гнусного порока зависти, но, напротив, можно сказать, он иногда увлекался излишним пристрастием в поощрении возникающих талантов. Конечно, при этом был он и строг в суждениях своих, особенно в последнее время, когда дарование его более и более созрело и остепенилось. Нерецко бывал он и резок и решителен в отзывах своих. Все, что казалось ему изысканным, противоречащим истине и природе, как в наших писателях, так равно и в иностранных, находило в нем критика строгого и неумолимого. Это так; но приписывать эту строгость зависти позволено только тому, кто вовсе не знал покойного сына моего и не мог оценить душу, чувства и правила его... Есть в биографии обвинение и другого рода: но оно не заслуживает опровержения— ни моего и никого другого, кто бы вздумал писать против г. биографа. Эпиграммы поэта могли не нравиться противникам его и быть для них источником *литературных огорчений*, по выражению биографии: с этим я согласен; но какие могли быть его собственные *литературные огорчения* и от кого и от чего быть им, этого не понимаю, и едва ли поймет кто другой из знавших сына моего и из просвещенных и сведущих ценителей его таланта и смею сказать, славы его!

11) *В конце 1824 года, оставив страну южной России, Пушкин возвратился в село Михайловское, в свою псковскую деревню, мимоездом только завернув в Москву и Петербург* (слова биографа). Ошибка. Он не заезжал в Москву и Петербург и не мог заехать [17].

12) Переходя от нравственного портрета к физическому, к коему упомянутая биография приложена, скажем в заключение, что и в сем последнем много отступлений от верности и сходства. Лучший портрет сына моего есть тот, который написан Кипренским [18] и гравирован Уткиным [19].

Сергей Пушкин.

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Вот ее полное заглавие: «Портретная и биографическая галлерея словесности, художеств и искусств в России». 1. Пушкин и Брюлов (портреты Соколова) Спб. 1841 г. На эту анонимную книгу была анонимная рецензия в Отечественных Записках 1841 г., т. XIV, кн. 2—февраль, в отделе библиографической хроники, стр. 76—78, принадлежавшая В. Г. Белинскому.

2. На обложке имеющегося экземпляра № Е16/16 «Портретной и биографической галлереи» в библиотеке СССР им. В. И. Ленина написано следующее: «4 тетради. 1841. 8 биографий с портретами. Обещано в 1841 году 12 тетрадей, за 10 р. сер. Но более не издано. (Издавал Сенковский). В заглавии биографии Пушкина: Путкин (!) катал. биогр. Рус (I том) 19 июля 1862». Следовательно можно предположить, что Сенковский писал и самые статьи.

3. Краевский, А. А. см. 1 прим. к № 23.

4. В родовых имениях С. Л. Пушкина в Нижегородской губернии по 8 ревизии 1833 г. числилось: в селе Большое Болдино (иначе Базарное Болдино) Лукояновского уезда (в северной его части) при реке Азане или Сазанке в полученной от отца им части—564 мужчин и 552 женщин, в части полученной его братом Василием Львовичем—571 мужчин и 551 женщина; в сельце Кистеневе, Тимашево тож в Алатырском, позже

Сергаческом уезде при реке Чеке, впадающей в Пьяну—523 мужчины и 538 женщин. Это имение Сергей Львович получил от своего брата Петра Львовича после его смерти в 1825 г.

5. О владельцах псковского имения Михайловского см. 18 прим. № 2.

6. Ганнибал, О. А. см. 3 прим. № 1 и 6 прим. № 2.

7. Ганнибал Абрам Петрович с 1706 г. до 1717 г. находился неотлучно при Петре Великом, неся обязанности камердинера, денщика и секретаря, а в 1817 г. был послан для обучения наукам за границу; см. о нем 7 прим. № 2.

8. Ганнибал, Иван Абрамович (173—1801)—старший сын арапа Петра Великого, на служебном поприще выдвинувшийся значительнее всех своих братьев.

9. Гр. Орлов, Алексей Григорьевич (1737—1808)—генерал-аншеф, один из братьев Орловых, сподвижников Екатерины II. Им был уничтожен турецкий флот под Че мою в сражениях 24 и 26 июня 1770 г., за что был награжден титулом Чесменский в 1774 г.

10. Тургенев, А. И. см. 18 прим. № 25.

11. О знании английского языка см. 18 прим. № 26; о степени знания польского и испанского языков сказать трудно.

12. «Безверие» Пушкин читал на выпускном экзамене 9 июня 1817 г. Напечатано оно в «Трудах Общества любителей российской словесности» М. 1818, часть X и в 1827 г. в книге: «Собрание российских стихотворений».

13. 8 января 1815 г. Пушкин читал «Воспоминания в Царском селе (Повис покров угрюмой нощи) на экзамене в лицее при переходе на старший курс.

14. Гр. Разумовский, Алексей Кириллович (1748—1822)—государственный деятель; в 1810—1816 г.г. министр народного просвещения.

15. Смирдин, Александр Филиппович (1795—1857)—известный петербургский книгопродавец и издатель.

16. Книгопродавец дворянин.

17. Здесь подразумевается данная высылаемым Пушкиным расписка 28 июля 1824 г. см. 3 прим. к № 15.

18. Кипренский, Орест Адамович (1783—1836)—знаменитый художник. Написанный им в 1827 г. портрет Пушкина находится в Третьяковской галлерее в Москве.

19. Уткин, Николай Иванович (1780—1863)—знаменитый гравер. Его гравюры с портрета Кипренского: 1827 г. (отдельно, к альманаху Северные цветы на 1828 г., ко 2-му изд. «Руслан и Людмила» Спб. 1828 г. и к альманаху «Подснежник» на 1829 г.) и 1838 г. (отдельно, при I томе сочинений Пушкина Спб. 1838 г. и при издании сочинений Пушкина Спб. 1855—57 гг.).

СОДЕРЖАНИЕ.